Из пережитого в чужих краях. Воспоминания и думы бывшего

Борис Николаевич Александровский

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор книги — человек нелегкой и сложной судьбы. Совсем молодым вследствие трагической ошибки он покинул родину и 27 лет прожил в разных странах. Как практикующий врач, он близко знал самые различные круги русской эмиграции. Все, что он пишет об их жизни, подкупает непосредственностью личных наблюдений.

Б. Н. Александровский характеризует многочисленные общества и землячества, группировки и организации эмигрантов. Интересны его размышления о постепенном умирании эмиграции, о ее трансформации в годы второй мировой войны, сведения о зачастую трагических судьбах многих деятелей русской культуры, некогда утративших родину, имена и творчество которых лишь отчасти знакомы советским читателям.

- Борис Александровский
  - I
  - II
  - III. «Долина роз и смерти»
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
  - XV
  - XVI
  - XVII
-
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18

Борис Александровский
Из пережитого в чужих краях
Воспоминания и думы бывшего эмигранта

I
После крушения

В середине октября 1920 года положение белой армии Врангеля сделалось безнадежным. Под натиском частей Красной Армии она была вынуждена очистить весь Северо-Таврический плацдарм и укрыться в Крыму за юшуньскими и перекопскими укреплениями, которые белое командование задолго до этого объявило «неприступными».

«Неприступные» позиции были взяты Красной Армией штурмом. Разбитая врангелевская армия покатилась к морю.

Имея за собой опыт предыдущей, так называемой новороссийской эвакуации, превратившейся за восемь месяцев до этого из-за недостатка морского транспорта в катастрофу для деникинских «вооруженных сил юга России», Врангель за несколько недель до оставления Крыма отдал приказ о сосредоточении всех кораблей Черноморского торгового флота в портах Крымского полуострова.

В изданных им в эмиграции мемуарах несколько лет спустя после эвакуации Крыма он признался, что вся Крымская кампания, длившаяся восемь месяцев, была по существу не более как «гальванизацией трупа белой армии» и что, приняв в марте 1920 года командование над остатками деникинской армии, он задался целью «спасти честь» этой армии и «показать миру, что она умирает, но не сдается». Игра же была окончательно проиграна, по его признанию, в момент разгрома деникинских «вооруженных сил юга России», 14 и 15 ноября 1920 года остатки врангелевской армии грузились в Севастополе, Феодосии и Керчи под прикрытием боевых кораблей белогвардейского флота. Вместе с ними Крым покинули так называемые «гражданские беженцы», состоявшие из представителей финансовой, торгово-промышленной и дворянской знати, сбитой с толку интеллигенции, разночинцев и мещан.

Поздно вечером 15 ноября 1920 года последние корабли врангелевского флота вышли в открытое море. Эта армада, состоявшая из 135 вымпелов, увозила за границу 150 тысяч человек.

Причины поражения всех белых армий общеизвестны.

Они полно и всесторонне освещены в нашей исторической, военной, политической и художественной литературе.

Останавливаться на них еще раз излишне. История уже вынесла свой приговор белому движению.

Но не так думали поборники этого движения в описываемые мною годы. В течение долгих лет, находясь за рубежом, эта умирающая кучка теней прошлого с пеною у рта доказывала, что белые армии вышли бы победительницами в борьбе с Советской властью, если бы…

Дальше шла, полная разноголосица о причинах поражения и о том, как и чем это поражение можно было бы предотвратить.

Осколки рухнувшего в феврале 1917 года самодержавного строя причину всех несчастий видели в том, что народ поднял руку на «помазанника божия» царя Николая.

Если бы, по их мнению, вожди белых армий объявили, что они ведут борьбу с Советской властью во имя восстановления на престоле «законного царя из дома Романовых», то за ними пошло бы все крестьянство и тогда бы «большевикам несдобровать…».

Либеральная интеллигенция в свою очередь обвиняла белых вождей в том, что они своими диктаторскими замашками якобы «отпугнули от себя широкие массы населения». Если бы они послушались ее и во всеуслышание провозгласили демократические лозунги, то за этими лозунгами пошел бы «весь народ» и тогда «от большевиков ничего не осталось бы…».

Некоторые очутившиеся в эмиграции белые стратеги считали, что игра проиграна только от неправильно выбранного главного операционного направления и больше ни от чего другого. Деникин сваливал всю вину на Врангеля, Врангель — на Деникина. Наступать нужно было не в тульском и рязанском направлениях, а в царицынском.

И целью наступления должно было быть не взятие Москвы, а соединение с армией Колчака. И тогда, конечно, не произошло бы всего того, что произошло, и, конечно, «большевикам совсем плохо пришлось бы…».

Некоторые эмигрантские псевдоисторики гражданской войны обвиняли во всем Антанту: она якобы недостаточно щедро и энергично поддерживала белые армии материально. А не поддерживала потому, что на их знаменах было написано: «Великая, единая, неделимая Россия», каковой Антанта боялась будто бы пуще огня. Окажи она им более энергичную финансовую и техническую помощь, «большевики были бы раздавлены…».

Участник белого движения Штейфон, генерального штаба генерал-майор, бывший долгое время начальником штаба генерала Кутепова, а впоследствии командир гитлеровского «охранного корпуса», уничтожавшего югославских партизан, в изданных им в эмиграции мемуарах выдвинул свою «теорию»: белые армии потерпели поражение только оттого, что в их организации не был соблюден принцип «регулярства», короче

говоря, они не были свободны от «партизанщины». Будь они построены по образцу царской армии, столь любезной для его сердца, «от большевиков одно воспоминание осталось бы…».

Невозможно перечислить все эти «теории», родившиеся в эмиграции и тщетно пытавшиеся вывернуть наизнанку историческую правду. Авторы их, исписавши многие тонны бумаги и опорожнив чуть ли не целые бочки чернил, ни на один миллиметр к этой правде не приблизились.

Настоящие мои воспоминания не имеют целью изложение истории эмиграции в целом и рассмотрение всех вопросов, относящихся к ее возникновению, долголетнему существованию и постепенному умиранию. Они только материал для этой истории.

Быть может, будущий историк найдет в них что-либо заслуживающее его внимания:

> И пыль веков от хартий отряхнув,
> Правдивые сказанья перепишет…

Поэтому я остановлю внимание читателя на том, из каких элементов состояла русская послереволюционная эмиграция, прошедшая перед моими глазами за 1920–1947 годы.

Первыми по времени появления за рубежом были те эмигранты, которые представляли собою обломки рухнувшего царского самодержавия, — петербургская и царскосельская титулованная аристократия и высшее чиновничество. К этой же группе можно отнести провинциальное дворянство и крупное провинциальное чиновничество. Эмиграция дворянской и феодальной знати, как известно, есть закономерное явление для всех революций вообще, начиная с французской буржуазной революции 1789 года.

Вторым слагаемым в общей сумме русской послереволюционной эмиграции были представители торгово-промышленного и финансового мира. Появление их за рубежом было одним из специфических последствий Октябрьской революции, положившей конец эпохе капитализма в нашей стране.

Третьим слагаемым было офицерство. Оно в свою очередь делилось на две части, глухо враждовавшие между собой: старое кадровое офицерство царской армии и так называемые «офицеры военного времени», то есть недоучившиеся студенты и разночинцы со средним образованием, мобилизованные во время войны 1914–1918 годов и направленные в школы прапорщиков, откуда они выходили через четыре месяца с первым офицерским чином.

К концу первой мировой войны их общее количество выражалось шестизначным числом, причем многие из них дослужились до чина штабс-капитана.

«Офицеры военного времени» составляли к концу войны основную массу командного состава действующей армии, занимая должности младших офицеров и ротных командиров, реже — командиров батальонов. Они-то и образовали в 1917–1920 годах ядро белых армий Алексеева, Деникина, Врангеля, Колчака, Каппеля, Миллера, Юденича и три года подряд «делали» гражданскую войну.

А когда пришел закономерный конец этим армиям, бежали за границу и в течение четверти века были там наиболее активными антисоветскими элементами и тем резервуаром, откуда белые генералы Кутепов, Миллер, Туркул черпали людской материал для диверсионной и шпионской работы на территории СССР.

Появление в эмиграции этой категории военнослужащих не было неизбежным. Нельзя забывать, что лучшие представители старого офицерства и генералитета, а также офицеров военного времени отдали весь свой опыт и все свои специальные знания на службу молодой Советской республике и с первых же дней рождения Красной Армии сделали многое для ее организации и укрепления боевой мощи. Имена их хорошо известны советским людям.

Их было очень много. Но все же большинство царских кадровых офицеров армии и флота перешло после Октябрьской революции в стан ярых врагов Советской власти и оставалось в нем до бесславного конца своих дней на чужбине.

Что же отбросило их в этот стан?

На этот вопрос можно дать вполне определенный ответ: потеря ими специфических привилегий, присущих замкнутой офицерской касте царских времен. Каста эта почитала себя высшей из всех существующих. Превосходство ее над всеми остальными слоями общества вбивалось в голову будущим офицерам начиная с начальных классов кадетских корпусов и юнкерских училищ.

Первый удар этой идеологии был нанесен Февральской революцией. Октябрьская революция прикончила ее.

Рука об руку с белым офицерством во все периоды гражданской войны шла реакционная часть казачества.

Она в свою очередь пополняла ряды эмиграции, хотя и не проявляла такой политической активности, как предыдущая группа.

Но если революция нанесла сокрушительный удар привилегированному положению всех перечисленных категорий и

отбросила их в антисоветский эмигрантский лагерь, то пребывание в нем представителей либеральной интеллигенции нельзя назвать иначе как недоразумением, притом таким недоразумением, которое было порождено только политическими ошибками этой интеллигенции и больше ничем.

Что заставило этих людей, идеология значительной части которых была построена до революции на служении народу, бежать от народа, когда он взял власть в свои руки? Как могло случиться, что земские врачи, агрономы, оперные и драматические артисты, учителя народных училищ, журналисты из провинциальных газет, инженеры, художники, музыканты, ученые, студенты очутились в том лагере, основная масса которого состояла из их вчерашних врагов?

Ведь подавляющая часть либеральной интеллигенции была пасынком дореволюционного общества и находилась под подозрением у носителей власти в эпоху царского самодержавия.

Единого ответа на эти вопросы дать нельзя, но указать на некоторые общие причины этого явления можно.

Все эти люди не поняли революцию. А не поняли они ее потому, что, будучи широко образованными во многих отраслях человеческих знаний, они были совершенными младенцами в одной из них, а именно в социологии. Эта часть интеллигенции, оставшаяся в стороне от истинного и подлинного революционного движения, не имела никакого представления о законах развития человеческого общества. Историческая закономерность классовой борьбы ей была неизвестна. Об учении Маркса она знала только понаслышке, а чаще совсем ничего не знала и не слышала о нем. В революции эти интеллигенты увидели нечто вроде «очередной смены министерства» по образцу западноевропейского парламентаризма. Распропагандированные вожаками буржуазно-демократических партий, они поверили, что длительность жизни этого «министерства» измеряется неделями, самое большее месяцами и что потом «все придет в норму».

Они бежали от голода, холода, разрухи, потери минимального комфорта городской жизни, сделав ложный вывод, что эти бедствия составляют специфическую особенность революции, не отдавая себе отчета в их подлинных причинах и в том, что сами они своим неприятием революции только способствуют затяжному существованию этих бедствий.

Не меньшее, если не большее значение для тогдашней психологии этих людей имело и то обстоятельство, что с революцией они утеряли свое положение «интеллектуальной аристократии». Ведь они самонадеянно полагали, что именно им принадлежит монопольное право духовного руководства русским

народом. Делиться этим правом с народом они не пожелали.

Но конечно, не беспомощность в теоретических вопросах социологии была главным фактором, приведшим эту часть интеллигенции к эмиграции. Ведь добрая сотня миллионов людей из всего трудового населения бывшей Российской империи была в этих вопросах еще более беспомощна, а кроме того, малограмотна или даже совсем безграмотна. И тем не менее с первых же дней революции трудовой народ уверовал в нее и безошибочно определил, где и на чьей стороне историческая закономерность и правда, а где безумные попытки повернуть вспять ход истории.

Было еще одно обстоятельство, которое привело определенную часть интеллигенции в 1919 и 1920 годах к пристаням Севастополя, Одессы, Архангельска, Владивостока.

Заключалось оно в том, что значительные ее слои при всем своем либерализме и демократической настроенности были гораздо крепче связаны с буржуазией, чем с подлинным народом, то есть с рабочими и крестьянами. Многие представители интеллигенции находились в прямой материальной зависимости от крупной буржуазии и государственного аппарата царской России. Поэтому октябрьский переворот они восприняли как катастрофу и для себя.

При этом они сделали совершенно ложный вывод, будто бы переход власти в руки народа угрожает не только их благополучию, но и самому их существованию, и сразу же бросились в объятия белогвардейщины, видя в этом варианте контрреволюционной борьбы единственную возможность избавления от созданных их испуганным воображением несуществующих бед, якобы уготованных им в случае окончательной победы революции.

Несколько забегая вперед, я скажу, что эта часть интеллигенции, испив до конца горькую чашу испытаний, выпавших на ее долю во время долголетнего пребывания за границей, первой во всем русском зарубежье полностью осознала всю нелепость своего отрыва от родного народа, первой полностью признала свои ошибки. Многие из них, окончательно порвав с прежними колебаниями и сомнениями, воссоединились с родной землей и родным народом.

Тут я должен сделать некоторое отступление.

Поставив своей целью при опубликовании настоящих воспоминаний рассказать советскому читателю о всем том, что за 27 лет моего пребывания за рубежом в качестве эмигранта глаза мои видели и уши слышали, я менее всего хотел при этом говорить о себе самом, полагая, что ни моя персона, ни моя личная судьба не могут представлять для читателя какой-либо

особенный интерес. Тем не менее полностью обойти молчанием эту тему нельзя, так как иначе многое в моем дальнейшем повествовании будет для читателя неясным, а частично и совсем непонятным.

Поэтому я прерываю рассказ о севастопольской эвакуации 1920 года и приступаю к изложению кратких сведений о себе.

Моя колыбель — в Москве, на Первой Мещанской, в детской больнице святой Ольги, где мой отец состоял врачом и где я провел первые шесть лет своей жизни.

Идут последние, заключительные годы прошлого века.

После смерти отца, которого я потерял, будучи шестилетним ребенком, начались скитания по частным квартирам и жизнь бедной интеллигентской семьи, кормившейся за счет скудного заработка моей матери, учительницы музыки в двух московских женских институтах.

Вскоре после этого — московская 6-я гимназия, наградные книги при переходе из класса в класс «за отличные успехи и отличное поведение» и золотая медаль при окончании.

Потом — медицинский факультет Московского университета: Моховая, Девичье поле, университетские клиники.

Весной 1916 года — диплом «лекаря с отличием».

На следующий день после получения диплома и подписания так называемого «факультетского обещания» (письменная врачебная присяга) — отправка на фронт. Леса и болота Белоруссии, окопная жизнь, работа полкового врача и — в конце войны — сухая и лаконичная запись в послужном списке: «В составе полка участвовал во всех походах и боях против австро-германских войск с такого-то числа по такое-то…» Там же на фронте — Февральская и Октябрьская революции. Демобилизация. Снова Москва. Экстернатура в одной из университетских клиник. Как будто осуществление юношеской мечты: клиническая и научная карьера в родном и любимом городе, среди друзей и подруг детства, отрочества, юности и рядом с родными могилами предков, таких же коренных москвичей, как и я сам.

Однако дальше жизненный фильм начинает крутиться совсем не так, как это рисовалось юношескому воображению.

В самом конце 1918 года — врачебная мобилизация в Красную Армию и отправка на Южный фронт в «Группу войск курского направления». Как в калейдоскопе проходят Воронеж, Валуйки, Купянск, Сватово, Луганск, Донбасс. Я прикреплен к 4-й Красной партизанской дивизии имени Дыбенко сначала в качестве главного врача полевого подвижного госпиталя, которого еще нет и который нужно создать, позже в качестве

помощника дивизионного врача.

Постепенно партизанский облик «Группы», отражавший революционный пафос беднейших крестьян Курской, Воронежской, Харьковской губерний и донбасских горняков, начинает заменяться организационными нормами регулярной армии. «Группа» переименовывается в 10-ю армию, а 4-я партизанская дивизия — в 42-ю стрелковую дивизию. Но в военном отношении она еще не успела окрепнуть.

Деникин и Краснов нажимают с фронта и флангов.

Белые дивизии, обильно оснащенные английской техникой, вытесняют нас с подступов к Ростову и из Донбасса. Во фронте образуются бреши. Английские полевые гаубицы деникинских артиллеристов косят красных бойцов.

Конница Улагая, Шкуро и Мамонтова заходит глубоко в тыл отступающих красных дивизий. Дальше — утеря связи со штабом дивизии и с соседними частями, окружение и плен.

Всю вторую половину 1919 и 1920 год вплоть до эвакуации из Крыма я провожу на территории юга России, занятой деникинской, а затем врангелевской армией, в качестве военнопленного врача. Меня прикрепляют то к лечебным учреждениям военных контингентов этих армий, то для лечебной и профилактической работы среди гражданского населения.

Когда Красная Армия в конце октября 1920 года прорывает горлышко «крымской бутылки» и начинается агония врангелевской армии, белое начальство объявляет принудительную посадку на корабли всего находящегося в его распоряжении медицинского персонала для сопровождения раненых и больных белых офицеров и солдат, несколько тысяч которых грузят на какие попало суда, чуть ли не на шхуны, для эвакуации в Константинополь.

Наступает 15 ноября 1920 года. Последний взгляд на Севастополь, Сапун-гору, Малахов курган, Северную сторону и… палуба «Херсона».

Надолго ли я покидаю родную землю?

В тот момент казалось — ненадолго, на каких-нибудь пять-шесть недель.

Вместо этих пяти-шести недель — двадцать семь лет…

Вот и вся краткая фактография первых двадцати шести лет жизни автора настоящих воспоминаний.

Читатель вправе задать себе вопрос: объясняет ли она сама по себе неизбежность вышеописанной посадки и сам факт эмигрирования?

Нет, конечно, никак не объясняет.

Да, посадка для медиков была принудительная, иначе и быть

не могло при тех обстоятельствах. И все же при наличии твердой решимости остаться во что бы то ни стало на родной земле ее можно было избежать, даже принимая во внимание некоторый риск для жизни, обусловленный законами военного времени и приказами белого командования.

Но именно решимости в тот момент у автора настоящих воспоминаний и не было. А не было ее потому, что в те времена он не был свободен от некоторых из тех интеллигентских шатаний, колебаний и сомнений, о которых сказано выше. Эти колебания были порождены всем миросозерцанием той среды, в которой он родился, и той атмосферой, в которой он рос и воспитывался. На этом миросозерцании и на этой атмосфере следует задержать внимание читателя.

Еще в самые ранние детские годы я всегда находился под впечатлением той особенности нашей жизни, что каждый раз, когда старшие собираются вместе — или у нас в доме, или в гостях, или на прогулках, или еще где-нибудь, они непременно начинают что-то страстно обсуждать, спорить, волноваться, шуметь и кричать до хрипоты.

Вскоре я постигаю и смысл этих бурных словоизвержений: все члены нашей семьи и все, кто бывает в нашем доме и у кого мы сами бываем, ругают царя и царское правительство, словесно разносят в пух и прах самодержавный строй, произносят страстные речи о необходимости свергнуть это правительство, созвать какую-то непонятную «учредиловку» и устроить какую-то мудреную «конституцию», при которой все будут свободны, счастливы и довольны.

Это длилось годами. Однако дальше громких и прекрасных слов дело не шло. Во всем моем тогдашнем окружении, состоявшем исключительно из представителей столичной интеллигенции — врачей, педагогов, музыкантов, адвокатов, журналистов, не было ни одного человека, который на деле включился бы в активную революционную борьбу и оказал бы какие-либо реальные услуги революционному движению.

Декабрьские события 1905 года застали меня во втором классе гимназии (соответствующем четвертому классу советской средней школы). Речи вокруг меня сделались еще более громкими и зажигательными, противоправительственный пафос — еще более сильным. Когда была созвана I Государственная дума, мы, 12-летние подростки, уже читали газеты «от доски до доски», восхищаясь противоправительственными речами оппозиционных лидеров, имели среди них своих любимцев, сами лезли в примитивные политические дискуссии с инакомыслящими сверстниками, если они изредка попадались в нашей среде.

Последующие годы столыпинской реакции еще более подогрели эти настроения.

В этой атмосфере ненависти к самодержавному строю, царившей в нашей семье и окружавшей меня среде, прошли мои детство, отрочество и юность. Но за этим совершенно искренним пафосом отрицания существовавшего строя и за идущей от чистого сердца идеологией бескорыстного служения народу не крылось никакой позитивной программы. Считалось, что единственной политической целью данной эпохи должно быть свержение самодержавия и созыв Учредительного собрания.

А дальше?

Предполагалось, что дальше сами собою потекут молочные реки в кисельных берегах и что мы подобно чеховским героям «увидим небо в алмазах».

Ну, а как же все-таки быть с народом — слово, которое не сходило с уст либеральных глашатаев народных свобод.

С тем самым народом некрасовской Руси, а потом столыпинской России, над печальной судьбой которого мы совершенно искренне проливали горькие слезы?

С народом, как нам тогда казалось, все будет обстоять отлично: хозяйственным мужичкам надо будет прирезать некоторое количество удельной и помещичьей земли и открыть для них чайные без подачи спиртных напитков, а для рабочих построить бесплатные амбулатории и устраивать воскресные чтения на темы, что такое электричество, молния и гром, в чем заключались реформы Петра Первого и какие растения произрастают под тропиками.

Вот и все, что требовалось для народного счастья, по понятиям той политически пассивной части интеллигенции, о которой я веду речь. Вот и вся позитивная программа прекраснодушия российских маниловых, составлявших очень значительную часть либеральной интеллигенции, в среде которой я родился, воспитывался и вырос, верхушка которой была для меня и моих сверстников и сотоварищей по воспитанию и образованию высшим политическим авторитетом.

Истинных желаний, надежд и чаяний народа мы не знали, хотя мысли наши были обращены к этому народу ежедневно и ежечасно. В подавляющем большинстве мы даже и разговаривать-то с ним как следует не умели. И это несмотря на то, что сами мы в конечном счете вели свое происхождение из толщи этого самого народа и что никто из нас, наших родителей и наших предков никогда не был ни помещиком, ни фабрикантом, ни торговым предпринимателем или еще кем-либо эксплуатирующим чужой труд.

Громадному большинству этой части интеллигенции, стоявшей в стороне от подлинных революционных борцов — марксистов, было присуще некоторое самолюбование и гордое сознание того, что она — «элита» и что только с ее помощью народ добьется своего освобождения. А о том, что народ в один прекрасный день завоюет свободу совершенно самостоятельно, не спрашивая разрешения у «элиты», и будет устраивать свою судьбу так, как найдет нужным, никто из этой «элиты» не думал. В ее среде казалась ересью мысль, что народ имеет равные с «элитой» права на Бетховена, Чайковского, Рембрандта, Шекспира, Дарвина, Ломоносова, на все завоевания человеческого гения, на все достижения науки и техники.

На таком фоне у этой части интеллигенции и выросли в эпоху Октябрьской революции сомнения в том, не зашла ли революция чересчур далеко и не угрожает ли она ей, «элите», в ее «монопольном праве» на руководство духовной жизнью народа, а кстати, и самому ее существованию?

Эти сомнения и колебания, подогреваемые и раздуваемые вождями либерально-буржуазных партий, и привели в конечном счете многие тысячи российских дореволюционных интеллигентов к эмиграции.

Чтобы закончить повествование о причинах, по которым в эмиграции наряду с махровыми реакционерами из аристократического, вое иного, чиновничьего и торгово-промышленного мира очутились представители либеральной интеллигенции, я замечу, что среди массы интеллигентов-эмигрантов была одна группа, которую никак нельзя втиснуть в категорию «эмигрантов по недоразумению».

Это главари дореволюционных «левых» партий: кадетов, эсеров и меньшевиков, а также их ближайшие помощники и единомышленники, то есть прямые враги победившего в октябре 1917 года политического и общественного строя.

В годы гражданской войны они развили бешеную антисоветскую деятельность, и поэтому в факте бегства их за границу в финале этой войны не было ничего удивительного. К их политической деятельности за рубежом мне придется вернуться в соответствующей главе.

Итак, я стою на палубе «Херсона». В памяти остались на всю жизнь те тяжелые, безотрадные и мучительные минуты, когда от моего взора постепенно скрывались в морской дали контуры Крымского полуострова, а на борту «Херсона» я увидел в обстановке неизжитых противоречий людскую кашу из самых разнообразных элементов тогдашнего буржуазного, чиновничьего, военного и интеллигентского общества, постоянно

враждовавших между собою и очутившихся теперь у разбитого корыта на одинаковом положении и в одинаковых условиях.

Рядом с жандармским полковником сидел на узлах и чемоданах старый земский врач с семьей, которого, может быть, еще вчера этот полковник допрашивал «с пристрастием», в качество обвиняемого, но очередному делу о «потрясении основ». Около есаула Всевеликого войска донского, еще недавно во главе сотни казаков с нагайками в руках разгонявшего толпу демонстрантов, можно было увидеть в полумраке трюма фигуру недоучившегося «вечного студента», быть может участника этой демонстрации. Редактор архичерносотенной газетки, еще вчера призывавшей к погромам, пререкался с одесским биржевиком-евреем в битком набитой каюте, где яблоку негде было упасть. Чиновники деникинского Освага, сидя на свернутых в кормовой части палубы корабельных канатах, переругивались с бывшими репортерами эсеровских и меньшевистских газет. А я, представитель младшего поколения дореволюционной московской интеллигенции, сын врача и сам врач, стоял, тесно зажатый в сгрудившейся толпе бывших царских и белых офицеров, то есть той касты, которая во все этапы моей жизни глубоко презиралась мною и всеми моими сверстниками и сотоварищами по происхождению, образованию и воспитанию.

Но если спросить, было ли что-либо общее у всех этих людей вышеперечисленных социальных категорий, то ответ можно дать только такой: уверенность в том, что Советская власть есть явление временное и что через несколько месяцев или самое большее через год на смену ей придет что-то другое — что именно, никто из них не знал. Эта уверенность объединяла всю разнородную людскую массу, заполнившую 135 кораблей врангелевского флота, плывшего по водам Черного моря в грядущую неизвестность.

II
По Черному морю. Константинополь

Капитаны, штурманы и команды кораблей врангелевского флота едва ли видели когда-либо за всю свою мореходную карьеру переход, подобный тому, который происходил в эти ноябрьские дни в Черном море.

Часть кораблей была совершенно не приспособлена для перевозки пассажиров; другая часть имела поврежденные машины и двигалась со скоростью нескольких узлов. Все палубы, каюты, коридоры, трюмы кораблей были забиты людской массой всех возрастов, обоих полов, различного социального положения и различных убеждений. Багажа ни у кого не было. Его и нельзя было брать, если бы он и был. Запасы продовольствия были исчерпаны в первый же день. Воды в перегонных кубах не хватало и на десятую часть пассажиров, никем и никогда не предусмотренных. На кораблях воцарился режим голода и жажды.

В пути люди рождались и умирали. С первого же дня плавания то с одного, то с другого корабля, груженного ранеными и тифозными больными, опускали в море трупы умерших. На «Херсоне», «Саратове» и других крупных судах было зарегистрировано несколько рождений.

Около трехсот врачей и свыше тысячи сестер милосердия, привлеченных к этой невиданной массовой эвакуации большей частью насильственно, обслуживали эту полуторастатысячную людскую массу.

Двигаясь черепашьим шагом и в состоянии частичной аварийности корабли достигли Константинополя лишь через несколько суток.

Яхта Врангеля «Лукулл» в это время уже стояла в бухте Золотой Рог, а сам он на положении «бедного родственника» вымаливал у полновластных хозяев побежденной в первой мировой войне Турции — представителей англо-французского командования на Ближнем Востоке — право убежища для остатков своей разгромленной армии и «гражданских беженцев», разделивших судьбу этой армии.

Ужасный вид представляла многотысячная масса обезумевших людей, переполнивших сверх всякой меры плывшие по Черному морю в направлении Константинополя корабли. Оборванные, месяцами не мывшиеся, заросшие щетиной, грязные, вшивые, голодные, осунувшиеся от бессонных ночей, стояли эти люди, тесно прижавшись друг к другу, на палубах, в каютах и

трюмах. Большинству из них негде было сесть.

Но сколь бы ни была подавлена всем происшедшим их психика, они шумели, спорили, кричали, проклинали кого-то…

Слухи рождались ежечасно. Они быстро обходили закоулки каждого корабельного отсека. Осмыслить неизбежность всего происшедшего никто из беглецов не мог.

Печальная действительность рождала грезы, фантазии, бредовые мечты…

В одном углу «Саратова» или «Херсона» передавали, что на западе Белоруссии и в Польше генерал Перемыкин формирует грандиозную армию, которая не сегодня-завтра двинется на Москву.

В другом говорили об англо-франко-американском десанте, который высадится завтра одновременно в Крыму, Одессе и на Кавказе, и о том, что «союзники» уже вынесли решение, касающееся всех белых, плывущих сейчас по Черному морю: они составят ядро будущей противосоветской армии.

В третьем горячо обсуждали неизвестно откуда пришедшее известие о каких-то невиданных и неслыханных грандиозных крестьянских восстаниях, о том, что восставшие окружили Москву и что «большевики уже улепетывают во все лопатки…».

Каждый грезил и скрашивал печальную действительность как умел. И даже те, кто не был склонен верить ни в Перемыкина, ни в десанты, ни в крестьянские восстания, все же считали, что происшедшая катастрофа поправима, что «большевизм в России — явление мимолетное» и что вообще особенно беспокоиться нечего, через несколько недель или месяцев «все придет в норму…».

Что же касается того, какую форму будет иметь эта «норма», мнения расходились.

Никогда эти люди не спорили так шумно и страстно, как сейчас, качаясь на волнах Черного моря. Они обвиняли друг друга; досылали проклятия всем и каждому, кто был с ними не согласен в оценке происшедшего; клялись расправиться с кем-то, кого они считали виновниками только что случившейся катастрофы; ссылались на историю, Священное писание, речи «вождей», пророчества партийных лидеров. Кричали и спорили долго — до седьмого пота и до хрипоты.

И только один вопрос, самый актуальный из всех, не занимал ничьего внимания: что ждет их завтра после высадки на чужую землю и в какой роли и на какие средства они будут существовать далее, живя у чужих людей?

Этот вопрос не возник ни у кого даже и тогда, когда на горизонте показалась туманная полоса турецкой земли и когда

несколько часов спустя врангелевские корабли стали на якорь в быстротекущих водах Босфора — узкой водяной змейки, отделяющей вместе с Мраморным морем и такой же змейкой — Дарданеллами Европу от Азии.

Незабываемую и неповторимую по своеобразной красоте картину представляет Константинополь!

Тысячи нагроможденных друг на друга домов — частью каменные громады дворцов и современных построек, частью сколоченные из досок хибарки и хижины; сотни мечетей с византийскими куполами-полушариями и остроконечными шпилями, уходящими в небо; среди этих мечетей — древняя Айя София, бывшая в далекие века святыней для всего христианского Востока, а за последующие пять веков вплоть до наших дней — такая же святыня для мусульманского Востока. Людской муравейник на площадях, улицах, улочках, в переулках, закоулках.

Рядом — лазурь Мраморного моря, тысячи парусных лодок, фелюг, шхун, катеров, пароходиков и пароходов, а поодаль — мрачные, грозные силуэты английских и французских дредноутов, охраняющих интересы тех, кто в те дни был хозяином положения на Ближнем Востоке.

Рыбачьи фелюги и лодки пронырливых торговцев облепляют прибывшие корабли. Пожива будет богатая.

Никому она раньше и не снилась. Полтораста тысяч измученных и голодных людей отдают последнее, чтобы утолить голод и жажду. За одну жареную рыбешку и пару апельсинов с борта корабля спускается на веревочке плата — золотое обручальное кольцо. За три пончика, жаренных на бараньем жире, и за полфунта халвы — бирюзовые серьги.

А у борта одного из кораблей иная сцена: на веревочке опущены карманные серебряные часы. Юркий торговец-грек, вместо того чтобы привязать к ней сторгованную связку инжира, хватается за весла и, работая ими изо всех сил, быстро удаляется от корабля, Вслед гремит пистолетный выстрел владельца часов. Грек роняет голову на грудь, руки его виснут как плети, по рубашке сочится кровь, а тело грузно опускается на дно лодки.

Кругом — ни испуга, ни смятения. Торговля есть торговля. Всякое бывает… Лови момент!

Торговцы с удвоенной энергией поднимают на борт корабля коробки фиников, рахат-лукум, инжир, лимоны, апельсины, халву, лепешки, пончики, куски жареного барашка, рыбу… Вниз на веревочках спускаются кольца, брошки, амулеты, браслеты, шелковые платки, запасные пары ботинок (у кого они случайно оказались) и многое другое, что можно еще снять с себя и

превратить в еду.

Денег у нахлынувшей массы людей нет. Вчерашние, имевшие хождение в Крыму кредитные билеты, не покрытые никаким золотым обеспечением, теперь могут служить лишь для оклейки комнат. О турецких лирах, греческих драхмах, фунтах стерлингов, франках и долларах можно лишь страстно и бесплодно мечтать. У приехавших их нет и быть не может.

Наступает ночь. Панорама виднеющегося вдали города принимает волшебный вид. Город загорается сотнями тысяч огней. На рейде — иллюминация на англо-французских дредноутах. Полная луна отражается в водах Босфора. На врангелевских кораблях томятся в неизвестности десятки тысяч людей. Слухи плодятся и множатся…

Утром следующего дня начинается по распоряжению англо-французского командования выгрузка раненых и больных. Вместе с ними выгружена и часть медицинского персонала. Другая часть задержана на кораблях и должна сопровождать основную массу так называемых «беженцев» вплоть до мест окончательного их расселения.

В последнюю категорию попадает и автор настоящих воспоминаний. Никакого карантина, санитарных и дезинфекционных мер провести невозможно: вместо выгруженных тяжелобольных, почти сплошь инфекционных, тотчас появляются вновь заболевшие. Каюты, отведенные под лазареты, заполняются в первый же день после выгрузки.

По решению союзного командования остатки разбитой армии будут расселены в лагерях Галлиполийского полуострова и островов Эгейского моря. Очевидно, командование имеет на них какие-то виды. «Гражданские беженцы» должны быть высажены в Константинополе.

Но разобраться в этой людской каше — кто «армейский», а кто «гражданский» — невозможно. У сгрудившихся на кораблях людей одно желание: сойти во что бы то ни стало на берег, выбраться из того ада, в который превратились палубы, каюты и трюмы кораблей врангелевской армады.

Но это не так просто: генералы Кутепов, Витковский, Скоблин, Туркул, Манштейн и другие пресловутые «герои» гражданской войны выставляют у трапов караул и сами решают, кто должен быть задержан на пароходах как материал для будущих авантюр и кто может быть спущен на берег. Стоящие рядом французские офицеры безучастно наблюдают за распределением.

Десятки тысяч людей сходят на берег.

С этих дней начинается «константинопольский» период в

жизни русской послереволюционной эмиграции.

Все перемешалось в заполнившей константинопольские набережные разношерстной толпе, говорящей на русском языке. Бывшие губернаторы, прокуроры, акцизные чиновники, мелкопоместные дворяне, генштабисты, гусары, уланы, драгуны, лейб-казаки, артиллеристы, юнкера, редакторы газет, репортеры, кинооператоры, певцы, артисты, музыканты, художники, врачи, инженеры, агрономы, классные дамы, фрейлины, офицерские жены — калейдоскоп всех слоев дореволюционного русского буржуазно-дворянского и интеллигентского общества. И — как исключение — отдельные, затерянные в этой массе ремесленники, хлеборобы, рабочие.

Они рассеялись по всему городу, и перед каждым из них во весь рост встали те вопросы, над которыми до этого момента никто из них не задумывался: Что делать дальше?

Куда идти?

Где и под какой крышей преклонить голову?

На какие средства существовать?

В первые дни на базары и толкучие рынки относилось все то немногое, что еще не было снято с себя. Дальше прибывшие «беженцы» вновь становились лицом к лицу с прежними мучительными и неразрешенными вопросами.

Вчерашние «превосходительства», «сиятельства», «господа офицеры», «дамы общества», не имеющие никакой специальности и не знавшие, что такое труд, превратились в никому не нужных нищих.

Лишь единицы из них смогли временно устроить свою судьбу более или менее сносно: одним помогли старые заграничные знакомства, другим — мимолетные связи, третьим — знание в совершенстве иностранных языков, в частности английского и французского. Кое-кто попал в расставленные искусной рукой сети иностранных разведок, продал свою честь за фунты, франки, доллары и зажил привольной для «беженца» жизнью.

Некоторые — единицы — из «беженцев» сразу оказались при деньгах. Они скупали за гроши на «толкучках» золотые портсигары, табакерки, фамильные бриллианты, разбазариваемые их соотечественниками, и в тот же день продавали их втридорога иностранцам. На вырученные деньги открывали притоны, кабаки, «обжорки», устраивали «тараканьи бега», торговали своими женами и дочерьми, прогорали, вновь бросались в омут спекуляции, рвачества, обмана, азарта, вновь составляли себе в несколько дней «оборотный капитал» и снова пускали его в ход, устраивая разные дела, почти всегда темные.

Появилась русская газетка. В ней — зазывающие объявления

специалистов по венерическим и мочеполовым болезням, акушерок, «дающих советы секретно беременным», зубных врачей, портных из Петербурга, Киева, Одессы, реклама ресторанов, комиссионеров. И — отдел розысков: Разыскиваю Петра Ивановича Доброхотова, штабс-капитана 114-го пехотного Новоторжского полка. Сведений о нем нет со времени первой одесской эвакуации. Просьба писать по адресу…

Знающих что-либо о судьбе Шуры и Кати Петровых 17 и 19 лет из Новочеркасска срочно просят сообщить их матери по адресу…

Сотоварищей по второй новороссийской эвакуации и по верхней палубе парохода «Рион» прошу срочно сообщить свои адреса по адресу…

Шурик, откликнись! Мама и я получили визу в Аргентину.

Пиши по адресу…

Виза! Какое манящее и многообещающее слово! Оно раньше не было известно почти никому из этой массы выброшенных за борт жизни людей. Теперь его узнали все.

Это — улыбка судьбы, подающая надежду получившему ее на какую-то лучшую жизнь вне константинопольского ада.

Для детей, ежедневно слышащих это волшебное слово, оно что-то вроде сказочной принцессы или доброй феи, которая одарит их щедрыми дарами и игрушками, а маму и папу осыплет благоухающими цветами и вместе со всеми членами семьи укажет им путь прямо в земной рай.

Но как получить визу? Как добиться, чтобы какое-нибудь иностранное консульство в Константинополе поставило на паспорте заветный штамп, дающий право на въезд в выбранную просителем страну? Где, как и откуда взять паспорт этой беспаспортной массе оборванных, нищих, голодных людей? Кому они нужны? Какая страна пустит их в свои пределы?

Вопросы эти остаются без ответа.

«Беженцы» по-прежнему заполняют константинопольские панели, набережные и площади. Они ютятся в трущобах, развалинах домов, щелях, хижинах, часто ночуя под открытым небом.

В жизнь многоязычной столицы Оттоманской империи, в которой уживались на протяжении веков турки, греки, армяне, евреи, вклинились пришельцы с севера, говорящие на никому не понятном языке и живущие своей обособленной, столь же никому не понятной жизнью.

Но иностранные разведки не дремлют. Некоторые категории русских «беженцев» представляют для них большой интерес. Кое-кого из них они завлекают в свои сети для «текущей работы» по

доставке им точных сведений о настроениях, мыслях и чаяниях русской эмигрантской массы. Кое-кто, может быть, пригодится им в будущем для более сложных поручений: ведь обстановка в Восточной Европе неясная. Нельзя дать себя застигнуть врасплох. Нужно держать наготове нити для плетения будущих политических узоров и хитроумных комбинаций.

В частности, у Второго бюро Центрального управления французской разведки есть и более неотложная забота: в спешном порядке организовать «улов» среди нахлынувших на Ближний Восток «беженцев» для Иностранного легиона. Щупальца Второго бюро проникают во все уголки капиталистического мира. Каждый раз, когда где-либо появляются массы или отдельные группы психически шокированных людей, спасающихся от судебных и административных кар у себя на родине и не знающих, куда себя девать на чужбине, тайная агентура сманивает их, вербуя как пушечное мясо специальной армии, призванной защищать интересы финансовой олигархии на подопечных Франции заморских территориях.

Во всех местах массового скопления безработных как в самой Франции, так и в ее «сферах влияния» в те времена можно было увидеть расклеенные на стенах домов и заборов красочные плакаты, призывавшие молодых людей добровольно вступать в ряды этой армии. На плакате — изображение земного рая. Синее море и лазурное небо. Яркое солнце. Песчаный пляж с растущими поодаль стройными пальмами. На этом фоне — солдат Иностранного легиона. На лице его — выражение счастья и восторга. Надпись: «Записывайтесь в самый прекрасный из всех полков мира!» Что же это за «самый прекрасный полк»? — спросит читатель.

В описываемые годы он состоял из пехотных, кавалерийских, артиллерийских, саперных и бронетанковых частей. Все вместе они более всего подходят под понятие соединения, именуемого в военное время армией (номерной).

Все солдаты и частично сержанты легиона — из иностранцев. Командный состав — только французы. Служба — по контракту, подписываемому в так называемом «добровольном» порядке на пять лет.

Основной контингент этих невольных «добровольцев», воинов-рабов — уголовные преступники всех стран, если только им удалось бежать со своей родины от судебных и полицейских преследований и очутиться на чужой территории в сфере видимости тайных агентов Второго бюро.

Поступление в Иностранный легион освобождает их от выдачи государству, откуда они происходят.

С того момента, когда убийца, грабитель, насильник, бандит, вор, растратчик иностранного происхождения поставил свою подпись под контрактом пятилетней службы в Иностранном легионе, он делается недосягаемым для полиции, администрации и суда. О его прошлом при поступлении в легион никто не спрашивает. С момента зачисления в солдаты легиона он теряет свое прежнее имя, фамилию, звание, национальность и получает только индивидуальный номер. С этого момента он больше не человек, а только номер.

Дисциплина — палочная. За малейшее неповиновение — расстрел. Место службы — колонии тропического пояса: Западная и Экваториальная Африка, Мадагаскар, Индокитай, Марокко, Алжир, Тунис, Сирия, Ливан.

Многие сотни русских эмигрантов подписали контракты, обрекавшие их на эту пятилетнюю военную каторгу.

Больше половины из них сложили свои головы в знойных пустынях Северной Африки, джунглях Индокитая и Мадагаскара, сраженные меткой пулей арабов, сенегальцев, аннамитов, мальгашей. Другие умерли на госпитальной койке от тропических болезней, солнечного удара, укусов ядовитых змей.

Едва ли нужно говорить, что в 1920–1923 годах в Константинополе Второе бюро собрало обильный людской урожай для «самого прекрасного полка в мире».

В течение последующих лет, проведенных мною в Париже, мне неоднократно приходилось встречаться и беседовать с эмигрантами, уцелевшими на этой военизированной каторге и отслужившими пятилетний контрактный срок в «самом прекрасном полку в мире», оставившем в памяти всей эмиграции зловещее воспоминание.

«Константинопольский» период жизни эмигрантов, эвакуировавшихся в 1919 и 1920 годах, продолжался около трех лет.

Возникшее в Турции мощное национально-освободительное движение, возглавленное Кемалем Ататюрком, вынудило Антанту эвакуировать свои сухопутные и морские силы из пределов этой страны.

Оккупация кончилась. Вместе с ней кончилось и пребывание в Константинополе русских эмигрантов.

Большинство из них было выслано в 1923 году из страны и перебралось в Болгарию, Югославию, Грецию, Чехословакию и Францию.

Следует отметить, что вышесказанное относится к категории «гражданских беженцев» и к тем бывшим военнослужащим врангелевской армии, которые сразу же после севастопольской

эвакуации перешли на положение гражданских лиц, то есть не были связаны с сохранившими воинскую организацию основными кадрами разгромленной армии. Эти последние, как читатель узнает из следующей главы, были размещены в подавляющей своей части вне Константинополя и его окрестностей. Для них «турецкий» период, который иногда неправильно называют «константинопольский», окончился раньше — еще в конце 1921 года, когда их остатки были перевезены в Югославию и Болгарию.

III. «Долина роз и смерти»

Теплое ноябрьское утро 1920 года встретило в Мраморном море флотилию из нескольких десятков судов, развозивших по местам окончательного назначения врангелевские контингенты и «гражданских беженцев».

По распоряжению англо-французского командования на Ближнем Востоке основная часть разбитой врангелевской армии была дислоцирована в Галлиполи, казачьи части — на острове Лемнос, остальные численно незначительные контингенты — в окрестностях Константинополя и на островах Мраморного моря. «Гражданские беженцы» в большей своей части выгрузились в том же Константинополе, в меньшей — были направлены в Пирей, Бейрут и Александрию, моряки военного флота — в Бизерту. Ядром этой разношерстной людской массы были те родившиеся в процессе гражданской войны белые полки и дивизии, которые в течение трех лет «делали» эту войну и составляли остов основанной генералами Алексеевым и Корниловым «добровольческой армии», потом — деникинских «вооруженных сил юга России» и в заключение — врангелевской армии.

Руководствуясь своими соображениями, французское и английское правительства дали директивы своему командованию на Ближнем Востоке сохранить разбитые врангелевские дивизии.

Англия, оказывавшая мощную финансовую и материальную поддержку Деникину, окончательно отказалась к тому времени от дальнейшей помощи белым армиям, по-видимому считая ее совершенно бесполезной.

Франция, наоборот, официально заявила, что берет под свое покровительство русских «беженцев» и что делает это якобы из чувства «гуманности», о чем французские власти неоднократно оповещали население эмигрантских лагерей. «Гуманность» эта была, впрочем, довольно своеобразная: французское правительство распорядилось выдать своим новым подопечным — «беженцам» — оставшиеся от Дарданелльской операции 1915 года старые палатки, залежавшиеся банки мясных консервов и превратившуюся чуть ли не в камень фасоль, а в виде платы за все это забрала угнанные Врангелем боевые корабли Черноморского флота и целиком весь торговый флот, сосредоточенный к моменту эвакуации по приказу Врангеля в портах Черного моря[1].

В те же руки попало и все ценное имущество, которым были нагружены эти корабли. Не нужно быть экономистом и статистиком, чтобы понять, что «гуманности» в этом бизнесе

очень мало.

В ноябре 1920 года 30 тысяч офицеров и солдат врангелевской армии — алексеевцев, корниловцев, марковцев, дроздовцев и других — вместе со штабами, интендантствами, госпиталями и вспомогательными учреждениями высадились на пустынном европейском берегу Дарданелльского пролива, около маленького городка Галлиполи. Это было то самое место, где в 1915 году англо-французские морские силы и наземные войска тщетно пытались штурмовать турецкие береговые укрепления; где погибло в турецком плену множество офицеров и солдат русской армии, начавшей в 1877 году военные операции против Турции, за освобождение единоплеменной Болгарии; где еще раньше сложили свои головы запорожцы, воевавшие с турецким султаном, и где, по преданию, в глубине веков грозный Ксеркс велел «высечь море»…

В те же самые дни на столь же пустынные берега острова Лемнос были выгружены 15 тысяч донских казаков из той же врангелевской армии. Один из многочисленных островов Эгейского моря, Лемнос, не мог похвастаться столь богатым историческим прошлым, как Галлиполийский полуостров. В 1915 году здесь в глубоких бухтах укрывались боевые корабли союзного флота, предназначенного для операции по овладению Константинополем и проливами.

Врангелевский военный флот в составе одного линейного корабля, одного крейсера, шести миноносцев и ряда вспомогательных судов получил приказ идти в тунисский порт Бизерту. Там его разоружили, а личный состав вместе с воспитанниками морского корпуса был списан на берег, где он и прожил около года вплоть до расселения по разным городам и департаментам Франции.

Я провел в Галлиполи девять с половиной месяцев на положении врача одного из лечебных учреждений, расположенного на территории белогвардейского лагеря, и имел возможность наблюдать за повседневной жизнью этого своеобразного мирка, отгороженного от остального мира не только географически, но и психологически.

Стояла ясная, солнечная и теплая погода. Зима в этих широтах наступает поздно. Тихий и заброшенный турецкий городок Галлиполи на Каменистом и пустынном берегу Дарданелл, в то время представлявший собою, как и большинство турецких городов, груду сбитых в кучу деревянных, убогих лачуг с редкими каменными домами и мечетями среди них, не видел за все свое многовековое существование такой массы пришельцев с непонятной, громкой и певучей речью. Они за два-три часа

заполнили все его набережные, улочки и переулки.

В веками сложившуюся медлительную жизнь Востока, с его неподвижными людскими фигурами и лицами с застывшей мимикой вклинилось что-то новое, чужое, необычное… Прибывшая масса людей, обросших щетиной, грязных, в обтрепанных шинелях (подарках его величества английского короля), бурлила, шумела, спорила, размахивала руками. Это были незадачливые воины белой армии, которую русский народ и история выплеснули на чужие берега, где она бесславно окончила свое никому не нужное существование.

Но не так думали сами прибывшие. И тогда в Галлиполи, и много лет спустя заброшенные в иные страны они продолжали верить в свою миссию «освободителей» и строителей «великой, единой, неделимой России». Они окружили самих себя ореолом геройства, а убогий турецкий городишко сделали символом непрекращавшейся за рубежом борьбы с «мировым злом — большевизмом». Они создали легенду о «галлиполийском сидении», разнесли ее по всем углам русского зарубежного рассеяния, а себя украсили нагрудным железным крестом с начертанным на нем словом «Галлиполи».

Три с лишним десятка лет после этого они жили мечтою о грядущем «весеннем походе», о нанесении ими сокрушающего удара по «мировому злу — большевизму» и о победоносном своем возвращении на родину. Жили, верили, надеялись, незаметно старились, дряхлели… и постепенно вымирали.

В первые же дни после высадки разбитой белой армии в Галлиполи и на Лемносе находившийся в Константинополе Врангель отдал свой первый зарубежный приказ.

Ему нужно было как-то сохранить свое лицо и вдохнуть в приунывших после крымской катастрофы подчиненных какую-то надежду. В высокопарных выражениях приказ упоминал об историческом предопределении расселения белой армии на землях около древней Византии с ее храмом тысячелетней древности — святой Софией; на тех самых землях, где покоятся кости воинов Олега, запорожских сечевиков, некрасовских беженцев-казаков, русских пленных балканской армии…

В описываемое время он старался прежде всего сохранить военные кадры, не допустить их растворения в массе «гражданских беженцев». Сам он на это уже не был способен: авторитет его среди белого офицерства был поколеблен. Нужны были новые люди. Нужен был, с его точки зрения, человек, который смог бы восстановить нарушенный порядок в разгромленном белом воинстве, с сильно разболтанной дисциплиной, собрать это воинство в кулак для будущих военных

авантюр. Выбор его пал на генерала А. П. Кутепова, одного из высших военачальников руководимой им в Крыму армии.

Формально Врангель продолжал возглавлять военные контингенты разбитой армии вплоть до своей смерти, последовавшей в Брюсселе в 1928 году. В свою очередь эти контингенты продолжали считать его главнокомандующим тоже формально и тоже до этой даты. Но истинным выразителем дум и чаяний белого офицерства и его душою уже в ту пору сделался Кутепов, к которому после смерти Врангеля перешло автоматически командование этой призрачной армией.

Кутепов, уроженец одной из крайних северных губерний бывшей Российской империи, не был ничем примечателен ни в первую мировую войну, ни в гражданскую.

Он имел неполное гимназическое образование, затем прошел курс юнкерского училища, откуда был выпущен подпоручиком в один из армейских полков. После Февральской революции, нанесшей удар аристократической касте гвардейских офицеров, его перевели в старейший гвардейский полк старой армии — Преображенский. В первую мировую войну Кутепов решительно ничем не выделялся из остальной офицерской массы. Вместе с другими контрреволюционно настроенными офицерами он в конце 1917 года пробрался на Дон, где в то время формировалась «добровольческая армия», и в качестве командира роты одного из офицерских полков совершил вместе с Корниловым так называемый «ледяной поход».

В гражданскую войну офицерская карьера в белой армии часто делалась с головокружительной быстротой. Поэтому нет ничего удивительного, что, быстро пройдя должности командиров батальона, полка и начальника дивизии, он к моменту занятия деникинской армией юга России летом 1919 года был уже командиром корпуса. Но ни в тот период, ни в последующие вплоть до окончательного разгрома белой армии он не пользовался среди боевой части белого офицерства большим авторитетом. В противоположность белым генералам Туркулу, Манштейну, Скоблину за ним не числилось ни одного крупного боевого успеха. Зато в тыловой жизни он был грозою всего подчиненного ему офицерства и генералитета.

Для поставленной Врангелем цели это был самый подходящий человек. В первом же своем слове, обращенном к деморализованным офицерам и солдатам, обитателям галлиполийского лагеря и города Галлиполи, Кутепов заявил, что ничего особенного не случилось; что крымская катастрофа — сущий пустяк; что вскоре последует десант и вновь начнется прерванная на короткий срок борьба с ненавистной Советской

властью; что в успехе этой борьбы нет и не может быть никакого сомнения; что вскоре в армии вновь будут, как и в царские времена, 52 номерные дивизии…

А сейчас — прежде всего такая же воинская дисциплина, как и в благословенные царские времена. Никому никаких поблажек. За малейшее нарушение ее — арест и содержание на гауптвахте, за более крупное — разжалование в солдаты, за очень крупное — расстрел.

В каждом своем приказе, в речах на парадах, в беседах с офицерами он вбивал им в голову любезные их уму и сердцу идеи, что военная каста — высшая из всех существующих в человеческом обществе; что они — корниловцы, марковцы, дроздовцы, алексеевцы — «соль земли» и что с великодушной помощью этой «соли» Россия и русский народ будут спасены от «порабощения большевиками».

Авторитет Кутепова стал быстро расти. Для деморализованной и претерпевшей психический шок белоофицерской массы он сделался идеалом военачальника, а в будущем — диктатора России. К концу «галлиполийского сидения» он был в глазах этой массы естественным главой всего зарубежного белого воинства. Таким он в ее представлении остался вплоть до его исчезновения в Париже в 1930 году.

Кутепов рьяно принялся за устройство галлиполийской лагерной жизни. Сам он расположился со своим штабом на городской территории Галлиполи. Для размещения многочисленных штабных отделов и подотделов были сняты частные помещения. У Врангеля для этой цели денег было достаточно: казна его, питавшаяся в свое время фунтами стерлингов, сыпавшимися в изобилии с Британских островов, еще не опустела. Там же в городе расположились вывезенные вместе с остатками разбитой армии шесть юнкерских училищ всех родов оружия (хотя и безо всякого оружия), технический полк, три офицерские школы, железнодорожный батальон, госпитали, хозяйственные и подсобные учреждения.

Для основной массы эвакуированных на Галлиполийский полуостров врангелевских контингентов французское командование отвело пустынную долину в семи километрах от города. Здесь в первые же дни после высадки вырос целый город белых палаток, выделенных, как было выше сказано, в порядке «гуманности» по распоряжению французского правительства французскими интендантами.

Странное было время! На турецкой территории с преобладающим греческим населением хозяйничали победители — англичане и французы. Территория

Галлиполийского полуострова оказалась подчиненной французам. В городе был расквартирован полк чернокожих сенегальских стрелков, а в бухте стоял французский контрминоносец с наведенными на русский «беженский» лагерь жерлами орудий. На всякий случай… Так спокойнее. Кто их знает, этих «беженцев», что у них на уме! Ведь они как-то ухитрились протащить с собою на пароходах и выгрузить на сушу некоторое количество винтовок, пулеметов и патронов. С ними надо быть начеку. Ближний Восток — классическое место для всякого рода политических сюрпризов и авантюр.

Высадившиеся на полуострове врангелевские соединения были сведены в единицы более мелкого порядка. Армия превратилась в корпус, который получил громкое название — «1-й армейский корпус русской армии». Белая идеология не могла обойтись без увязывания всякой новой своей авантюры с именем России.

Корниловская, Марковская, Дроздовская и Алексеевская дивизии превратились в полки тех же названий. Они составили 1-ю пехотную дивизию. Белая кавалерия (кроме донских казаков, высаженных на остров Лемнос, и кубанских и терских казаков, расселенных около Константинополя) была сведена в четырехполковую «1-ю кавалерийскую дивизию». Коней у этих кавалеристов, конечно, не было, но за былые офицерские традиции старых кавалерийских полков они держались крепко.

Вся врангелевская артиллерия (кроме казачьей) была сведена в шесть дивизионов, составивших «артиллерийскую бригаду 1-го армейского корпуса». Пушек, конечно, тоже не было, но артиллерийский «дух» дивизионов и батарей царской армии усиленно культивировался в рядах белых артиллеристов.

О чем думала эта 30-тысячная масса выброшенных за борт жизни людей, не занятая никаким производительным трудом? Какие мысли бродили в голове у всех этих пехотинцев, кавалеристов, артиллеристов, саперов, военных железнодорожников и юнкеров?

Прежде всего воспоминания, воспоминания и воспоминания…

Ими жили в последующую четверть века не только галлиполийцы, но и вся эмиграция. Время как бы остановилось для этой эмиграции. Реальная жизнь для эмигрантов кончилась в тот момент, когда они сели на корабли в Севастополе, Одессе, Новороссийске, Феодосии, Архангельске, Владивостоке.

Дальше начался сон, кошмарный сон. Но сон этот, конечно, скоро кончится…

Отсюда — вторая половина духовной жизни эмиграции —

надежды, надежды и надежды…

На что надежды?

На то, что реки потекут вспять, что солнце взойдет завтра на западе, а зайдет на востоке и что колесо истории покатится в обратном направлении.

Повседневная жизнь этих 30 тысяч бездельничавших людей, прозябавших во французских палатках на заплесневелом хлебе, консервах пятилетней давности и гнилой фасоли, сводилась к передаче лагерных слухов, ласкавших воображение и окрылявших обитателей его новыми надеждами, и к пережевыванию все одних и тех же воспоминаний о лихой юнкерской жизни, чинах, орденах и служебных продвижениях, о боевых эпизодах и походах и о том, что главной ошибкой была чья-то непростительная мягкость. Надо было в свое время «перевешать и расстрелять всех проклятых слюнявых интеллигентов с Милюковым и Керенским во главе». Не будь их, ничего бы и не было, «сидели бы мы сейчас спокойно в Москве и Петербурге».

От слухов в лагере некуда было уйти: «Франция признала армию… Через два месяца десант…

Армия покатится к Москве, как снежный ком… В три месяца с большевиками будет покончено…» «Президент Вильсон официально заявил, что он оставляет большевикам еще только шесть недель жизни…» «Англия согласилась на военную диктатуру. Кутепов уже назначен диктатором. Его будущая резиденция — Московский Кремль…» «Каждый месяц галлиполийского сидения приравнен к году службы. Уже заготовлен приказ о производстве в следующие чины всех господ офицеров…» «Франция предлагает нам почетную службу охраны новой французской границы на Рейне… Установлены высокие оклады. Отправка — через две недели…» А пока — пустынный и безотрадный Галлиполи, «голое поле», как его называли обитатели лагеря, брезентовые палатки, одеяла и чашки американского Красного Креста, гнилые консервы, кутеповская игра в солдатики, маршировка, гауптвахта за неотданное воинское приветствие или нечеткий ответ начальству, а для поднятия «духа» — развлечения: футбол, самодеятельный под открытым небом театр без декораций и костюмов, лагерная газетка «паршивка», «объединения» офицеров за чашкой разведенного спирта, юнкерские песни канувших в вечность времен…

Но Кутепов крепко держал лагерь в своих руках. Недовольству не должно быть места. О настроениях обитателей лагеря его информирует в секретном порядке созданная им контрразведка. Неблагополучия быстро устраняются. Под

подозрение взят бывший начальник Дроздовской дивизии, а ныне командир Дроздовского полка генерал Туркул: перед его палаткой на лагерной линейке — клумба со сложенным из мелкого камня изображением двуглавого орла — о ужас! — без короны.

Но это еще не все. Информаторы сообщают, что в его штабной палатке поздно вечером собираются и о чем-то шепчутся преданные ему дроздовцы. Вскоре они выясняют предмет этих шептаний: перехвачено его письмо в Париж к лидерам эмигрантских республиканских кругов.

Выдвинут новый лозунг: «Довольно монархий! Даешь республику!» Туркул вызван к Кутепову. Он понимает, чем пахнет такое дело. Бесславно окончить свои дни в застенке галлиполийской кутеповской контрразведки он не хочет. Он приносит публичное покаяние. К двуглавому орлу на лагерной линейке в расположении Дроздовского полка спешно приделывается корона. Кутепов заключает раскаявшегося генерала-бунтовщика в свои объятия.

Буря в стакане воды окончена. Мир на галлиполийской земле восстановлен.

К концу «галлиполийского сидения» из обитателей лагеря Кутеповым была создано сплоченное и послушное орудие для будущих авантюр, посеяны семена РОВСа — Российского общевоинского союза.

Официальное рождение РОВСа относится к 1924 году.

Именно тогда в точности определились его организационная структура, права и обязанности членов, устав и прочие подробности юридического и организационного порядка. Но зародыши его идеологии относятся именно к «галлиполийскому» периоду, а творцом этой идеологии и вдохновителем будущего РОВСа был и остался, как я уже упоминал, командир «1-го корпуса русской армии» и будущий «диктатор Российского государства» генерал Кутепов.

Галлиполийский лагерь просуществовал примерно год.

Основная масса его обитателей покинула его летом и глубокой осенью 1921 года.

Некоторая часть лагерников отсеялась в первые месяцы после его основания. Она была представлена теми элементами, до сознания которых дошла вся нелепость кутеповской игры в солдатики и полная бесперспективность галлиполийского ничегонеделания. С ведома и согласия французских властей эти люди перешли на положение «гражданских беженцев», с тем чтобы покинуть лагерь и самостоятельным трудом добывать себе средства к существованию на территории Турции и Греции.

Многие из них, соблазнившись посулами бразильских плантаторов, обещавших им золотые горы в Бразилии, уехали в эту далекую страну, где, попав на кофейные плантаций штата Сан-Паулу в качестве чернорабочих, фактически перешли на положение полурабов и в большинстве окончили там свои дни.

Кутепов предал анафеме «гражданских беженцев», нарушивших единство кадров будущего РОВСа, но задержать их в лагере не мог: французские власти весьма недвусмысленно дали ему понять, что он является хозяином лагеря лишь постольку поскольку. Все основные вопросы жизни лагеря решают они.

Склонные к опоэтизированию безотрадной действительности своего «сидения», галлиполийцы окрестили отведенную им между каменистыми холмами площадь «долиной роз и смерти». Никаких роз там, правда, не водилось, смерти тоже не было, так как никогда никто в этой долине не жил. Но это название «звучало» и к ореолу «галлиполийских сидельцев» прибавляло, с их точки зрения, лишний луч сияния.

Утром и вечером, на зимнем ветру и летнем солнцепеке можно было видеть одинокие фигуры лагерников, стоящих на холмах, обступивших с двух сторон «долину роз и смерти», и с тоской смотрящих вдаль. Перед ними по узкому водному коридору Дарданелл плыли морские гиганты под флагами всех стран, привозящие в Константинополь, Бургас, Варну и Констанцу и увозящие оттуда людей всех наций.

За водами пролива — Малая Азия с цепями гор, белых зимою, зеленых весною и летом, желтых поздней осенью.

Налево — гладь Мраморного моря с еле виднеющимися на горизонте контурами холмистых островов. За ними — невидимые для глаза Босфор, Константинополь, святая София, Черное море, родная земля…

Нередко случалось, что одна из этих фигур вынимала из кармана обгрызенный карандаш и клочок бумаги, нервно писала на нем что-то, а потом, достав из другого кармана револьвер и приставив его к своему виску, спускала курок. А на следующий день после захода солнца выстроенным на линейке офицерам и солдатам «1-го армейского корпуса русской армии» читался приказ по корпусу: «Покончившего жизнь самоубийством поручика такой-то роты такого-то полка (или дивизиона) исключить из списков…» Рядом с «долиной роз и смерти» образовалось и росло с каждым днем русское лагерное кладбище. Не проходило ни одного дня, чтобы в галлиполийский грунт не опускали несколько гробов. Сыпной, возвратный и брюшной тиф косили истощенных и морально подавленных людей.

Окруженное воображаемым ореолом славы «галлиполийское

сидение» требовало каких-то внешних форм выражения этой «славы».

По приказу Кутепова приступили к постройке памятника на кладбище. Каждый галлиполиец был обязан принести туда один камень весом не менее десяти килограммов. Через несколько дней на высшей точке одного из холмов, господствующих над «долиной роз и смерти», образовалась грандиозная груда камней, из них в течение ближайших после этого недель был воздвигнут памятник, который, по мысли Кутепова, должен был олицетворять мужество и аскетическую жизнь «галлиполийских сидельцев». Это был больших размеров каменный цилиндр, на котором покоился такой же конус. Высеченная на камне надпись гласила, что сей памятник воздвигнут на месте упокоения воинских чинов «1-го армейского корпуса русской армии», их предков — запорожцев, а также офицеров и солдат, умерших в турецком плену.

Тогда по почину того же Кутепова было введено ношение нагрудного значка всеми: участниками превознесенного им до небес «галлиполийского сидения». Каждый из них получил при этом именную грамоту такого содержания: «В воздаяние беспримерного мужества, проявленного в борьбе с большевиками в исключительно трудных условиях пребывания первого армейского корпуса русской армии в городе Галлиполи и галлиполийском лагере, дано сие удостоверение такому-то на право ношения нагрудного галлиполийского значка номер такой-то…» Желающие «сидельцы» могли, сверх того, носить на любом пальце железное кольцо с тем же словом: «Галлиполи».

Значками и кольцами Кутепов старался закрепить единство выпестованных им кадров будущих диверсантов и антисоветских активистов.

Врангель приезжал в Галлиполи только один раз.

Французские власти признали нежелательными повторные посещения. Встречали его галлиполийцы без особого энтузиазма. На их глазах появился и вырос новый «бог» и будущий «диктатор государства Российского» — генерал Кутепов. Врангель остался для них только неким символом антисоветской борьбы. Реального значения он уже не имел.

Но по мысли Кутепова, встречу ему устроили формально как царю. На его приветствие выстроенным в «долине роз и смерти» белым полкам и дивизионам «Здорово, орлы!» «орлы» после традиционного «Здравия желаем, ваше высокопревосходительство» кричали «ура!» — почесть, оказывавшаяся по давней традиции только царям.

Высокий, худой, со сдвинутой на затылок папахой, стоял

Врангель перед строем остатков своей разбитой армии. Свою речь он поминутно прерывал возгласом: «Держитесь, орлы!» Когда в покрывавших небо тучах образовался разрыв и глянул луч солнца, он театральным взмахом руки показал на него и воскликнул: — Верьте, орлы, что большевизм будет свергнут, и это солнце вновь воссияет на небе нашей измученной родины!

«Орлы» слушали эту речь, затаив дыхание. Уж если самое высокое начальство говорит о скором падении Советской власти, то какое еще может быть в этом сомнение!

Кроме Врангеля в галлиполийский лагерь изредка наведывались из Константинополя представители так называемой «эмигрантской общественности»: князь Павел Долгорукий, впоследствии нелегально перешедший из Польши советскую границу с чужим паспортом и под чужим именем; писатель Илья Сургучев, впоследствии отсидевший шесть месяцев во французской тюрьме за активное сотрудничество с гитлеровскими оккупантами; председатель всеэмигрантского комитета профессор богословия Карташов, впоследствии видный антисоветский активист, и многие другие. Все они обещали «сидельцам» скорое и победоносное возвращение на родину, приводили несомненные в их глазах доказательства справедливости такого прогноза. «Сидельцы» слушали их и, разойдясь по своим палаткам, в тысячный раз пережевывали одну и ту же тему: где, когда и при каких обстоятельствах последует десант, во сколько дивизий и корпусов развернется «1-й армейский корпус» и какое операционное направление следует выбрать, чтобы в кратчайший срок окружить Москву…

Два или три раза за год «сидения» в городе и лагере Врангель порадовал своих «орлов» чем-то более существенным, нежели обещания победного возвращения на родную землю: каждому галлиполийцу из остатков находившихся у него «казенных сумм» он выдавал по две турецкие лиры. И всякий раз несколько десятков тысяч этих лир оказывались в карманах греческих торговцев спиртными напитками. А во всех палатках лагеря и городских зданиях, занятых чинами «1-го армейского корпуса», раздавалось нестройное пение: Берегись! По дороге той Пеший, конный не пройдет живой! — пели пьяными голосами в одной палатке.

Взвейтесь, соколы, орлами, Полно горе горевать!

То ли дело под шатрами В поле-лагере стоять! — неслось из другой. Пьяное пение чередовалось с криками «ура!» и беспорядочной стрельбой в воздух.

Еще в начале галлиполийского и лемносского «сидений» Врангель обратился к югославскому и болгарскому

правительствам с просьбой принять и расселить в обеих странах офицеров и солдат разгромленной в Крыму армии. Он взывал к славянофильским чувствам обоих правительств, напоминал им о понесенных Россией жертвах в борьбе за освобождение братьев-славян и жонглировал образом и ликом «будущей России», покровительницы всех славянских народов.

Французы со своей стороны торопили его в этой миссии. Они ежедневно твердили, что, кроме забранного ими военного и коммерческого флота, у него, Врангеля, нет никакого другого материального обеспечения для прокормления его «армии»; что в этих условиях они далее проявлять свою «гуманность» в отношении этой «армии» не могут; что «будущая Россия» — это нечто весьма неопределенное и сомнительное и что одних голых обещаний, касающихся будущих отношений с этой проблематической Россией, им недостаточно.

Старания Врангеля увенчались успехом.

Югославия согласилась принять на постоянную пограничную службу на положении рядовых под командой югославских офицеров несколько тысяч врангелевских офицеров и солдат, находившихся в Галлиполи.

В июне 1921 года лагерь проводил в Югославию всю кавалерийскую дивизию во главе с генералом Барбовичем.

А в конце августа того же года Кутепов объявил в приказе о предстоящей отправке дроздовцев и алексеевцев в Болгарию. Еще несколько тысяч человек покинули лагерь вместе со штабами, интендантскими, медицинскими и подсобными учреждениями. Вместе с одним из этих учреждений — палаточным лазаретом из «долины роз и смерти» — был отправлен в Болгарию и я, бывший в ту пору младшим ординатором этого лазарета.

В декабре 1921 года последняя часть «1-го армейского корпуса» во главе с самим Кутеповым и его штабом, интендантством и госпиталями погрузилась на пароходы и отбыла в Варну. Одновременно туда же были перевезены донские казаки с острова Лемнос.

Галлиполийский лагерь перестал существовать.

Но галлиполийцы, скрепленные цементом кутеповщины, увозили с собою не только нагрудные значки, кольца и грамоты. В их умах была твердая уверенность, что завтра вооруженная борьба против Советской власти возобновится и они вскоре после этого с триумфом вступят в Москву.

Галлиполи кончилось. На смену ему шел РОВС — Российский обще-воинский союз.

IV
Лицом к братьям-славянам

В последних числах августа 1921 года в Варненском порту пришвартовался пароход «Решид-паша» под турецким флагом. На нем была перевезена первая партия кутеповских галлиполийцев. Почти одновременно в Болгарию начали прибывать большие группы донских казаков с острова Лемнос. Продолжалось это три месяца.

В декабре того же года переселение закончилось. Как я уже упоминал, с последней партией галлиполийцев в Болгарию переехал и сам Кутепов со своим штабом.

Таким образом, через год после полного разгрома врангелевской армии остатки ее, реорганизованные Кутеповым в «1-й армейский корпус русской армии», были расселены в Югославии и Болгарии.

До этого Югославия и особенно Болгария приняли на свою территорию многочисленных «гражданских беженцев», то есть представителей крупной и средней буржуазии и интеллигенции, бежавших вместе с отступавшей в конце 1919 года и окончательно разгромленной в начале 1920 года деникинской армией. Прибывшие в Болгарию в 1921 году кутеповские галлиполийцы не смешивались с этой массой «гражданских беженцев».

Они смотрели на последних свысока. В их глазах это были «штафирки»[2], тогда как сами они считали себя кастой избранных.

Согласно заключенному в Нейи мирному договору, побежденная Болгария обязалась разоружить свою армию. Ей было разрешено (так же как и ее партнерам Германии, Австрии, Венгрии, Турции) держать под ружьем только ничтожное количество офицеров и солдат для несения внутренней службы.

Болгарские казармы опустели. В них и были направлены прибывшие из Галлиполи кутеповские военные контингенты. Началось расселение «1-го армейского корпуса» по болгарским городам.

Кутепов со всеми штабными учреждениями разместился в древней болгарской столице Велико Тырново.

Подразделения, входившие в «1-й армейский корпус», заняли казармы в Свиштове, Севлиеве, Никополе, Белоградчике, Орхание (ныне Ботевград) и других городах.

Донские казаки были размещены преимущественно в Южной

Болгарии. Контингенты эти полностью сохранили военную организацию и военный уклад жизни, как в Галлиполи. Не было только оружия, если не считать имевшихся в каждом «гарнизоне» нескольких десятков тайно привезенных винтовок.

Самой характерной их чертой, поразившей все болгарское население, было то, что эти люди совершенно не думали о завтрашнем дне и не учитывали реальных условий окружавшей их жизни. Почти год после переезда в Болгарию они пребывали в состоянии полной беспечности и ничегонеделания.

При заключении соглашения с болгарским правительством о размещении галлиполийских и лемносских контингентов Врангель депонировал в Болгарском народном банке сумму, обеспечивавшую пропитание «1-го армейского корпуса» в течение одного года из расчета 10 левов[3] на одного человека в день. Каждому галлиполийцу он обеспечивал койку в казарме и пищу из солдатского котла. Думал ли он в то время о том, что будет завтра, когда иссякнут имевшиеся у него на руках «казенные» суммы, я не знаю. Но из 20 тысяч подчиненных ему офицеров и солдат, расселенных в Болгарии, об этом не думал никто.

Да и стоило ли думать? Ведь завтра «весенний поход» и «все придет в норму»… А армия при всех обстоятельствах останется армией. Ей и не полагается думать.

Обо всем этом позаботится начальство. «Кутепыч не подкачает…»

Характерная черта в жизни этих «гарнизонов» состояла в том, что офицеры, их составлявшие, относились к болгарам и ко всей Болгарии с нескрываемым высокомерием, иной раз в совершенно недопустимой форме, задевавшей национальное чувство каждого болгарина.

В каждом слове и каждом жесте этих людей в обтрепанных английских шинелях, старых солдатских френчах и изношенной обуви сквозило сознание своего превосходства над «младшими братьями», а заодно и над всем окружающим миром. От болгар они ждали восторженного преклонения перед их «доблестью» и перед ореолом русской военной славы, носителями которой они себя почитали.

Плывя на «Решид-паше» из Галлиполи в Варну, они страстно обсуждали вопрос о том, в какой форме готовится им торжественная встреча на болгарской земле и какие овации ожидают их — потомков освободителей Болгарии. Туркуловский полковой оркестр спешно разучивал болгарский гимн. Дроздовцы и алексеевцы, выстроившись на верхней палубе, репетировали предполагаемую встречу.

Но вот в туманной дали вырисовываются очертания

варненской бухты и города Варны. «Решид-паша» входит в бухту. На палубе раздаются торжественные звуки болгарского гимна «Шуми Марица окръвавена». Начальник «1-й пехотной дивизии» генерал Витковский в парадной форме выходит на палубу и расставляет чинов своего штаба и командиров полков, ожидая появления на палубе болгарских делегаций и цветочных подношений.

Но что же это такое?

Где делегации?

Где толпы народа, восторженно встречающие прибывшую в Болгарию «соль земли»?

Почему никто не бросает в воздух шапок и не машет платочками?

Быть может, «Решид-паша» по ошибке пришвартовался не в том месте, где нужно?

Нет, он стоит точно в том месте, где ему указано.

Полное разочарование! Вместо тысячных восторженно настроенных толп — на берегу полтора десятка портовых зевак и бездельников; вместо делегаций — поднимающийся на борт санитарный врач, коротко и сухо дающий распоряжения о порядке проведения карантина. Потом — многочасовое ожидание распоряжений, касающихся высадки и места ночлега. Мировое событие, каким представляли себе въезд в Болгарию дроздовцы и алексеевцы, превращается в мыльный пузырь.

Галлиполийской гордыне нанесен первый удар: никто «армию» не признает и ею не интересуется; галлиполийских химер никто не разделяет. Приехало несколько тысяч беженцев — и только. Остальное — забота портовых властей: как их наилучшим образом разместить, накормить, а попутно и оградить собственное население от возможных инфекций, привезенных этими беженцами.

Пока тысячи прибывших в Варну галлиполийцев ждут на палубе, в каютах и трюмах «Решид-паши» дальнейших распоряжений, генерал Витковский, глава прибывшего эшелона, вместе со своим штабом направляется в город. В гостинице на главном проспекте он снимает два номера — для себя и высших чинов штаба.

Чтобы подчеркнуть свое «высокое» положение, у входа в гостиницу он ставит двух часовых и вывешивает трехцветный царский флаг.

Не проходит и получаса, как его вызывают к коменданту города и требуют немедленно убрать и часовых, и флаг.

В тот же вечер прибывшие в Варну дроздовцы и алексеевцы узнают от чинов штаба подробности состоявшегося в комендатуре

разговора. На предъявленное ему требование генерал Витковский заявил в самой резкой форме протест, указав своему собеседнику, что Болгария, освобожденная от турецкого ига в 1878 году Россией, не имеет права предъявлять ультиматум начальнику «1-й пехотной дивизии русской армии».

Ему мягко, но решительно объяснили, что никакой армии за пределами Советской России не существует; что сам он никого не представляет; что Болгарию он не освобождал и рассматривается здесь как обыкновенный беженец наряду с другими такими же, как и он, беженцами, уже имеющимися на болгарской земле.

Возмущению Витковского нет границ. Назвать армию «беженцами» — это в глазах галлиполийцев высшее оскорбление! Но приходится смириться. Флаг и часовые убраны, несколько тысяч пассажиров, переполнявших «Решид-пашу», сходят на берег и размещаются в карантинных бараках.

В дальнейшем при расселении галлиполийской «армии» по местам окончательного назначения возглавляющим полки и дивизионы генералам приходится на каждом шагу убеждаться, что за пределами воздушного замка, построенного их воображением, ни один серьезный человек не считает эти выброшенные с родных просторов остатки ревнителей прошлого «русской армией».

В первую же ночь на болгарской земле из прибывших полков и дивизионов бегут десятки людей. По прибытии на места назначения — еще больше.

«1-й армейский корпус русской армии» состоял не из одних офицеров. Были в нем и солдаты, хотя и в ничтожном количестве. Идеологии офицерства царской армии они, конечно, не понимали и не могли понять: ведь по этой идеологии они — «нижние чины», и ничего более.

Еще менее они понимали, зачем Кутепов, Витковский, Туркул, Скоблин, Манштейн насильно удерживают их в рядах несуществующей армии. Они первыми покидают «1-й армейский корпус». За ними следует и незначительная часть офицеров, частично прозревших и понявших, что кутеповская игра в солдатики зашла слишком далеко и что они сделались посмешищем в глазах окружающих их людей.

Генералы рвут и мечут. Задержать «дезертиров» сами они на болгарской территории, конечно, не могут.

Они обращаются к помощи местных властей и требуют немедленного ареста «отступников». Им снова разъясняют, что созданной в их воображении «армии» на болгарской территории не существует; что каждый беженец волен избирать себе любое местожительство и заниматься любой найденной им работой; что

в факте оставления этими людьми указанного им на первое время местопребывания нет состава преступления, поэтому об аресте не может быть и речи.

Генералам не остается ничего другого, как вновь смириться и утешаться изданием приказов об исключении из списков полков и дивизионов «изменников белой идеи» и «предателей своей родины».

Приблизительно в то же время в рядах этих «полков» образовалась новая брешь: чехословацкое правительство, отчасти движимое ложно понимаемыми славянофильскими идеями, отчасти желая перекинуть мостик к «будущей России», широко распахнуло двери своих высших учебных заведений для недоучившихся у себя на родине русских студентов.

Большую роль в этом вопросе сыграла также некоторая оглядка реакционного чехословацкого правительства на Россию вполне реальную. Оно уже тогда отдавало себе отчет в том, что Советская Россия может предъявить законное требование вернуть ту часть государственного золотого запаса, которую вывезли с Дальнего Востока чехословацкие легионеры в период гражданской войны и иностранной интервенции. Оно рассчитывало, что финансовые издержки, связанные с обучением крупного контингента русских студентов, в какой-то мере позволят ему отделаться от этих возможных требований.

Недоучившимися студентами были молодые люди, мобилизованные царским правительством во время первой мировой войны и окончившие школы прапорщиков военного времени. Едва ли нужно говорить, что они с радостью откликнулись на предоставленную им возможность закончить высшее образование и с не меньшей радостью расстались с казармами «1-го армейского корпуса». Их никто не пытался удерживать.

Кутепов, понявший, что дни «1-го армейского корпуса» сочтены и что нужные ему кадры надо втискивать в какие-то новые организационные формы, уже носился в то время с идеей создания РОВСа, который должен был заменить за рубежом «армию». Его новой заботой сделалось зарубежное объединение бывших военнослужащих по территориальному принципу. Поэтому он охотно благословил студентов на их отделение от массива «1-го армейского корпуса».

Уехавшие в Чехословакию студенты образовали там «галлиполийское землячество». Вместе с другими аналогичными землячествами из других стран оно образовало Союз галлиполийцев, который через некоторое время в свою очередь вошел одной из главных составных частей во вновь

организованный РОВС.

К организации и деятельности РОВСа мне придется неоднократно возвращаться в последующих главах настоящих воспоминаний.

Последний и окончательный удар возрожденным в Галлиполи остаткам врангелевской армии был нанесен летом 1922 года.

Врангелевская казна опустела. Все средства на дальнейшее существование «армии» иссякли, пополнения не было и не могло быть. Если в долговечность Советской власти западноевропейское общественное мнение все еще не верило, то еще менее оно верило в возможность свергнуть эту власть с помощью обанкротившихся, разбитых и выброшенных за границы России белых армий.

Врангель отдал приказ, в котором оповещал «всех, всех, всех», что казна его пуста и что все чины «армии» должны отныне самостоятельно зарабатывать хлеб насущный в поте лица своего.

«Гарнизоны» растаяли.

Многотысячная масса «рыцарей белой мечты» разбрелась по Болгарии. За редчайшими исключениями, они перешли на положение чернорабочих на шахтах, рудниках, лесозаготовках, прокладках шоссе, строительных работах и на положение маляров, официантов, торговцев вразнос, сельских батраков и т. д.

В описываемые годы нельзя было себе представить ни одного болгарского города, рабочего поселка или другого более или менее крупного населенного пункта без бродящих по их улицам фигур, одетых в превратившиеся в лохмотья френчи и шинели времен деникинской авантюры. Они отгородились от окружающего их мира непроницаемой стеной, продолжали считать себя поручиками, капитанами и полковниками, свободное время проводили только в своей среде, перебирали в своих беседах все те же избитые темы, что и в Галлиполи, а беспросветную свою жизнь, разбитые надежды, бедность, горе и моральное одичание топили в крепкой ракии (самогоне) и в кислом и терпком дешевом вине. Немало предприимчивых лавочников и корчмарей нажили сотни тысяч левов на этих последних пропиваемых галлиполийцами-чернорабочими заработанных в поте лица грошах.

Но антисоветские настроения среди белоэмигрантов продолжали цвести. Краеугольным камнем их идеологии теперь была мечта о вооруженной борьбе не только с Советской властью на их родине, но и с коммунизмом вообще в мировом масштабе.

Они жадно ловили каждый слух и каждую газетную заметку о том, что где-то что-то «начинается», и мечтали: нельзя ли им

зацепиться за это «что-то» и вновь, как и прежде, выступить с оружием в руках против «мирового зла — коммунизма».

Кутепов в свою очередь не дремал. Он создал для своих бывших подчиненных «устную газету». «Газета» эта была представлена несколькими офицерами, имевшими высшее образование, которые разъезжали по местам наибольшего скопления галлиполийцев, выступали перед ними с читкой подобранных из различных источников тенденциозных корреспонденции о жизни в Советской России и приводили несомненные в глазах аудитории доказательства того, что «большевики доживают последние дни».

Аудитория верила им и прямо с собрания шла в соседнюю корчму, где, распивая графин за графином ракию, разрабатывала планы грядущего «весеннего похода».

Один раз, а именно в начале осени 1923 года, на глазах рассеянных по всей Болгарии белоэмигрантов развернулась драматическая борьба, отчасти напоминавшая ту, что происходила на их родине за несколько лет до того. Некоторые из них приняли неблаговидное участие в этой борьбе на стороне реакционных сил.

В сентябре 1923 года в Северо-Западной Болгарии и в некоторых пунктах Южной Болгарии вспыхнуло восстание против коалиционного правительства Александра Цанкова, представлявшего так называемый «Демократический сговор».

Восстание было подготовлено Болгарской коммунистической партией.

В городах Южной Болгарии оно было подавлено в один-два дня. Здесь это выступление носило характер отдельных, разрозненных вооруженных вспышек.

Значительно серьезнее для коалиционного правительства сложилась обстановка в северо-западных округах — Видинском и Вратчанском. Восставшие захватили после упорных боев некоторые города и многие села обоих округов.

Почти вся территория Вратчанского округа оказалась в руках восставших. К окружному центру с разных сторон приближались многочисленные повстанческие отряды.

Во Враце в эти дни среди правящих кругов, верхушки городской чиновной и торговой знати, полиции и значительной части интеллигенции царила полная растерянность.

Но овладеть городом Враца повстанцы не смогли. Там с помощью офицеров запаса болгарской армии были наспех созданы местные пехотные и артиллерийские подразделения, взявшие в свои руки защиту города от натиска восставших.

К этому моменту в пределы Вратчанского округа вошли

мобилизованные в Плевене правительственные вооруженные силы — пехота и артиллерия. Положение восставших сделалось трудным.

Вскоре подоспели регулярные воинские части из Софии и Шумена. В неравных боях с превосходящими силами правительства мужественно сражавшиеся повстанцы были разгромлены.

Во Вратчанском округе началось систематическое «прочесывание» всех сел. Пленных не брали. Всех заподозренных в участии в восстании или в сочувствии восставшим расстреливали на месте без суда и следствия.

Наиболее активных участников восстания вешали в центре села.

Превосходно вооруженные колонны правительственных войск в количестве нескольких сот человек в каждой быстро рассеивали повстанцев, тесня их к югославской границе. Другие вновь прибывшие части войск в свою очередь нажимали с флангов. К концу десятого дня восстание было подавлено, а наиболее активная часть восставших перешла границу и была интернирована в Югославии.

Как потом стало известно, свыше 20 тысяч мужчин, женщин, юношей было расстреляно или повешено. Жуткие картины беспощадной расправы над беззащитными людьми во многом напоминали бесчинства, творившиеся белогвардейцами Колчака, Деникина, Врангеля в годы гражданской войны на территории Советской России.

Мне уже приходилось говорить, что кроме военных контингентов, перевезенных из Галлиполи и Лемноса, в Болгарии в описываемые годы жило и работало значительное количество «гражданских беженцев». Среди них было немало представителей интеллигенции, хотя и не принимавших активного участия в белом движении, но своим весом усиливших антисоветские позиции всей эмиграции в целом. Многие из них с самого начала или в дальнейшем совершенно устранились от всякого эмигрантского политиканства. Большое число их нашло применение своим силам на болгарской государственной и общественной службе в качестве профессоров Софийского университета, агрономов, архитекторов, инженеров, врачей, музыкантов, певцов, артистов, режиссеров, чертежников, механиков и т. д.

Некоторые из них живы и до сих пор. Будучи в течение многих лет болгарскими гражданами и занимая разные посты во всех уголках своей новой родины, они включились в ее жизнь и принимают активное участие в строительстве новой Болгарии.

Несколько тысяч человек вернулись в 1955 году на родину.

V
Служба в Болгарии

Я прожил в Болгарии пять лет — с 1921 по 1926 год.

В начале 20-х годов поступление на болгарскую государственную службу для русского врача, имевшего русский диплом «лекаря с отличием», не представляло больших затруднений.

Первые восемь месяцев моего пребывания в Болгарии я занимал должность заведующего русским отделением больницы маленького города Орхание, расположенного в горной котловине в 70 километрах от Софии. Эти месяцы были временем наибольшей концентрации в Болгарии русских эмигрантов, как «гражданских беженцев», так и военных контингентов, описанных мною в предыдущих главах.

Заболеваемость среди них была ужасающая. Печальное наследие гражданской войны — сыпной, брюшной и возвратный тиф и дизентерия продолжали делать свое дело. К ним присоединилась малярия, как галлиполийская, так и свежая, местная. Койки русского отделения орханийской городской больницы никогда не пустовали.

Только к весне 1922 года благодаря несколько улучшившимся по сравнению с лагерными условиями жизни заболеваемость среди беженцев пошла на убыль. Это дало возможность мне и многим моим собратьям по профессии распроститься с русскими отделениями местных больниц и амбулаторий и перейти на болгарскую службу.

В те годы около двухсот русских врачей были направлены министерством народного здравия в сельскую местность. К этому вопросу мне придется еще вернуться при описании положения русских врачей за границей.

В дальнейшем я описываю Болгарию такой, какой она прошла перед моими глазами в те годы.

Болгария принадлежит к числу тех стран, которые усеяны десятками тысяч могил, оставшихся от 1877–1878 годов и напоминающих о тех жертвах, которые понес русский народ в борьбе за освобождение своих единокровных славянских братьев от пятивекового турецкого ига.

Болгарский народ свято чтит память русских офицеров, солдат, врачей, сестер милосердия, сложивших свои головы в этой освободительной войне. В какую местность Болгарии вы ни попали бы, вы увидите повсюду и памятники русской славы, и

одинокие могильные кресты или группы могил. Переправы через Дунай у Зимницы и Систова (Свиштова), осада Плевны, бои на Шипкинском перевале, у Софии, Старой Загоры, Ловеча, Правеца и других памятных мест — все это навеки вошло в болгарскую историю.

В последующие годы по всей болгарской земле начали вырастать памятники-музеи, памятники-храмы, обелиски, мемориальные доски, напоминающие о кровавой жатве годов болгарского освобождения.

Есть в Софии посреди одного из городских садов и «докторский» памятник. На четырех гранях его усеченной пирамиды высечены имена и фамилии русских врачей и сестер милосердия, оставивших свои кости в болгарской земле.

Но не только мемориальными памятниками характеризуются те отношения сердечности, которые существуют между обоими народами и которые пышно расцвели за последнее двадцатилетие. Ни в одной стране мира нет такого преклонения перед русской культурой, русским языком, Россией вообще, как в Болгарии.

За пять лет мне пришлось побывать в сотнях домов болгарских интеллигентов и иных лиц в столице, окружных и околийских городах, селах, станционных поселках.

Как бы ни была бедна обстановка жилища болгарского городского или сельского интеллигента, вы в каждом таком жилище непременно найдете на книжной полке наряду с Иваном Вазовым, Алеко Константиновым, Яворовым, Славейковым и другими болгарскими классиками томики Пушкина, Тургенева, Льва Толстого, Чехова в русских изданиях. Хозяин дома, видя перед собой русского, никогда не откажет себе в удовольствии перейти в разговоре с болгарского языка на русский, хотя бы его собеседник свободно говорил по-болгарски, а сам он с трудом изъяснялся по-русски.

Каждый болгарин, кто бы он ни был — горожанин или селянин, служащий или пастух, торговец или земледелец, учитель или сторож, в разговоре с вами на разные темы непременно свернет на тему о России. Он будет говорить о ней с чувством такой теплоты и любви и в таком тоне, каких вы никогда и ни при каких других обстоятельствах в его разговоре на другие темы не услышите.

Он непременно несколько раз произнесет при этом слова: «Наша велика майка[4] Русия».

В каждом болгарском селе тогда еще были живы старики, своими глазами видевшие войну 1877–1878 годов.

Не ожидая расспросов, они охотно рассказывали о ней во всех

подробностях, с чувством гордости очевидца, на долю которого выпало счастье увидеть освобождение своего народа пришедшими с севера братьями. Но болгары, глубоко преклоняясь перед Россией и русской культурой, в то же время были всегда болезненно чувствительны к малейшему проявлению пренебрежительного отношения к их собственной стране и народу со стороны кого бы то ни было.

В этом отношении, как я уже упоминал, непрошеные русские эмигранты 20-х годов, больше чем кто-либо, проявляли на каждом шагу удивительную бестактность и кололи самолюбие каждого болгарина в отдельности и всех болгар вообще. Большую и неприглядную роль сыграли в связи с этим культивировавшиеся в Российской империи идеи великодержавия и господствующего положения России среди славянских народов. Для носителей этой идеологии болгары, сербы и черногорцы были не более как «бедные родственники».

С такими чувствами явились на болгарскую землю тысячи эмигрантов, покинувших родину в самом начале 20-х годов. Подавляющее большинство их не считало нужным не только ознакомиться с болгарской культурой, но даже хотя бы немного изучить болгарский язык. О том, что болгарский народ имеет многовековую историю, эти люди не имели никакого представления. Для них эта история начиналась с того момента, когда русские войска перешли в 1877 году Дунай и начали постепенно очищать Болгарию от ее поработителей — турок. О болгарском народном эпосе, литературе, поэзии, народной песне, прикладном искусстве они в громадном большинстве не хотели ничего знать.

На какую еще там литературу и искусство способны «бедные родственники» из «Задунайской губернии»! — таков был в описываемые годы образ мыслей значительной части белоэмигрантов. За пять проведенных мною в Болгарии лет я был бесчисленное количество раз свидетелем того, с какой горечью и чувством обиды болгарин переживал это незаконное презрительное и высокомерное отношение к его народу и родной ему культуре.

Особенно непростительно это было для тех пришельцев, перед которыми Болгария широко распахнула свои двери и предоставила возможность выбора места жительства и занятия любой работой на своей территории. Нельзя забывать при этом и того обстоятельства, что в описываемые годы Болгария была побежденной страной, бедной и экономически отсталой, и что сами болгары в массе своей переживали лишения и нужду, наступившие при развязке той авантюры, в которую их вовлек

царь Фердинанд, бывший принц Кобург-Готский, немец по происхождению и русофоб, бросивший Болгарию в орбиту имперской политики Гогенцоллернов и Габсбургов.

Говоря все это, я совершенно не склонен идеализировать ни Болгарию, ни болгар, ни болгарскую жизнь. Люди всегда остаются людьми. И все же каждый русский эмигрант, проживший в Болгарии долгие годы, должен будет признать, если он хочет остаться объективным и честным, что Болгария и, пожалуй, Югославия были тогда единственными государствами во всем мире, где отношение к русским оставалось доброжелательным со стороны определенной части населения.

Как я уже упоминал, после восьмимесячного заведования русским стационаром орханийской городской больницы я поступил весною 1922 года на болгарскую так называемую окружную службу во Вратчанском округе в качестве сельского участкового врача. В течение первого года этой службы моей резиденцией было село Смоляновцы, расположенное в предгорьях северо-западных отрогов Балканского хребта; последующие три года — село Малорад, находившееся в Придунайской равнине, в 40 километрах от Дуная.

Окружная служба в Болгарии в те годы представляла собою почти точную копию земской службы в дореволюционной России. Описывать ее вряд ли представит какой-либо интерес для читателя не врача. Скажу лишь несколько слов вообще о положении сельского врача в тогдашней Болгарии.

У каждого крестьянина в отдельности и у всех крестьян каждого села, вместе взятых, наряду с общим для всех болгар «государственным» патриотизмом существует патриотизм, так сказать, «местный». Болгарский крестьянин совершенно искренне считает, что его родное село лучше и краше всех на свете. Он гордится каждым новым насаждением культуры в этом селе, будь то врачебный участок, ветеринарный пункт, почтово-телеграфное отделение, школа, читальня, постройка какого-либо нового общественно полезного здания и т. д. Все лица, принимающие участие в жизни этих учреждений, — желанные гости, двери крестьянских домов широко открыты для них. Их окружают почетом, их любят, о них заботятся, ими гордятся. Болгарский крестьянин в разговоре со случайно попавшим в его село путником не преминет козырнуть своей амбулаторией, школой, учителями, врачом, фельдшером.

В описываемые годы окружная постоянная комиссия (учреждение, соответствовавшее русской губернской земской управе дореволюционных времен), открывая врачебные участки на селе, включала в свой бюджет только содержание врача,

фельдшера и уборщика. Все остальные расходы по содержанию и функционированию его принимала на себя сельская община того села, где этот участок открывался: она отводила для амбулатории помещение, отапливала и освещала его, производила необходимый ремонт и т. д.

В большинстве случаев внешний вид этих амбулаторий был довольно убогий: обычно это была снимаемая общиной хата какого-либо зажиточного крестьянина. Оборудование ее, инструментарий и маленькая аптека были примитивны. И все же эти сельские врачебные участки сыграли в истории болгарской медицины такую же громадную роль, как и в истории русской медицины старые земские больницы и амбулатории.

Много нового для себя увидел я, попав в самую гущу болгарского крестьянства и прожив в болгарской деревне подряд четыре года.

Болгарские села тех времен, расположенные в равнинных местах, по своему внешнему виду во многом похожи на прежние наши украинские села: широкие немощеные улицы, пыльные летом и труднопроходимые из-за невылазной грязи весною и осенью. Белые глинобитные хаты, широко разбросанные вдоль улиц, крыты были не соломой, а плоскими каменными плитами имеющегося в Болгарии в изобилии серого камня; из него же были сложены изгороди. Кирпичные дома встречались редко.

В каждом селе — пять или десять двухэтажных домов сельских богатеев; церковь в византийском стиле, как правило насчитывающая несколько веков своего существования; сравнительно обширное кирпичное здание, занимаемое начальной школой, а кое-где прогимназией; такое же здание, занимаемое общинским управлением; несколько лавочек, торгующих сахаром, солью, леденцами, керосином, канатами, подковами, гвоздями и прочим товаром, необходимым для крестьянского хозяйства, и, наконец, корчмы — пять, десять и более.

Испокон веков и до последних довоенных лет корчмы были главным местом, где протекала деревенская общественная жизнь. Это были сельские клубы, без которых невозможно представить себе болгарской деревенской жизни в описываемую эпоху. Утром и днем они пустовали. С заходом солнца их заполняло почти все взрослое мужское население села. Здесь обменивались новостями, говорили об урожае и ценах на хлеб, затевались политические дискуссии. Женщины в корчму не заходили.

Все убранство корчмы состояло из скамеек, расставленных вдоль стен, и столов. Сверху свешивалась керосиновая лампа. На стенах — плакаты страховых компаний и цветные лубочные

картинки «Балканского папагала»[5].

Больше ничего. Как правило, еда не готовилась и не подавалась. Собравшиеся пили ракию и красное вино, приготовленные самим корчмарем. Но обычаи допускали присутствие односельчан, которые ничего не пили, а тем более не ели, хотя часами просиживали в корчме, участвуя в разговорах и спорах.

В довоенной сельской Болгарии корчмарь представлял собою очень внушительную величину. Не всякий мог открыть корчму. Для этого были нужны деньги и выполнение целого ряда формальностей. Корчмарями были деревенские толстосумы, вполне укладывающиеся в наше понятие кулаков. Влияние их на всю жизнь болгарского села было громадным. Они в трудную для крестьянина минуту давали ему ссуду деньгами или зерном под большие проценты; давали работу или, наоборот, отказывали в ней сельским батракам; руководили общественным мнением; оказывали сильный нажим на избирателей во время выборов для проведения в выборные учреждения нужных им людей; там, где это было им нужно, спаивали колеблющихся; были в близких связях с полицией и судебными органами.

Села горных и предгорных районов Болгарии по своему внешнему виду несколько отличались от равнинных и имели некоторые отдаленные черты сходства с кавказскими аулами. Как правило, они были значительно беднее равнинных.

Внутренний вид крестьянского жилища поражал своей бедностью. И не только у тех слоев, которые мы называем бедняками, но и у некоторой части деревенских богатеев.

Мне неоднократно приходилось слышать, что это было следствием исторических условий, в которых жил в предыдущие столетия болгарский народ, и особенно в пору пятивекового рабства под пятою турецких султанов. Турецкие сборщики дани и податей с болгарского населения устанавливали их произвольно, руководствуясь при обложении оценкой внешнего вида жилища и внутреннего его убранства. Отсюда вынужденное прибеднение и умышленно создаваемое убожество обстановки.

Со двора вы попадали в полутемное помещение. У одной из стен — очаг: каменные плиты на полу, на них тлеющий кизяк или хворост, котел с варевом на уходящей кверху цепи, закрепленной на идущем поперек чугунном шесте, дыра в потолке над очагом для выхода дыма.

Отсюда вы проходите в единственную жилую комнату.

Пол — земляной. Столов и стульев не было. Вместо первых — круглая деревянная подставка на ножках 15–20-сантиметровой высоты, вместо вторых — маленькие самодельные деревянные

треножники такой же высоты. Деревянные кровати были редкостью, металлических совсем не было. Вся семья спала вповалку и не раздеваясь на нарах, покрытых самотканной чергой (половик). Укрывались другим половиком. Белья, одеял я подушек не было. Вместо последних — маленькие, набитые соломой взглавницы. В углу — иконы-олеографии.

Еда не сложная. Хлеба на дрожжах не пекли. Вместо хлеба — большая лепешка, которую готовили на углях очага, на противне, прикрытом сверху жестяной крышкой, или кукурузное тесто, которое варили в котле; когда оно остывало, его резали ножом. Из перца же готовилась особая толчонка. Без перца вообще нет ни одного блюда.

Это подлинно национальная болгарская еда. К четырем вкусовым понятиям — кисло, солоно, сладко, горько — болгарский язык для обозначения ощущения, получаемого во рту от перца, присоединяет пятое: люто. От болгарского кушанья у каждого неболгарина с первым же глотком поднимается во рту такое жжение, что кусок или содержимое ложки застревает в горле, а из глаз катятся слезы.

Другое национальное кушанье — знаменитое кислое молоко (кисело млеко), без которого невозможно представить себе болгарский стол ни в городе, ни в деревне, ни у бедняка, ни у богатея. В ежедневном пожизненном употреблении этого молока ученые в течение долгого времени видели одну из причин болгарского долголетия.

Глубоких стариков в Болгарии действительно много.

Поражает в них то, что в подавляющем большинстве они сохраняют до 80–85-летнего возраста физическую и умственную бодрость; они подвижны, физически сильны, занимаются земледелием и домашними делами.

Животных белков, кроме кислого молока и овечьего сыра (сирене), в пище болгарского крестьянина почти совершенно не было. Яйца — редкость. Мясо обычно появлялось на столе только три раза в год: на рождество, когда в каждом доме кололи свинью, после чего ели свинину утром, днем и вечером 7–10 дней подряд; в день святого Георгия (7 мая), считающегося покровителем земледелия, когда в каждом доме закалывали молодого барашка; во время сентябрьских деревенских ярмарок (панаири). В прочее время года потребность организма в белковой пище покрывалась за счет растительного белка в виде фасоли. Фасоль можно было бы условно назвать третьим болгарским национальным кушаньем.

Положение болгарской крестьянки, такое, каким оно было на протяжении веков и каким я его видел в описываемые годы, было

очень тяжелым. Как и в большинстве стран Ближнего и Среднего Востока, вся тяжесть полевых работ лежала не на мужчине, а на женщине. Она с восходом солнца уходила в поле, брала с собой грудного ребенка и без устали работала до вечера вместе с мужчинами, с заходом солнца возвращалась в село, и, в то время как мужчины гурьбою шли в корчму, она шла за водой, готовила ужин, стирала белье, укладывала детей спать.

Непосильная для женщины тяжелая физическая работа и недостаточное питание способствовали тому, что болгарская крестьянка уже к 30 годам внешне выглядела как старуха.

То, что удельный вес труда женщины в хозяйстве был чрезвычайно велик, вело к своеобразной особенности крестьянского быта, а именно: каждая семья старалась задержать до пределов возможного пребывание «в девках» своих взрослых дочерей и, наоборот, женить как можно раньше своих сыновей, чтобы ввести в дом новую работницу. Поэтому в крестьянских браках, как правило, жена была старше своего мужа на два-три года. Браки эти принадлежали к числу так называемых «ранних»: очень часто жениху еще не было требуемых законом 18 лет.

В этом случае, чтобы женить его, требовалось разрешение митрополита и справка от врача. И то и другое получить было нетрудно.

Крестьянская свадьба представляла собою весьма колоритную картину. Она имела форму, освященную традициями вековой давности.

Сватовство в болгарской деревне ничем не отличалось от сватовства в старой русской деревне: вопросы брака решали не брачующиеся, а их родители, и притом решали их с узкой точки зрения хозяйственных интересов обоих домов. Свадьба праздновалась пышно. Брак заключался в церкви. По вековому обычаю, обряд венчания «веселый»: все присутствующие на нем; включая и священника, должны ежеминутно искусственно фыркать от смеха, иначе, по поверью, молодожены не будут счастливы в брачной жизни. Обрядовые возгласы священника прерывались веселыми выкриками присутствующих: — А бе свърши по-скоро, попе, че ракията ни чака![6]

Из церкви молодоженов везли по всем улицам села в телеге, запряженной парой коней или буйволов, разукрашенных лентами. За ней — вереница телег с родителями, родственниками и гостями. Там, где не было лошадей и волов, свадебный кортеж передвигался пешком. Молодая жена со спускающимся на затылок и шею головным платочком — отличие замужней женщины от незамужней — поминутно целовала руку у всех встречных односельчан, одинаково у мужчин и женщин. Гостям

раздавали платочки, цветные тряпочки, самодельные вязаные варежки и носки.

Свадебный пир продолжался три дня. К описанным мною несложным блюдам прибавлялся запеченный ягненок, курица с рисом, слоеный пирог с овечьим сыром. На дворе все присутствующие, взявшись за руки и образуя круг, плясали хоро — болгарский национальный танец наподобие нашего хоровода. Оркестр несложный: две-три самодельные дудки и барабан, иногда флейта, или кларнет, или корнет-а-пистон.

А потом наступали безотрадные будни. В семье молодая женщина прежде всего работница, нечто вроде рабочей лошади. Бить ее, правда, нельзя. Если муж ударял жену хоть раз, она сейчас же уходила от него к своим родителям. Ее принимали там с распростертыми объятиями: ведь у них она тоже желанная работница, облегчающая труд в поле. Одновременно она подавала на своего мужа в суд. Надо сказать, что случаи побоев, наносимых мужем жене, были величайшей редкостью.

С первых же месяцев, проведенных в болгарской деревне, мне бросилось в глаза полное отсутствие хулиганства. За пять лет я не видел ни одного случая, который можно было бы хотя бы с натяжкой уложить в рамки этого порока. Не было хулиганства и в городах. Быть может, только в болгарской столице встречались изредка исключения из этого правила. Наряду с этим и в деревнях, и в городах я никогда не слышал сквернословия. Что касается безделья, то и этот порок мне не встречался. Болгарин отличается особенным трудолюбием.

Наряду с полным отсутствием в болгарской деревне хулиганства, воровства и грабежей одной из привлекательных сторон ее жизни, произведшей на меня сильное впечатление, было отсутствие пьянства. Там пили красное или, реже, белое натуральное виноградное вино и ракию — и то и другое в более чем умеренных количествах.

Ни в деревне, ни в городе никогда не увидишь не только валяющихся на земле, напившихся до бесчувствия людей, но даже и людей шатающихся, сквернословящих, горланящих на всю улицу. Если болгарин подвыпил, он делается только очень веселым и словоохотливым. Дальше этого дело у него не идет.

И только в крупных городах — Софии, Пловдиве, Варне, Рущуке — в болгарскую жизнь начинали вклиниваться проникшие из так называемой «культурной» Европы пороки, присущие жизни больших европейских городов. Описывать их нет нужды; они общеизвестны.

Как известно, деревня во всех странах мира есть главная сокровищница всех видов самобытного народного творчества,

передаваемых из поколения в поколение. Касается это преданий, сказок, сказаний, былин, народных песен, плясок, красочной народной одежды и предметов так называемого кустарного искусства.

Национальная одежда изумительна по своей красоте.

Если вам, читатель, случится быть в Софии, загляните в Национальный музей, где выставлена коллекция народной одежды, собранной из всех округов Болгарии. Если же обстоятельства позволят вам совершить путешествие по болгарской периферии, то эта одежда произведет на вас еще более сильное впечатление, чем в музее: вы увидите ее на фоне дивной балканской природы — гор, предгорий, горных котловин, долин и лугов.

Мужчины носили и зимою, и летом шапки из бараньей шерсти, отдаленно напоминающие наши папахи. Белые рубахи с едва намеченным узором заправлялись в суконные шаровары грандиозных размеров. Поверх рубахи — незастегивающаяся суконная безрукавка, иногда с узором (эта часть одежды общая для крестьян всего Балканского полуострова и отчасти стран Центральной Европы).

На ногах и зимою, и летом — самодельные носки из грубой шерсти или суконные онучи и некоторое подобие самодельных кожаных сандалий (царвули), по форме имеющих отдаленное сходство с лаптями.

Замужние женщины носили на голове косынку. У девушек косынок нет. У тех и других — медные серьги в ушах и ожерелье из медных монет и жетонов. Поверх белой рубахи — сукман (подобие сарафана), из сукна, обычно синего цвета, — передник с вытканным по краям цветистым узором, иногда бархатный. На ногах — самодельные цветные шерстяные чулки (и зимою, и летом) и царвули.

В праздничные дни вся нарядно разодетая сельская и городская Болгария выходила за околицу и до наступления темноты плясала хоро — танец, в разных вариантах тоже общий для всех славянских народов. Это — круг людей, держащих друг друга за руки, слегка качающих ими в такт музыке и выделывающих ногами то простые, то замысловатые «па».

Хоро имеет многовековую давность. Без него нельзя себе представить в Болгарии ни одного воскресенья и праздника, ни одной ярмарки, свадьбы, вечеринки, бала.

Его танцуют зимою и летом, богатые и бедные, молодые и старые, мужчины и женщины, юноши и девушки, подростки и дети.

На каждого впервые прибывшего в Болгарию хоро производит

неизгладимое впечатление. На фоне молчаливых далеких или близких гор, на зеленом лугу или в горной котловине эти празднично разодетые в народную одежду селяне и горожане, пляшущие под аккомпанемент нескольких дудок и свирелей, производят впечатление действующих лиц какой-то идиллии. Если прибавить к этому, что за весь день вы не услышите в кругу этих людей и стоящей рядом толпы таких же разодетых селян и горожан ни одного скверного слова, ни одной перебранки и не увидите ни одной ссоры или драки, то вся вышеописанная картина и впрямь окажется идиллией.

Характерной чертой болгарской деревенской жизни были местные ярмарки, так называемые панаири. Они устраивались почти во всех сколько-нибудь крупных селах в конце лета по окончании полевых работ. О дате открытия таких панаири население оповещалось особым глашатаем — барабанщиком, который после захода солнца обходил улицы, бил в свой барабан и громогласно объявлял все новости. Хотя от гоголевских времен описываемые мною годы были отделены почти сотней лет, эти панаири как две капли воды походили на «Сорочинскую ярмарку».

Я описал болгарскую деревню такой, какой я ее видел в первой половине 20-х годов. Вступившая после войны на путь прогресса новая Болгария изменила свой лик.

Многое, описанное мною, кануло в вечность, Изменился внешний вид сел и городов, изменились люди, нравы, обычаи. Кое-где перемены коснулись и природы.

Чудесна природа Балканских гор! Это первозданная красота, большей частью еще не тронутая рукою человека. Снежные вершины гор, предгорья с тропинками вместо дорог. Журчание родников с чистой как кристалл студеной водой. Сосны и ели, дуб и орешник. Луга, покрытые весною ковром цветов. Окаймленные цепью далеких гор котловины. Туманные дали придунайской равнины.

Красота, могущая исцелить самую глубокую подавленность самого мрачного человека.

В небольших городках вроде Орхание, которых в Болгарии великое множество, в описываемые времена не было никаких промышленных предприятий, даже самых малых. Население их состояло из людей, существовавших торговлей с деревней, кустарей, ремесленников и служащих немногочисленных учреждений.

В моей памяти Орхание осталось тихим, мирным и сонным городком. Такими же были и промелькнувшие перед моими глазами Михайловград (называвшийся тогда городом

Фердинандом, а еще ранее — Кутловицей), Оряхово, Бела-Слатина, Берковица.

Значительно более оживленными были окружные города. Крупной прослойкой в их населении были служащие многочисленных окружных учреждений и значительное число торговцев и торговых служащих. Кое-где существовали мелкие фабрики и заводы. Во внешнем облике этих городов — некоторые следы так называемой городской цивилизации: каменные двух-, трех- и четырехэтажные дома, электрическое освещение, мощеные улицы, железнодорожный вокзал, гостиницы, пароконные экипажи, вытесненные в последующие годы импортными автомобилями, большое оживление на улицах.

Таков был мой окружной город Враца, приблизительно такими же были другие окружные города, в которых мне приходилось бывать: Плевен (Плевна), Шумен (Шумла — ныне Коларовград), Русе (Рущук), Варна, древняя болгарская столица Велико Тырново.

На второй год моего пребывания в Болгарии в связи с поступлением на болгарскую службу я, покинув Орхание и переселившись в деревню, в значительной мере утерял контакт с эмигрантской массой.

Эмигранты в деревне были представлены в те годы одиночными, случайными элементами: это был какой-нибудь кубанский казак, женившийся на дочери корчмаря, или бывший корниловский офицер, торговавший бузою (квасом) собственного изготовления, или бывший юнкер, батрачивший у деревенского богатея, или бродячие торговцы иконами-олеографиями.

Три раза в неделю почтальон приносил мне берлинский «Руль» и софийскую «Русь». Мне еще придется вернуться к эмигрантской периодической печати в целом.

Сейчас упомяну только о том, что обе эти газеты изо дня в день и из номера в номер твердили все об одном и том же — о скором и неминуемом падении Советской власти, притом каждая из них на свой лад: «Руль» талдычил что-то о грядущей буржуазно-демократической республике, «Русь» — о «законном царе из дома Романовых…».

Каждому жителю столицы и больших городов хорошо знакомо чувство неописуемой радости и душевного подъема, которые он испытывает, попадая в родную ему городскую стихию после длительного пребывания в деревне, акклиматизироваться в которой ему трудно, чтобы не сказать невозможно. Поэтому на протяжении четырех проведенных мною на селе лет я, с детских лет столичный житель, все свои отпуска проводил в Софии. Как и всем врачам, мне полагалось в году тридцать отпускных дней.

В Софию я ездил три раза в год, каждый раз на десять дней. И каждый раз за этот короткий срок я попадал из мира болгарского в мир русский. В те годы существовала своеобразная «русская София», как впоследствии существовал «русский Париж», первая, конечно, в неизмеримо меньшем масштабе, чем второй.

В центре города на Московской улице находилась амбулатория так называемого «Российского общества Красного Креста старой организации» с двумя десятками врачей и консультантов. Несколько поодаль, на улице Искъръ, — русский краснокрестовский хирургический госпиталь. Полтора десятка университетских кафедр занимали русские профессора. Художественным руководителем национального оперного театра и создателем первого болгарского симфонического оркестра был бывший балетный дирижер московского Большого театра Ю. Н. Померанцев; главным режиссером того же театра — бывший артист Московского Художественного театра Массалитинов. Оперный хор состоял наполовину из русских. «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и «Царская невеста» шли на русском языке. На стройках — русские архитекторы и бригадиры, на технических предприятиях — русские инженеры. Организатором софийской пожарной команды был некто Захарчук, одна из самых популярных фигур в городе.

Но, как правило, болгарского общества они сторонились и болгарской культурой не интересовались. Крепко верили они лишь в одно, а именно что все это временно и что за «софийским» периодом их жизни возобновятся прерванные «московский», «петербургский», «киевский», «харьковский», «ростовский» или иные периоды.

Материальное положение русских врачей в Болгарии было в описываемые годы очень хорошим. Моральная атмосфера — еще лучше. И «левое» правительство Стамболийского и правое правительство Цанкова одинаково высоко оценивали участие русских врачей в деле охраны здоровья болгарского народа.

Гинеколог профессор Рейн создал из софийского Майчина дома[7] образцовое акушерско-гинекологическое учреждение современного типа. Одесский психиатр профессор Попов реорганизовал постановку психиатрической помощи в столице. Участник Балканской войны 1912 года петербургский хирург В. М. Тылинский впервые организовал в болгарской провинции квалифицированную хирургическую помощь. К нему в Михайловград стекались на операции больные из всей Северо-Западной Болгарии.

В Софии было популярным имя главного врача русского краснокрестовского госпиталя хирурга Р. Ю. Берзина, к которому

больные приезжали со всех концов Болгарии.

В Варне славился гинеколог Смоленский, в Борисовграде — хирург Павлов-Сильванский.

Население окружило русских врачей заботой, любовью и вниманием. Но путь русского врача в Болгарии все же не был усыпан розами. Были и шипы.

Я не буду касаться здесь вопросов, связанных с самой сущностью врачебной профессии, это вывело бы меня за пределы темы настоящих воспоминаний. Упомяну лишь об одном шипе, самом главном, который стоял на пути всех без исключения русских врачей, живших и работавших в Болгарии в описываемые годы, и который каждый из них ощущал ежедневно и ежечасно. Это борьба, явная и скрытая, которую вели болгарские врачи против своих русских коллег.

Читателю, конечно, непонятно, чем эта борьба была вызвана и в чем она выражалась. Я расскажу об этом в той главе настоящих воспоминаний, в которой буду описывать положение русских врачей — эмигрантов зарубежных стран. Здесь же только напомню, что в описываемые годы в противоположность послевоенной эпохе мораль и нравы капиталистического мира царили и среди болгарских врачей.

Четырехлетняя сельская врачебная служба в Болгарии прибавила к моему тогда еще совсем небольшому профессиональному опыту очень многое. Нигде врач не встречается с таким многообразием человеческих недугов, как на селе. Но для молодого врача есть в сельской работе и отрицательная сторона: отсутствие руководства и советов старших товарищей. Вот почему в 1926 году я принял решение оставить эту службу и переехать в Париж — один из крупнейших медицинских центров мира, открывший с давних пор двери своих клиник и больниц врачам всех стран, ищущим научного и практического совершенствования.

Я хорошо знал, что тот же самый Париж наглухо закрыл для тех же врачей все пути легальной врачебной работы как источника существования. Но к тому времени в недрах существующего много веков Парижа французского сам собою образовался никем ранее не предусмотренный «русский Париж», который давал русским врачам какую-то возможность существования.

В течение последующих 13 лет мое клиническое и научное совершенствование протекало в парижских университетских клиниках и городских больницах, а практическая деятельность в течение 21 года — в поликлиниках, амбулаториях и стационарах «русского Парижа».

Прожитые в «русском Париже» годы доставили меня лицом к лицу с русской послереволюционной эмиграцией. Я очутился в самой гуще населения «столицы» несуществующего на карте эмигрантского «государства», наблюдал ее повседневную жизнь, радости и огорчения, надежды и разочарования, неистовства и исступления, старение, одряхление и вымирание…

Об этом я расскажу в последующих главах.

В один из июньских вечеров 1926 года я простился с болгарской землей, о которой навсегда сохранил самые теплые воспоминания.

Дунайский пароход увозил меня в Вену. Оттуда поезд — в Швейцарию и Францию.

6 июня 1926 года я прибыл в Париж, в котором прожил безвыездно 21 год.

VI
Лицом к Европе

В 1923–1927 годах происходило массовое переселение русских эмигрантов во Францию из стран Балканского полуострова и Германии и в несколько меньшей степени — из Прибалтийских стран, Чехословакии, Польши и Румынии. Именно в эти годы окончательно определилась «география» эмиграции и образовался своеобразный центр ее — как часто в те времена называли столицу несуществующего на карте эмигрантского государства.

Это переселение не было случайным. В основе его лежали те самые движущие силы, которые управляли и управляют капиталистическим миром, то есть в конечном счете интересы социальной верхушки капиталистического общества.

Чтобы пояснить вышесказанное, надо начать издалека.

Франция понесла в первую мировую войну тяжелые потери в людях и вышла из нее в значительной степени обескровленной. Естественно, что эти потери задели почти исключительно мужскую половину населения, и притом больше всего цветущий возраст. К этому надо прибавить еще и то обстоятельство, что в течение десятилетий смертность во Франции превышала рождаемость.

Прогрессивное уменьшение народонаселения было для Франции одной из самых жгучих проблем государственного масштаба во все годы после первой мировой войны.

Волновала она и политиков, и социологов, и экономистов, и медиков. Немало тревог причиняла она по понятным причинам и верхушке промышленного мира, которому в этих условиях пришлось призадуматься над вопросом о создании резервов рабочей силы. Наконец, экономическая конъюнктура, сложившаяся во Франции в начале 20-х годов, немало способствовала тому, что импорт этой силы сделался для крупной промышленности насущной необходимостью.

Курс франка неуклонно падал и к середине 20-х годов достиг одной пятой своей довоенной стоимости, выраженной в золоте. Падение курса франка по отношению к фунту стерлингов, доллару, гульдену, шведской кроне и другим «крепким» валютам и связанная с этим дешевизна французских товаров для иностранных покупателей повели к тому, что количество заказов на эти товары стало быстро расти.

Французские газеты заговорили об «эпохе процветания».

Правильнее было бы назвать этот зигзаг капиталистической экономики не процветанием, а мыльным пузырем, которому рано или поздно уготована естественная судьба: он лопается при всех обстоятельствах. Лопнула в конце концов и разрекламированная «эпоха процветания». Об этом я расскажу в одной из последующих глав.

Но так или иначе, в середине 20-х годов французские промышленники ликовали и подсчитывали барыши от полученных заказов. Единственное, в чем они испытывали нужду, — это в дешевой рабочей силе. Найти эту силу было нетрудно.

За все время моего пребывания в чужих краях ни в одной из стран капиталистического мира за пределами обескровленной Франции не было недостатка в безработных. Острота этого вопроса для каждой страны определялась лишь количеством их. Если, например, в Англии число безработных на 50 миллионов населения не превышало 1 миллиона, то такое положение признавалось до некоторой степени «терпимым», во всяком случае не выходящим за пределы понятия хронической болезни. Об «обострении болезни» начинали говорить в том случае, если это число переваливало за 1,5–2 миллиона. Если же оно подходило к 3 миллионам и выше, то английская общественность начинала бить в набат.

Еще в худшем положении были ближайшие соседи по Средиземноморскому бассейну — Италия и Испания. Население этих стран в противоположность Франции быстро увеличивалось. Обе они принадлежали к числу государств со слаборазвитым сельским хозяйством и недостаточно развитой промышленностью, не способными прокормить свое быстро растущее население. Обе они были с давних пор поставщиками людской массы для пароходных компаний, занимавшихся перевозкой переселенцев через океан в относительно мало населенные государства Латинской Америки.

В Центральной и Восточной Европе в те времена сложились в свою очередь очаги постоянной безработицы.

Это территориально маленькая Чехословакия со значительной плотностью населения и Польша с населением 30 миллионов человек, слаборазвитым сельским хозяйством и маломощной промышленностью.

Если не считать Англии, которая не давала на континент ни одного своего безработного, то остальные четыре вышеуказанных страны, а также французские колонии Северной Африки и стали тем резервуаром, откуда французская промышленность черпала в течение 20 лет между двумя мировыми войнами необходимую ей

дешевую рабочую силу.

За время пребывания во Франции мне неоднократно приходилось видеть в газетах официальные сводки численности иностранцев, осевших в этой стране. Читая их, я поражался тому, что каждый десятый житель Франции — иностранец.

На первом месте неизменно шли итальянцы: число их всегда держалось около 1 миллиона. Они представляли интерес не только для промышленности.

Как я указывал выше, Франция после первой мировой войны была кровно заинтересована в увеличении своего населения. С этой точки зрения итальянские переселенцы, покинувшие свою родину из-за нищеты, безработицы и голода, представляли особенно благодарный «материал».

Принадлежа в подавляющем большинстве к мужскому полу и к возрасту 20–35 лет, они, кроме того, были идеальным с точки зрения интересов правящей верхушки пополнением того пушечного мяса, которого так не хватало Франции для ведения ее империалистической политики. Попав во Францию главным образом как строительные рабочие или в качестве батраков на частновладельческих фермах, они быстро ассимилировались, женились на француженках, получали после пятилетнего пребывания в стране французское подданство и заполняли собою ту брешь в мужской половине населения, о которой говорилось выше.

Но с точки зрения интересов господствующих классов Франции в этом притоке рабочей силы из Италии был один существенный минус: не все эти переселенцы покинуло свою страну только из-за безработицы и нищеты.

Среди них было немало эмигрантов политических, бежавших от гнета фашистского режима, установившегося в Италии в начале 20-х годов. Французская разведка зорко следила за этим не вполне благонадежным, с ее точки зрения, элементом итальянской эмиграции, который в случае решительной схватки труда и капитала в самой Франции мог бы сыграть не последнюю роль.

От бунтарского духа не было свободно и другое слагаемое импортируемой рабочей силы, а именно испанские рабочие, которых в описываемые годы было около полумиллиона. Они расселялись в качестве чернорабочих и батраков преимущественно в южных и юго-западных районах страны. Среди них тоже было немалое число людей, бежавших от политического гнета королевской Испании, а также достаточное количество анархистского элемента, всегда служившего пугалом для капиталиста и для мещанина.

По этой причине при решении вопроса о ввозе рабочей силы из-за границы взоры промышленников обратились в Центральную и Восточную Европу, в страны послевоенных союзников Франции — Чехословакию и Польшу. Политический фон этого «импорта» был несколько иным.

Главным контингентом его были забитые, запуганные, приниженные польские и словацкие крестьяне, задыхавшиеся в тисках нищеты и голода у себя на родине и видевшие единственный выход из этого положения только в переселении в чужие края. Политическая активность этой массы, попавшей в чужую для нее страну и в обстановку чуждого ей быта, без знания языка, естественно, была ничтожной. «Покорная славянская рабочая сила», как выразился во французском парламенте один из депутатов, вполне устраивала французских работодателей.

Количество осевших во Франции рабочих-поляков доходило до 800 тысяч человек. Это были по преимуществу шахтеры на севере страны. Часто случалось, что природный француз, попав в один из шахтерских поселков, широко раскрывал от изумления глаза, слыша вокруг себя только польскую речь и видя вывески только на польском языке. Немалое количество поляков было также рассеяно в других департаментах в качестве чернорабочих и батраков.

Однако, сколь бы тихо ни вела себя эта «покорная славянская рабочая сила», правящая верхушка отлично понимала, что классового сознания у нее не вытравишь никакими посулами, задабриваниями, а тем более угрозами и репрессиями. При изменившихся обстоятельствах в случае «последнего и решительного боя» и эта «покорная сила» могла оказаться по ту сторону баррикад, плечом к плечу с основной массой пролетариата.

В этих условиях крупные французские промышленники не могли, конечно, не заметить, что после разгрома белых армий на политическом горизонте Европы появилась некая новая «туманность», отлично устраивавшая их в вопросе об импорте столь нужной им рабочей силы.

«Туманность» эта — русская белая эмиграция, за которой французская разведка вела зоркое наблюдение с момента появления этой эмиграции на чужих берегах.

К 1923–1924 годам подавляющее большинство офицеров и солдат разгромленных армий Деникина, Врангеля, Юденича, Миллера, Колчака, Каппеля и других незадачливых авантюристских «вождей» перешло на положение чернорабочих и осело преимущественно на Балканах, в Польше, Германии, Эстонии, Финляндии, Румынии и на Дальнем Востоке.

Заняв последнюю, низшую ступень в многоступенчатой лестнице капиталистического общества, эти люди, принадлежавшие у себя на родине к привилегированным слоям, перейдя теперь фактически по роду своей работы на положение пролетариев, сохранили тем не менее в полной мере свою прежнюю психологию, не впитав в себя ни одной капли классовой пролетарской психологии. Они создали в своем воображении воздушный замок «будущей, освобожденной от большевиков России», где, по их мнению, им уже было заранее уготовано подобающее их происхождению, званию, чинам и образованию положение. Они считали свое падение до низшей ступени лестницы обстоятельством хотя и мучительно болезненным, но во всяком случае временным. Они отгородились от окружавшего их ненавистного им пролетарского мира непроницаемой психологической стеной.

Вся их духовная жизнь протекала в своей собственной среде — той среде, в которой люди с полуслова понимали друг друга, мыслили одними и теми же мыслями, оперировали одними и теми же понятиями, признавали общие для них авторитеты и исповедовали один и тот же «символ веры». Этот «символ веры» составлял фундамент того воздушного замка, в котором белая русская эмиграция прожила 20 с лишним лет вплоть до второй мировой войны и в котором последние ее остатки, не протрезвившиеся даже в результате грозных событий 1941–1945 годов, пребывает и посейчас.

Вот вкратце основные положения этого «символа веры»: «Большевизм — мировое зло. Большевики погубили Россию. Но большевизм — явление временное и рано или поздно будет свергнут. Нам, белым эмигрантам, будет принадлежать ведущая роль в деле построения будущей России. Мы еще себя покажем! Мы перевешаем всех большевиков, а заодно с ними и тех, кто расчистил им путь к власти: слюнявых интеллигентов, социалистов, эсеров, кадетов и других врагов России и русского народа!» Как видит читатель, этот «символ веры» очень несложен, и если и подлежит какому-либо анализу, то, пожалуй, только психиатрическому. Но он-то и составил основу мышления русского белого эмигранта — пролетария по видимости и классового врага пролетариата по существу.

Этому белому эмигранту в рабочем комбинезоне, шоферской шинели, холщовом пиджаке официанта или ливрее швейцара были ненавистны такие понятия, как «пролетариат», «классовая борьба», «прибавочная стоимость», «забастовка», «баррикады» и т. д. Он хорошо знал свое место на случай «последнего и решительного боя». И не только знал, но и на деле показал, где

это место находится: во время подавления коммунистического восстания в Болгарии в 1923 году; в годы гражданской войны в Испании, когда запись добровольцев в армию фашистских мятежников приняла среди врангелевцев массовый характер; при формировании «охранного корпуса» в Югославии, уничтожавшего в годы последней войны югославских партизан; наконец, в грозные годы вражеского нашествия на советскую землю, когда некоторые (хотя и немногие) бывшие врангелевские офицеры добровольно надели на себя германскую военную форму и вместе с гитлеровским вермахтом и эсэсовцами пошли выкорчевывать с этой земли «мировое зло — большевизм».

Однако было бы ошибкой думать, что подобный образ мышления был присущ всей послереволюционной русской эмиграции в целом. Уже в первые годы после ее зарождения некоторое количество белых эмигрантов стало постепенно отходить от позиций непризнания Советской власти, а тем более продолжения борьбы с этой властью. Нельзя забывать, что среди эмигрантов, вернувшихся на родину в 20-х годах, были писатели Алексей Толстой и Скиталец, поэт Агнивцев, генерал Слащев и многие другие. В дальнейшем расслоение эмиграции продолжало углубляться, хотя этот процесс на всем протяжении 20-х и 30-х годов протекал крайне медленно. И лишь гроза 1941–1945 годов, пронесшаяся над нашей Родиной, перевернула вверх дном все «символы веры» и все традиционные эмигрантские установки.

К этому вопросу мне придется неоднократно возвращаться на страницах настоящих воспоминаний. Но как бы то ни было, описанный выше «символ веры» был главенствующим в эпоху массового переселения эмигрантов во Францию из других стран.

Психология белой эмиграции, в частности бывшего военного ее сектора, четко обозначилась в первые же годы после постигшей белые армии катастрофы.

Нужно ли говорить, что крупные промышленники ухватились с благословения французской разведки за мысль использовать в качестве рабочей силы на заводах, фабриках, шахтах и рудниках этот вполне благонадежный, с их точки зрения, элемент. И не только благонадежный, но и заранее великолепно организованный на случай наступления каких-либо чрезвычайных обстоятельств внутриполитического характера.

Французский промышленник мыслил в этом вопросе приблизительно так: «Белые армии больше не существуют. Они и не нужны, если оружие выбито из рук».

Последние их остатки в Болгарии, Югославии и Польше распущены. Но военная организация этих контингентов остается. Пусть нет белых армий, зато зарождается и появляется на

эмигрантском горизонте РОВС, объединяющий на принципах добровольности всех бывших военнослужащих Российской империи, а затем белых армий. Нет белых корпусов и дивизий, но есть заменяющие эти корпуса пять отделов РОВСа, дислоцированных во многих странах. Нет белых воинских гарнизонов, но есть «группы» в городах и поселках. Нет командиров и начальников частей, но есть старшие «групп», никогда не выбираемые (боже упаси!), а только назначаемые свыше. Есть списки наличного состава «групп», есть дисциплина, есть Привычные формы обращения друг с другом и с начальниками. Нет только оружия. Дайте его завтра этим «группам», и они действительно себя «покажут».

При таком рассуждении едва ли можно было отказаться от мысли иметь на фабриках и заводах, шахтах и рудниках этот весьма «полезный» элемент, который в случае чего можно будет противопоставить тем беспокойным и «бунтарским» силам, которые нарушают покой и сон капиталиста и мещанина.

Один французский сахарозаводчик в беседе со мною сказал: — Русские белые эмигранты на наших заводах — это дар божий, упавший к нам с небес…

Кстати, ни обхаживать, ни задабривать их не нужно.

И никаких поблажек давать тоже не нужно: во-первых, это всего-навсего беспаспортные иностранцы, а во-вторых, ведь этот «дар божий» ненавидит лютой ненавистью не только коммунистов, но и социалистов. Но с социалистами крупному капиталу ссориться никак нельзя: они — люди полезные и услужливые. Когда политический маятник резко качнется влево, они тотчас же шарахаются вправо.

Это совсем неплохо. Зачем же в таком случае их раздражать и оказывать какое-то особое покровительство белым русским, которых они, социалисты, очень и очень недолюбливают?

А если настанут чрезвычайные обстоятельства и дело по-настоящему запахнет «последним и решительным боем», тогда эти самые белые и без всякого покровительства найдут свое место в бою. Дай им только оружие!

Но кстати, этих «чрезвычайных обстоятельств» пока, слава богу, нет. На политической кухне никакими боями не пахнет. Можно спать спокойно. А русские белые эмигранты в политическом «хозяйстве» всегда пригодятся.

Так был решен в начале 20-х годов за кулисами французской политики вопрос о массовом въезде во Францию белых офицеров.

Надо сказать, что просачивание в эту страну русских эмигрантов началось значительно раньше. Но оно происходило в индивидуальном порядке при наличии уважительных причин для

въезда: родственных связей, дореволюционных имущественных и служебных отношений, желания совершенствоваться в науках и искусстве, получения высшего образования и т. д.

Немалое количество эмигрантов переехало во Францию из Германии после того, как испуганное эмигрантское воображение усмотрело там «призрак надвигающейся красной опасности» в виде катастрофического падения курса марки, уличных демонстраций, отдельных неорганизованных вооруженных выступлений и т. д.

«Бежать куда угодно, хоть на край света, лишь бы не видеть во второй раз ужасов революции…» — вот психология русского эмигранта, укладывающего в Берлине свои чемоданы для отъезда туда, где никакие революции, по его мнению, «просто немыслимы».

В противоположность этой неорганизованной миграции массовое переселение во Францию бывших врангелевских офицеров и солдат велось в середине 20-х годов по детально разработанному плану.

В Софию и Белград присылались заявки на определенное количество рабочих из русских эмигрантов. Эти заявки исходили от частновладельческих промышленных предприятий и визировались французским министерством иностранных дел. Каждому желающему переселиться во Францию предлагалось подписать контракт на шесть месяцев с обязательством работать в течение этого срока на данном предприятии. По окончании срока контракта завербованному рабочему предоставлялось право остаться во Франции на постоянное жительство. Далее он мог продолжать работать на том же предприятии, если там работа была, или самостоятельно искать ее себе в любом пункте страны.

Летом 1926 года в Софии мне пришлось увидеть проводы очередной группы таких завербованных рабочих из бывших врангелевских офицеров.

Во дворе особняка, занимавшегося отделом РОВСа в Болгарии, собралось человек 40–50. Все они были одеты бедно и неряшливо: кто в залатанных рубахах, кто в старых поношенных френчах, куртках, пиджаках, кто в обтрепанных английских солдатских шинелях времен деникинской авантюры. Это были бывшие белые офицеры, а после роспуска врангелевской армии — чернорабочие, шахтеры, грузчики, официанты, шоферы и т. д.

Я стоял поодаль и наблюдал за происходящим. Дверь особняка отворилась. Из нее вышел начальник отдела РОВСа в Болгарии генерал Витковский, бывший начальник Дроздовской дивизии в деникинские времена, а впоследствии председатель Общества галлиполийцев и глава РОВСа, сменивший на этом

посту генерала Миллера.

Раздалась команда: — Равнение направо! Господа офицеры!

Старший группы подошел к генералу с рапортом.

«Офицеры» замерли по команде «смирно». Генерал обратился к отъезжавшим с речью.

О чем он говорил?

О том, во что верила в те годы, за редким исключением, вся эмиграция и что составляло основу построенного ею воздушного замка. Вот вкратце содержание его речи: «Пребывание большевиков у власти затянулось, но гибель их предрешена. Они падут, скоро падут. Перед вами, доблестными офицерами русской армии, откроется блестящее будущее. Вы будете создателями армии будущей России. Сейчас вы унижены. Ваше офицерское достоинство оскорблено. Но все это временно, только временно. Мир начинает понимать, что большевизм — мировое зло. Нам помогут. Нас вооружат. Мы дождемся этого момента. В схватке с большевизмом окончательная победа останется за нами. Надеюсь, господа офицеры, что при следующей нашей встрече я увижу вас уже в форме, с погонами и при оружии. А сейчас — счастливого пути!» Я наблюдал за лицами стоявших в позе «смирно» офицеров-чернорабочих, слушавших эту чепуху. На них застыло выражение благоговения и сознания торжественности момента. Ведь говорило «начальство», и притом очень высокого ранга. А кому же, как не начальству, знать ближайшие судьбы «армии» и сроки грядущего «весеннего похода»!

Описанная сцена происходила шесть лет спустя после окончательного разгрома врангелевской армии.

Шли годы. Вокруг уцелевших остатков этой армии, рассеянных сначала на Балканах, а в дальнейшем во Франции, Бельгии, Чехословакии, Германии, шла и кипела жизнь — реальная жизнь с ее радостями и горестями, успехами и неуспехами, прогрессом и застоем. Но эти уцелевшие остатки не хотели замечать ее, отгородившись от нее каменной стеной. Они создали в своем воображении иллюзорный мир — мир «будущей России», мечтая и гадая о сроках, когда эта «будущая Россия» станет «Россией настоящего». Все остальное было для них только долгим, тяжелым и кошмарным сном, который вот-вот должен кончиться.

И в эту массу не приспособленных к жизни, обезволенных и придавленных людей с опустошенной душой «командование», добровольно ими признаваемое, лило два десятка лет подряд яд антисоветской пропаганды, прикрывая своим авторитетом самые дикие политические бредни. Говорились речи на торжественных собраниях, банкетах, встречах и проводах; писались приказы по

РОВСу и его отделам. «Доблестных офицеров» подталкивали на усмирение «мятежей» и на помощь испанским фашистам; на участие в финской войне против СССР и на вступление в жандармские войска гитлеровской армии — «охранный корпус» в Югославии; наконец, их благословляли на «включение в священную борьбу против мирового зла — большевизма» под гитлеровскими знаменами и в форме гитлеровского вермахта.

Ну, а каковы же были, спросит читатель, чувства этих переселенцев к странам их теперешнего и будущего местопребывания — Болгарии и Франции?

Тут читатель столкнется с фактом, мало ему понятным.

Как общее правило, белые русские эмигранты во все годы своего пребывания за рубежом относились резко отрицательно к стране, в которой жили. Это отрицательное отношение имело очень обширный диапазон, начиная от простого ворчания и кончая бешеной злобой ко всему, что носило на себе печать данной страны и данного народа.

Этот факт общеизвестен за рубежом. Я, на протяжении 27 лет живший в самой гуще эмиграции, имел возможность бесчисленное количество раз лично в этом убедиться.

Повсюду, где бы эмигранты ни оседали на постоянное жительство, они, как правило, замыкались в своем узком кругу, чуждаясь коренного населения и не смешиваясь с ним. Французские газеты, засылавшие время от времени своих репортеров в гущу «русского Парижа», неизменно приходили к одному и тому же выводу: «Русские абсолютно не поддаются никакой ассимиляции и никакому „офранцуживанию“. Они живут замкнутым кланом. Значительная их часть, прожив долгие годы во Франции, даже не говорит по-французски и с трудом понимает французскую речь…» Само собой разумеется, что это касалось только первого поколения эмигрантов. С молодежью, родившейся во Франции от родителей-эмигрантов или приехавшей с ними в детском возрасте, дело обстояло, конечно, иначе, о чем мне придется говорить несколько ниже.

Но откуда же все-таки бралось у них повальное недовольство страною постоянного жительства, переходящее во враждебность и злобу?

Причину этого явления нужно искать в том, что в подавляющем большинстве белые эмигранты, очутившись за рубежом, как я уже неоднократно отмечал, заняли самую низшую ступень многоступенчатой лестницы капиталистического общества.

Читателю, родившемуся и воспитанному в советском обществе, довольно трудно представить себе эту лестницу.

А между тем она не фантазия, не миф и не политический плакат, а нечто вполне реальное.

Ни талант, ни ум, ни образование, ни воспитание не определяют порядкового номера ступени, на которой очутится человек, попав в любое государство капиталистического мира. Его положение в этом классовом обществе, разделенном непроницаемыми перегородками, определяют исключительно материальные ценности, которыми он располагает: деньги, банковский текущий счет, рента, драгоценности, недвижимость, дорогая квартирная обстановка, торговый фонд, пай в акционерном обществе или какая-либо редкая специальность, нужная в данный момент социальной верхушке данного государства. Если ничего этого у него нет, то он ни при каких обстоятельствах не сможет занять какую-либо другую ступень, кроме самой низшей.

И ему не помогут ссылки на то, что все это у него когда-то было. Никого не интересует то, что было. Принимается во внимание только то, что есть. Это — неумолимый закон жизни капиталистического общества. Он-то и определяет судьбу человека и его положение в этом обществе.

Именно это и случилось с белой эмиграцией.

Лишь единицы из ее состава имели за границей к моменту революции какие-либо материальные ценности, давшие им возможность независимого сносного существования. Вся остальная масса явилась на берега Балканского полуострова, в Германию, Францию, Чехословакию и другие страны в том виде, который четко и лаконично обрисован в латинском изречении: «Omnia mea mecum porto» («Все, что у меня есть, я ношу с собою»).

С первого же дня пребывания за рубежом перед новоявленными эмигрантами встали вполне реальные вопросы: что делать дальше? Как существовать? Где, как и чем зарабатывать себе хлеб насущный?

Капитализм ответов на эти вопросы не дает. Делай что хочешь! Существуй как знаешь! Зарабатывай как можешь!

Дальше произошло то, что должно было произойти: вчерашние адвокаты стали ночными сторожами, архитекторы — шоферами, инженеры — грузчиками, фрейлины ее величества — официантками, начальники департаментов — швейцарами, полковники, капитаны, поручики — шахтерами, грузчиками, дворниками, жокеями, лакеями, уборщиками.

Интеллектуальный труд разделяет в капиталистических странах судьбу труда физического: предложение этого труда всегда превышало и превышает спрос. Отсюда безработица и в

этом секторе.

Лишь очень немногим эмигрантам удалось как-то зацепиться за окружающую их жизнь и устроиться на работу по своей специальности. Вся остальная масса расположилась на последней ступени лестницы и так и не смогла сойти с нее в течение всех последующих лет.

Очутившись в «стане погибающих», эти люди, познавшие когда-то сладость жизни «стана ликующих», почувствовали себя униженными и оскорбленными до крайнего предела. Они затаили в себе глухую злобу. Но злоба эта потекла совсем не по тому руслу, по которому она, следуя законам логики, должна была бы течь. В описываемую пору ни один русский белый эмигрант не отдавал себе отчета в том, что судьба и положение в обществе его самого и его сотоварищей есть не более как частный случай общей судьбы всех эксплуатируемых. Его злоба против эксплуататоров, на которых ему, попав за границу, пришлось работать, была бы вполне понятна и закономерна.

Он же обрушил ее целиком на всю страну, в которой теперь работал, и на народ, среди которого он жил, считая их виновниками своего падения.

А между тем ни страна, ни народ были тут ни при чем. В частности, как мне уже приходилось отмечать в предыдущей главе, общая конъюнктура, сложившаяся в Болгарии в описываемые годы, была очень благоприятной для эмигрантов.

Болгария (так же как и Югославия) согласилась принять в 1921 году несколько десятков тысяч человек — бывших военнослужащих врангелевской армии, донских казаков и «гражданских беженцев». Я уже говорил, что при этом решении играли роль не только политические соображения, но и глубоко вкоренившиеся в сознание каждого болгарина идеи славянофильства и чувство глубокой признательности России и русскому народу за освобождение в 1878 году от пятивекового турецкого владычества.

Попав в Болгарию, бывшие обитатели галлиполийского, лемносского и константинопольского лагерей в подавляющем большинстве очутились на тяжелых, изнурительных и скудноoплачиваемых работах у частных предпринимателей. И вот свою затаенную злобу и неприязнь к тем, на кого они вынуждены были трудиться, белоэмигранты перенесли на всю Болгарию в целом, на весь болгарский народ, на его культуру, искусство, быт и нравы.

За пять лет, проведенных мною в Болгарии, близко соприкасаясь с тысячами белых эмигрантов, я не запомнил ни одного случая, чтобы кто-нибудь из них заинтересовался

болгарской историей и культурой, познакомился с богатой болгарской литературой и поэзией, изучил болгарское народное искусство и, наконец, хотя бы свободно говорил по-болгарски.

Русские эмигранты неизменно говорили в своей среде о Болгарии и болгарах в пренебрежительно-высокомерном тоне. Считая себя прямыми потомками того поколения, которое вступило в 1877 году на болгарскую землю в качестве освободителей, они претендовали на то, чтобы победоносные лавры их предков были целиком перенесены на них самих. Они недоумевали и негодовали, когда увидели, что болгарский народ отнюдь не склонен считать обоснованными эти странные претензии.

После этого читатель поймет, что, когда в 1923 году для белых эмигрантов, осевших в Болгарии, открылась возможность переезда во Францию, тысячи их ухватились за нее с восторгом. Был провозглашен новый лозунг: «Лицом к Европе!» А о том, что во Франции их ждут еще более тяжелые и изнурительные работы и что выход из создавшегося положения заключается не в том, чтобы переезжать из страны в страну, а в чем-то совсем другом, никто из них в описываемые годы не думал. «Ведь все это временно.

Завтра — „весенний поход“, большевики будут свергнуты и мы с триумфом вернемся в Россию…» Итак, началось массовое переселение эмигрантов с Балкан во Францию. Оно продолжалось до конца 20-х годов, то есть до того момента, когда разразился очередной экономический кризис во всех странах капиталистического мира. Заказы, сыпавшиеся на французскую промышленность из-за границы как из рога изобилия, кончились.

Часть фабрик и заводов закрылась. Торговые предприятия лопались одно за другим. Приток туристов, давший Франции в 1926 году 2 миллиарда долларов, прекратился. Русских эмигрантов, работавших на заводах, — шахтах и других частных предприятиях, выкинули за борт первыми.

Но все же за 1923–1927 годы во Францию переехало с Балкан несколько десятков тысяч эмигрантов.

Лозунг «Лицом к Европе!» временно давал им надежду и иллюзию некоторого приобщения к «настоящей европейской жизни» вместо «прозябания в какой-то деревне», как они часто называли страны Балканского полуострова. Но чувства их к Франции были довольно смутными и во всяком случае далекими от восторга.

Психологический «климат» во Франции для русских эмигрантов был совершенно иной, не имевший ничего общего с тем отношением, какое они встретили в 1921 году в Болгарии.

На этом «климате» стоит остановиться подробнее. Начинать опять приходится издалека.

Первую мировую войну русское интеллигентное общество, за исключением истинно революционной его части, относившейся к войне непримиримо, встретило с сознанием каких-то сверхвысоких и благородных целей, какие эта война якобы преследовала. Тут были и самые теплые чувства к обиженной Австрией «младшей славянской сестре» — Сербии, и освобождение из-под ига габсбургской монархии западных и южных славян, и религиозный фанатизм под лозунгом «Крест на святую Софию!», и политический лозунг «Константинополь и проливы!».

Сверх всего этого ненависть к прусской военщине, преклонение перед страданиями раздавленной Бельгии, восхищение так называемыми «демократическими свободами» союзных парламентарных государств и многое другое.

Словом, кажется, было все, кроме самого главного — понимания настоящих причин, вызвавших эту бессмысленную бойню, обошедшуюся Европе в 10 миллионов человеческих жизней.

Истинной физиономии империализма никто, кроме просвещенных в вопросах социологии одиночек, разглядеть не смог. На западноевропейских союзников это общество смотрело с благоговением и восторгом. Отношение его к ним было проникнуто духом рыцарской верности. В своем маниловском прекраснодушии оно верило во взаимность этих чувств.

Но это длилось недолго.

В 1916–1918 годах я в качестве младшего врача одного из пехотных полков русской армии, занимавшего участок фронта в лесах и болотах Полесья, был свидетелем того, как в этом созданном фантазией здании рыцарского служения союзникам появились глубокие трещины.

Фронтовое офицерство, как и все русское интеллигентное общество, не могло не видеть, что, в то время как русские армии, плохо вооруженные и истекающие кровью, устилали своими трупами грандиозные пространства в ходе военных операций, предпринятых с целью облегчения положения западных союзников, эти союзники, развернувшие к 1916 году всю свою военно-техническую мощь, не спешили облегчить положение своего великого союзника на Востоке, когда ему приходилось туго.

На Востоке: сводки о грандиозных наступательных операциях, о взятых городах, о занятых обширных территориях или же, наоборот, об отступлении истекающих кровью, почти

безоружных армий и об оставленных городах, уездах, губерниях.

На Западе: «Нами взят домик паромщика…» или: «Нами оставлен домик паромщика…» Шила в мешке не утаишь. Нельзя было утаить и того, что русское интеллигентное общество раньше не знало психологии правящих классов и военного командования западных партнеров по союзу, именовавшемуся Entente cordiale (Сердечное согласие).

А психология эта в данном вопросе была необыкновенно проста: «Воевать до последней капли крови… русского солдата!» Свои же союзнические обязательства выполнять весьма своеобразным способом: продавать этому союзнику пушки, пулеметы и винтовки, в которых он так нуждается; взимать за них плату золотом; извлечь прибылей от этой продажи не 20 и не 30 процентов, как в мирное время, а 100, 200 и более.

Не правда ли, неплохо?

Вот почему к концу первой мировой войны определенная часть русской общественности говорила об Англии, Франции, Бельгии, Италии и США тоном нескрываемого раздражения и злой иронии: — Не союзники, а «союзнички»!..

С этим раздражением и неприязнью и вступило во Францию после первой мировой войны большинство русских эмигрантов. Последующие годы еще более усугубили эти чувства. По каким причинам — об этом будет сказано в одной из последующих глав.

VII
Политическая деятельность эмиграции

К середине 20-х годов «русский Париж» как политический центр русской послереволюционной эмиграции полностью сформировался. Но прежде чем говорить о политической деятельности этой эмиграции, необходимо сказать несколько слов о том, что следует понимать под термином «русская эмиграция», так как в этом понятии, казалось бы простом, допускались и допускаются некоторые неточности.

Первая неточность заключается в том, что вся проживавшая за рубежом масса русских отождествляется с «эмиграцией» в узком смысле слова. В понятие «эмигранты» нельзя, например, включать русских — постоянных жителей государств и областей, отколовшихся от Российской империи после революции. Далее, нельзя назвать эмигрантами русских военнопленных 1914–1917 годов, а также офицеров и солдат бригад, посланных царским правительством в 1915 году на помощь Франции и по каким-либо причинам застрявших за границей (за исключением тех, кто не пожелал вернуться на родину из политических соображений). Не принадлежат к эмигрантам и те лица, которые выехали за границу до революции по делам личным, семейным, торговым, имущественным и т. д. и которые застряли там в силу тех же обстоятельств.

Вторая неточность заключается в том, что понятие «эмигранты» часто отождествляется с понятием «политические», то есть антисоветские эмигранты. Между тем среди всей многотысячной массы эмиграции в целом очень значительное число эмигрантов полностью отмежевалось от всякой эмигрантской «политики» антисоветского стиля и не принимало никакого участия в том бесновании и в той толчее воды в ступе, которые столь характерны для так называемой «активной» части эмиграции.

Эти люди мечтали лишь о том, чтобы рано или поздно соединиться с родиной, притом с родиной вполне реальной, а не той фантастической «будущей Россией», которую создало воображение «активной» эмиграции.

Временно же, находясь за рубежом, они стремились лишь к тому, чтобы честным трудом добыть себе средства к существованию. Увы! Капиталистическая система отказывает в этом праве миллионам людей, и среди этих миллионов людей из «стана погибающих» оказались вкрапленными и многие десятки

тысяч русских эмигрантов.

Читатель вправе задать вопрос: а из кого же состояла так называемая «активная» часть эмиграции?

В иностранных кругах, а отчасти и среди отдельных советских людей в довоенные годы имел хождение миф, будто вся эта эмиграция вообще состояла из «князей, графов, сановников, банкиров и помещиков». Едва ли нужно говорить, что подобные представления — совершенный примитивизм. Все перечисленные лица не составляли и одного процента эмиграции.

Но с другой стороны, нельзя отрицать и того факта, что численное соотношение представителей различных классов и социальных прослоек было в эмиграции не таким, каким оно было в дореволюционной России. Процент рабочих, крестьян и мелких ремесленников среди эмигрантов был совершенно ничтожен. Основная масса «активной» эмиграции состояла из белых офицеров, недоучившихся студентов, мелких и средних чиновников, старых царских офицеров, дворян, торговцев, мелких промышленников и некоторого количества лиц интеллигентных профессий.

Верхушка «активной» части эмиграции была представлена в послереволюционные годы обанкротившимися лидерами бывших политических партий; бывшими редакторами газет; бывшими полководцами, растерявшими свои армии и своих подчиненных; бывшими промышленниками, фабрикантами и финансистами, лишенными фабрик, торговых предприятий и банков; бывшими сановными вельможами, мечтавшими о возрождении самодержавного царского строя. Далее шли всякие претенденты на царский престол — «фюреры», «вожди» и «вождики» всех калибров, всякого рода «главы» новых партий и группировок, выскочки, ловкачи, политические шарлатаны, авантюристы, невропаты и психопаты, новоявленные истерические «орлеанские девы» и просто пройдохи и чуть ли не уголовные преступники. Все они шумели, кричали, бранились, умоляли, обещали, угрожали…

Довольно трудно полностью перечислить все нюансы антисоветской политической мысли, царившей в 1917–1941 годах в эмиграции. Невозможно также перечислить все партии, союзы, общества, группировки и другие эмигрантские организации, исчислявшиеся сотнями. Многие из них внезапно появлялись на эмигрантской политической арене и столь же внезапно таяли и исчезали. Другие обнаруживали необыкновенную живучесть, несмотря на давно поблекшие лозунги и покрывшееся плесенью и пылью содержание. Одни — вроде пресловутого РОВСа — насчитывали в своих рядах десятки тысяч членов, в других их

числилось каких-нибудь три-четыре десятка, вроде, например, анекдотического Общества ревнителей памяти государя императора Николая II или какого-нибудь Общества бывших воспитанников пензенской гимназии.

В оценке русской послереволюционной эмиграции часто делают еще одну существенную ошибку, а именно считают, что эмиграция представляла собою сплоченную монолитную массу. Это — величайшее заблуждение.

Общего в «активной» эмиграции было только одно: ее антисоветское настроение. В остальном эта расплывчатая, аморфная масса потерявших прежнее положение, озлобленных, с надломленной волей и уязвленным самолюбием людей была полна внутренних противоречий и раздиралась постоянной междоусобной борьбой, переходившей в бешеную грызню. Взаимная грызня представляла собою характернейшую черту ее жизни. Время от времени иностранцы, входившие по какому-либо поводу в контакт с эмигрантской массой, задавали эмигрантам вопрос: — С кем же, собственно говоря, вы ведете борьбу — с Советской властью или друг с другом?

Несмотря на обилие нюансов эмигрантской политической мысли, всю «активную» часть эмиграции можно было бы условно разбить на две основные составные части: правый сектор и «левый» сектор.

Трудно передать ту бешеную ненависть, которую питали люди этих двух категорий по отношению друг к другу, и те взаимные проклятия, которыми они осыпали друг друга.

Вот, схематично, образ мыслей правых: «Это вы, проклятые и слюнявые российские интеллигенты, устроили нам „все это“! Это вы десятками лет просвещали народ, натравливали его на законного царя, расчистили путь революции и подготовили торжество хама! Вы погибли сами — и это очень хорошо, вы этого заслужили.

Но вы погубили всю Россию. Этого вам русский народ не простит и никогда не забудет…» Кто, когда и при каких обстоятельствах дал им право говорить от имени русского народа, правые, конечно, не уточняли.

«Слева» в ответ им неслось: «Это ваша вина, тупоголовые бюрократы и царские дармоеды! Если бы вы вовремя послушались нас и осторожно спускали бы Россию „на тормозах“, то никакой революции не было бы!

Вы погибли — это отлично, лучшего и желать нельзя.

Но вы погубили Россию и русский народ! История назовет вас истинными виновниками „всего этого“».

За исключением крайних монархических группировок, правая

половина эмиграции включала в себя все те элементы, которые в построении своего воздушного замка «будущей России» не заостряли вопроса о форме правления и о той власти, которая «придет на смену большевикам». Люди эти желали только одного: падения Советской власти, а что будет дальше — задумывались не слишком много. Они были реставраторами, но реставрировать собирались только капиталистический строй, вне которого они не мыслили себе «будущей России».

Старые кадровые офицеры царской армии, дворяне и представители чиновного мира, конечно, больше тяготели к монархии, которая обеспечивала им привилегированное положение в обществе. Офицерам военного времени, составлявшим ядро РОВСа, и части сильно поправевшей за годы революции и гражданской войны интеллигенции, наоборот, больше импонировала фигура некоронованного «вождя», который, по их мнению, чаяниям и вожделениям, рано или поздно въедет на белом коне в Москву, воздвигнет тысячи виселиц и перевешает всех, кого они считают «врагами народа». После этого начнется построение «будущей России» и сами собою потекут молочные реки в кисельных берегах.

Этот правый сектор эмиграции ненавидел самой лютой ненавистью всех тех, кто «расчистил путь большевизму» и кто, будучи в эмиграции, не был склонен верить ни в «законного царя» ни в «вождя на белом коне».

Все, что не умещалось в эту веру, почиталось ими керенщиной. Имя Керенского они не могли произносить без скрежета зубовного. В газетах, брошюрах, листовках, мемуарах осыпали его ругательствами и проклятиями. С их точки зрения, именно Керенский и все «слюнявые интеллигенты» виновны «во всем». Под этим «во всем» они подразумевали Октябрьскую революцию и утерю ими своего привилегированного положения.

Победу Октябрьской революции они объясняли тем, что у Временного правительства в те дни не хватило нескольких батальонов и батарей. А не хватило их потому, что «Керенский прошляпил». Располагай он этими батальонами и батареями, никакой революции и не было бы. Просто и ясно.

Эта часть эмиграции читала преимущественно ежедневную газету «Возрождение», выходившую в Париже и издававшуюся миллионером-нефтяником Гукасяном (или, как его чаще звали, Гукасовым). Газета была выразительницей так называемого «умеренного» течения правого сектора. Редактором ее был в первые годы П. Б. Струве, бывший «легальный марксист», опрометью убежавший задолго до гражданской войны с позиций всякого марксизма, хотя бы и легального. Через несколько лет,

после конфликта с Гукасовым, он был уволен этим полновластным хозяином газеты с должности редактора. Его сменил некий Семенов, оставшийся редактором вплоть до прекращения ее существования в 1940 году.

Газета «Возрождение» была довольно живучей. Просуществовала она 15 или 16 лет и имела большой круг постоянных читателей, главным образом среди правого сектора. Монархической пропаганды в прямом смысле она не вела, хотя о павшем строе говорила в почтительном тоне. Издателю и окружавшей его группе бывших крупных промышленников и финансистов было совершенно безразлично, какой образ правления будет в «будущей России» — монархический или республиканский.

Важно было лишь одно: смести с лица земли ненавистный им социалистический строй и вновь занять в «будущей России», реставрированной на капиталистический лад, утраченное ими положение.

Изо дня в день на протяжении 15 лет со страниц газеты сыпались обещания скорого падения Советской власти. Делались ставки то на «крестьянское восстание», то на ближайший «переворот», который завтра совершит Красная Армия, то на неминуемый финансовый и экономический крах, который вот-вот произойдет в СССР, то на вмешательство «международных сил» и на возможность войны, которая положит конец «затянувшемуся пребыванию большевиков у власти».

Ученые-экономисты с цифрами в руках доказывали, что пятилетка провалилась. Военные специалисты приводили «точные» данные, что Красная Армия не в состоянии вести никакой войны и способна лишь на парады да на разные показные трюки. Политические мудрецы каркали, что после смерти Ленина высший партийный аппарат неуклонно идет к развалу. Одним словом, прочитав любой номер «Возрождения», эмигрант-читатель вполне закономерно мог начать укладывать свои чемоданы и готовиться к возвращению в «освобожденную от большевиков Россию».

Но не только с большевиками вело борьбу «Возрождение». Бешеная ненависть к «слюнявым интеллигентам, расчистившим путь большевизму», сквозила в каждой строчке этой газеты. Я не помню ни одного номера «Возрождения», в котором не было бы злобной ругани по адресу выразительницы общественного мнения «левых» эмигрантов — милюковской газеты «Последние новости» или по адресу Керенского и керенщины.

Значительно малочисленнее были своеобразные монархические группировки крайнего правого фланга.

Когда в начале 20-х годов находившийся тогда в Италии и вскоре переехавший во Францию бывший верховный главнокомандующий русскими армиями в 1914–1915 годах великий князь Николай Николаевич возглавил в эмиграции «священную борьбу против большевизма», правый сектор эмиграции увидел в нем будущего «законного царя из дома Романовых», которому надлежало въехать на белом коне в Москву после «падения большевиков».

Однако превосходительные и сиятельные знатоки «основных законов Российской империи» из числа санкт-петербургской и царскосельской сановной знати быстро разобрались в вопросе о претендентах на престол государства Российского и заявили во всеуслышание, что считать «законным царем» великого князя Николая Николаевича никак невозможно, ибо права на оный престол, бесспорно, принадлежат двоюродному брату последнего царя великому князю Кириллу Владимировичу, и никому больше.

Николаевцы не сдались. Бывший «верховный» пользовался среди бывших военнослужащих несомненным авторитетом. Им импонировал этот властный, жестокий, с железной волей человек, солдат до мозга костей, гроза всего генералитета и офицерства войск гвардии и Петербургского военного округа еще до первой мировой войны.

В их воображении это была самая подходящая фигура для въезда в Москву на белом коне и для коронования в Успенском соборе.

Но кирилловцы тоже не уступили. Законы остаются законами. Никаких импровизаций в таком «важном» вопросе не полагается. И пока николаевцы в ожидании будущего коронования величали своего вождя «высочеством», кирилловцы успели посадить на трон новоявленного «помазанника божия» и объявить его «величеством» и «императором всероссийским».

Итак, на эмигрантском горизонте появился «император». Империи, правда, не было, но верноподданные имелись налицо. Они были представлены почти исключительно верхушкой павшего строя, то есть дворянской, чиновной и титулованной знатью.

Около «императора» выросла, как полагается, «собственная его величества канцелярия», во главе которой был поставлен некий капитан 2-го ранга Графф.

На долю некоторых «избранных» посыпались «монаршие милости». Началась раздача титулов и наград. Одной из первых удостоилась этой «чести» жена англо-голландского нефтяника-миллиардера госпожа Детердинг, русская по происхождению: она получила из рук «императора» звание «княгини Донской».

Как, в самом деле, не присвоить ей столь высокое звание? Ведь не воздухом же должны питаться «собственная его величества канцелярия» и весь громоздкий аппарат «власти», выросший вокруг «законного царя», да и сам «царь». А тут — соблазнительный запах нефти…

И ласкающий слух звон желтого металла — долларов, фунтов стерлингов, гульденов. Никогда не мешает стать поближе к источнику этих благ. Ведь когда пробьет час выступления в «крестовый поход против большевизма», «крепкая» валюта очень и очень понадобится!

Но заниматься только раздачей титулов — маловато.

У «царя» есть дела не менее важные: нужно вплотную подойти к вопросу о построении «будущей России» под скипетром «законного царя из дома Романовых». В первую очередь необходимо обеспечить ее министрами и губернаторами.

Да не подумает читатель, что я перехожу к пересказу анекдотов. Это — страничка подлинной и вполне реальной эмигрантской политической жизни, до слез смешная по форме и бесконечно убогая по существу. В описываемые годы часто можно было встретить на парижских улицах или в вагонах метро эти музейные фигуры российских сановных старцев, горячо дискутирующих между собой по поводу «назначения» кого-либо из них на пост костромского губернатора или самарского вице-губернатора.

Значительно хуже обстояло дело у «законного царя» с армией. Ядром, из которого по эмигрантским чаяниям должна быть развернута армия «будущей России», был и оставался РОВС. А РОВС совсем из был склонен признавать Кирилла законным царем.

При жизни великого князя Николая он крепко держался за последнего как за «вождя». После его смерти «верховная власть» перешла к председателю РОВСа генералу Кутепову, которого бывший «верховный» назначил своим преемником. От «законного царя» РОВС всегда держался на почтительном расстоянии.

Но «законный царь из дома Романовых» в уныние не впал. Он столь же рьяно принялся за составление списков полководцев несуществующей армии, как до этого — за списки губернаторов.

Незадолго до войны великий князь Кирилл умер. На «престол» вступил его сын Владимир. Свистопляска с назначениями несколько поутихла, но полностью не прекратилась. Ряды «верноподданных» значительно поредели за естественной смертью лиц, их составлявших. Пополнения не было. Но оставшиеся в живых кирилловцы столь же ретиво, как и в предыдущие годы, служили панихиды по «в бозе почивающем

государе императоре Кирилле» и молебны о здравии «благочестивейшего, самодержавнейшего государя императора Владимира». Вся их духовная жизнь протекала в фантастическом мире «будущей России», где им предстояло играть, по их мнению, только главные роли.

Не менее забавной политической группировкой 30-х и 40-х годов была разновидность кирилловцев — младороссы. Состояла она из совсем молодых или относительно молодых кирилловцев, заявивших в один прекрасный день во всеуслышание следующее: «Царь из дома Романовых — это, конечно, очень хорошо. Только подобная идеология все же устарела. Спасение России не в одном царе.

Нужно еще одно слагаемое — народ. И не просто народ, а советы. Да, да, советы при царе! Ведь были же земские соборы в допетровской Руси! Почему бы не быть теперь советам? Итак, да здравствуют царь и советы!» Рождение этой новой группировки, обособившейся в отдельную младоросскую партию, произвело целую бурю в эмигрантском стакане воды.

Правый сектор эмиграции вопил: «Позвольте, господа!

Да что же это такое? Выходит, что и в эмиграцию уже успела проникнуть большевистская зараза! Не угодно ли: советы? Но ведь это же форменный большевизм! До чего мы дожили!» «Левый» сектор был в свою очередь скандализован не менее правого, хотя в несколько ином направлении: «Черт знает что такое! Ну, народоправство — это очень хорошо и вполне понятно. Но ведь они докатились до советов! И при чем тогда царь? Получается сплошной ералаш и какой-то противоестественный симбиоз махрового монархизма с большевизмом».

Младороссы со своей стороны шумели: «Старая эмиграция сгнила. Мы, младороссы, — соль земли. Завтра в России будет переворот. Русский народ позовет нас. Старой эмигрантской рухляди там делать нечего. Строить Россию будем мы. Мы будем помощниками законного царя из дома Романовых. Рядом с царем будут выборные советы. Царь и советы спасут Россию!» Следует отметить, что в политическом профиле младороссов при всем его сумбурном характере проглядывали кое-какие черты, которые указывали на то, что в противоположность всем остальным эмигрантским партиям и группировкам младороссы до известной степени считались с происходящими в Советской России социальными сдвигами. Мне неоднократно приходилось слышать от отдельных младороссов, с которыми я сталкивался в моей врачебной деятельности, что руководство их партии вменяло в обязанность всем своим членам систематически изучать советские газеты и журналы (проникавшие тогда во Францию с

большим трудом) и читать советскую художественную литературу, что в те времена среди так называемой «эмигрантской общественности» считалось крамолой и признаком «подлинной большевистской заразы». В последние предвоенные годы многие младороссы вступили в Дом оборонца — организацию, объединившую эмигрантов, стоявших на позиции безоговорочной защиты Советского Союза в случае нападения на него извне.

Но как ни шумели кирилловцы, удельный вес их на эмигрантской политической кухне был все же очень незначительный. Николаевцы забивали их своею численностью.

Рождение этой «николаевской массы» в эмиграции относится к началу 20-х годов. Жадно ловившая каждую политическую фигуру, из какого бы болота она ни появилась, эмигрантская политическая мысль остановилась на великом князе Николае Николаевиче как на «вожде», как только он очутился вблизи от «русского Парижа».

В воздушном замке, созданном эмигрантским воображением, как я уже упоминал, главная роль всегда отводилась некоему «вождю», который объединит правый сектор эмиграции и создаст армию из бывших военнослужащих разбитых армий Деникина, Врангеля, Колчака, Каппеля, Миллера, Юденича. Деникин, Врангель, Миллер и Юденич еще были живы, но авторитет их среди белого офицерства был сильно подмочен, а царские кадровые офицеры его вообще никогда не признавали. На роль «вождя» никто из них уже явно не годился.

Наоборот, большинство эмигрантов правого сектора считало, что именно великий князь Николай сумеет в силу своего прошлого положения объединить «правоверную» эмиграцию; он создаст «освободительную» армию из белых офицеров, заручится материальной поддержкой Антанты и двинется в «крестовый поход против большевизма». Весть о переезде великого князя Николая из Италии во Францию была воспринята ими как начало противобольшевистской «акции». Когда же газеты сообщили, что по распоряжению премьер-министра Франции Пуанкаре на пограничной станции для встречи бывшего русского верховного главнокомандующего был выстроен почетный караул, то восторгу этих «правоверных» эмигрантов не было границ.

На Балканах, в Прибалтийских странах, во Франции, на Дальнем Востоке, в Америке «правоверные» при встрече друг с другом шептались: «Вы слышали? Франция официально признала его высочество вождем… Итак, началось… Завтра — в поход! Большевики доживают последние месяцы. Говорят, что для высадки десанта уже все готово… Говорят…» И дальше шло

безудержное словесное нагромождение столь же диких и абсурдных, сколь и смехотворных фантазий, составлявших в течение четверти века суть символа веры правых эмигрантов.

Итак, будущий «вождь» прибыл во Францию. Поселился он в одном часе езды от Парижа в купленной им усадьбе Шуаньи — одной из многих тысяч старинных дворянских усадеб, в большинстве своем возникших еще в XVIII веке и разбросанных по всей Франции.

Но ликование правого сектора эмиграции по этому поводу было недолговечным. На очередных парламентских выборах во Франции победили радикалы и радикал-социалисты. Звезда Пуанкаре закатилась. Повеяли другие ветры. Политический «климат» во Франции резко изменился. Новое правительство возглавил Эррио. Обстановка складывалась явно не в пользу «крестового похода». О почетных караулах больше не могло быть и речи. Власти, конечно, не отказали великому князю в праве пребывания на французской земле, но дали понять, что он для них не более как частное лицо и что его политические химеры интересуют их в той же мере, как прошлогодний снег.

В замке Шуаньи по их настойчивой рекомендации в помещении консьержа был поселен агент Surete Generate (полиции общественной безопасности) якобы для охраны безопасности monsieur le Grand due (великого князя), а на самом деле для того, чтобы наблюдать за всем тем, что там происходит.

А происходило там фактически очень немногое, хотя этому немногому расстроенное эмигрантское воображение приписывало исключительную важность событий мирового масштаба.

«Вождь» доживал свою жизнь затворником. Никуда дальше ворот своей усадьбы он не выходил и не выезжал.

На настойчивые «всеподданнейшие» просьбы и мольбы показаться в Париже своим «верноподданным» и вдохнуть в них своим присутствием энтузиазм для грядущего «весеннего похода» он неизменно отвечал: — Или Париж меня увидит как официально признанного Францией верховного главнокомандующего русскими армиями или совсем не увидит.

«Правоверным» эмигрантам правого сектора оказалось недостаточным просто «считать» великого князя Николая главой эмиграции. Нужно было это как-то узаконить и создать иллюзию всенародного признания. Русского народа за границей, правда, нет. Есть эмиграция. По неумолимым законам истории это обломки рухнувшего мира, но зато по эмигрантской идеологии — «соль земли». Нужно, следовательно, чтобы эта «соль земли» сказала своя веское слово. Но как это сделать?

Тут вспомнили об избрании на царство Михаила Федоровича

Романова. Дальнейшее ясно: нужно созвать всеэмигрантский «земский собор» и коленопреклоненно молить великого князя «возглавить священную борьбу против большевизма».

Сказано — сделано. По градам и весям не обозначенного на географической карте эмигрантского государства пронеслась «радостная» весть: в Париже созывается «Зарубежный съезд»! Под таким именем в историю российской послереволюционной эмиграции и вошло это своеобразное «учредительное собрание» совершенно утерявших чувство реальности людей, считавших себя выразителями воли русского народа.

Подготовка к съезду велась целый год. Заседали бесчисленные комиссии и подкомиссии. Положение в самом деле было не из легких. Как, по какому принципу и в какой форме организовать и провести выборы? Ведь эмиграция — это аморфная, расплывчатая масса, рассеянная по всем странам Старого и Нового Света. Точной численности ее никто не знает; неизвестно даже, какое количество эмигрантов живет в той или иной стране, городе, области?

Выход был найден: «солью земли» следует считать «организованную» ее часть, то есть тех эмигрантов, которые входят в какую-либо эмигрантскую организацию.

Учет этих организаций ведется, а внутри каждой из них известно точное местопребывание каждого ее члена. Все остальное ясно и просто. «Организованным» было указано, сколько депутатов надлежит им выбрать и послать в Париж на «Зарубежный съезд», имеющий целью «выявить волю русского народа». Выборы начались.

Надо заметить, что комедия с этим эмигрантским «учредительным собранием» была настолько смехотворна, что весь «левый» сектор эмиграции, как «организованный», так и «неорганизованный», отказался в ней участвовать.

Правых это не обескуражило. Для устроения счастья русского народа «слюнявые интеллигенты» не нужны. Не хотите — не надо! Обойдемся и без вас!

Наконец долго ожидавшийся день и час открытия «Зарубежного съезда» настал. Было это в Париже в 1926 году. Из всех стран рассеяния русской эмиграции в Париж прибыли «делегаты» от «организованной» ее части.

Правая эмигрантская пресса звонила во все колокола; «левая» иронизировала и издевалась и над самой идеей подобного «учредительного собрания», и над «делегатами», и над всем правым сектором эмиграции вообще.

Правая пресса весьма недвусмысленно давала читателю понять, что с открытием «Зарубежного съезда» открывается новая

страница истории России и что «час избавления русского народа от большевизма» не за горами.

«Левая» пресса говорила о съезде не иначе как о «фарсе в одном действии с прологом и эпилогом», а об его участниках — как о выживших из ума «бывших людях».

Организаторы съезда сделали все, чтобы обставить его открытие с наибольшей помпой. Заседания происходили в специально для этого снятых парадных залах фешенебельного восьмиэтажного отеля «Мажестик», расположенного в одном из аристократических кварталов Парижа — на авеню Клебер. Устроители лезли из кожи вон, чтобы придать съезду характер события международного значения, но, увы, понапрасну!

Французская, а тем более мировая пресса никак не откликнулась на это «международное событие». Лишь несколько второстепенных парижских газет поместили мелким шрифтом в отделе хроники краткое сообщение в две-три строчки о том, что в Париже состоялся съезд русских монархистов, поставивших своею целью восстановление в России павшего режима.

Но «смычку» с Францией, на территории которой состоялось это эмигрантское сборище, надо было все-таки как-то организовать и продемонстрировать. Для этого на первом же заседании в качестве представителя французской «общественности» был выпущен некто Эрлих (по французскому произношению Эрлиш), юркий делец, подвизавшийся при штабе Врангеля в годы гражданской войны по каким-то весьма неясным делам.

Неизвестно, как, где и когда он был уполномочен говорить от имени французской общественности, а тем более от имени Франции. Но «делегатам» много и не нужно было. Как-никак, а говорил с трибуны «француз». Приветствие от Франции передано. Делегаты с восхищением прокричали: «Vive la France!» («Да здравствует Франция!»), и этим «смычка» закончилась, если не считать этой «смычкой» косые и весьма неодобрительные взгляды бравых парижских ажанов, полицейских, регулировавших движение на важной и степенной авеню Клебер, на которую среди элегантной и чопорной парижской публики затесались пресловутые «делегаты» в потертых пальто, перекрашенных шинелях времен деникинской и врангелевской эпопеи, частью в косоворотках и сапогах.

Дискуссий на съезде не было. Все было ясно: не сегодня-завтра русский народ «свергнет большевиков» и позовет эмигрантов устраивать дальнейшие судьбы Российского государства. Для этого все готово. Не хватает только общепризнанного «вождя». Его-то и нужно избрать. Сама судьба

посылает русскому народу счастье: в эмиграции живет и работает бывший верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич Романов. Он и будет спасителем России. К нему-то от имени «Зарубежного съезда», воплощающего чаяния «русского народа», и надо отправить депутацию, дабы коленопреклоненно молить его принять на себя бразды правления и бремя устроения судеб государства Российского.

Отслужили молебен и отправили депутацию в Шуаньи.

Дальнейшая комедия, заранее тщательно прорепетированная, была разыграна блестяще: великий князь внял «голосу русского народа» и милостиво соблаговолил принять на себя тяготы по «возглавлению священной борьбы против большевизма». Часть военная была возложена на председателя РОВСа генерала А. П. Кутепова, часть гражданская — на редактора «Возрождения» П. Б. Струве. Впрочем, честь устроения гражданских дел «будущей России» оспаривал у Струве его конкурент И. П. Алексинский, выдвинутый кандидатом на будущий премьер-министерский пост в «будущей России» самым крайним черносотенным флангом правого сектора эмиграции. Обе эти довольно колоритные фигуры эмигрантского политического болота глухо враждовали между собою из-за дележа шкуры еще не убитого медведя. Перевес оказался на стороне Струве. О нем мне уже приходилось упоминать выше.

И. П. Алексинский представлял собою довольно видную фигуру на эмигрантском горизонте не только как политический деятель. Талантливый хирург, занимавший еще в сравнительно молодом возрасте кафедру общей хирургии на медицинском факультете Московского университета, он в начале настоящего века пользовался в Москве широкой известностью как либеральный общественный деятель и как видный врач. В 1911 году в числе других представителей профессуры он покинул Московский университет в знак протеста против репрессий и реакционных мероприятий вновь назначенного министра народного просвещения Кассо. Это еще более упрочило его славу как прогрессивного общественного деятеля и активного борца против аракчеевских методов управления университетами после революции 1905 года.

Когда же пришла Октябрьская революция, он, как и многие российские интеллигенты, круто повернул вправо.

Гражданская война застала его на юге России. Вместе с разбитыми армиями Врангеля он эвакуировался в Константинополь, а оттуда в Париж. Его профессорское звание и слава первоклассного хирурга быстро создали ему среди эмигрантов широкую популярность и могли бы, казалось,

удовлетворить любое эмигрантское тщеславие. Но одной этой популярности ему оказалось недостаточно.

Возвращение на хирургическую кафедру в вынужденно покинутый им родной Московский университет после «свержения большевиков» уже не прельщало его. В эмигрантском скопище потерявших прежнее привилегированное положение людей, стремившихся или вернуть это положение, или шагнуть еще выше, его захлестнула волна политического авантюризма. Впереди в его воображении маячил пост премьер-министра «будущей России». Как тут не потерять голову?! И он ее потерял. Он понял, что на прежнем либерализме и половинчатых мерах в эмиграции далеко не уедешь и никакой политической карьеры не сделаешь. Недолго думая, он ринулся вправо и, похоронив навсегда свой либерализм, докатился до крайне правого фланга эмиграции, превратившись в махрового монархиста-черносотенца.

Итак, в эмиграции появился «вождь», а рядом с «вождем» выросли еще и «вождики»: кто — по части военной, кто — по части гражданской.

Весть о том, что великий князь соблаговолил возглавить «священную борьбу против большевизма», с быстротой молнии облетела не только эмигрантские круги Парижа и Франции, но и все прочие места и страны русского рассеяния.

Как я уже говорил, «левый» сектор эмиграции встретил возглавление «священной борьбы против большевизма» дружным хохотом. Нельзя было отказать в остроумии карикатуре, напечатанной в 1926 году на первой странице одного из номеров милюковской газеты «Последние новости»: из приоткрытой двери замка Шуаньи высовывается нога, обутая в кавалерийский сапог со шпорой, и метла в виде палки с насаженной на нее длиннобородой головой великокняжеского «премьер-министра» П. Б. Струве с лаконичным обозначением внизу рисунка: «Вождь и его метла».

Зато правый сектор ликовал. В захудалых «обжорках» «русского Парижа», в деревенских корчмах Болгарии и Югославии, на улицах Шанхая, на лесных заготовках в Канаде, Финляндии, на рудниках Австралии и по другим градам и весям русского зарубежья недоучившиеся студенты, «чиновники для особых поручений», бывшие гвардейские офицеры, директора фабрик, инженеры, институтские классные дамы и фрейлины ее величества при встрече друг с другом радостно шептались: «Ну вот и дожили до светлого праздника. Можно укладывать чемоданы!

Завтра — в Россию! Часы большевиков сочтены. Наш вождь

заявил… Наш вождь обещал… Наш вождь сказал…» Слово «Шуаньи» произносилось николаевцами со священным трепетом: «В Шуаньи идут непрерывные совещания. Не сегодня-завтра будут объявлены сроки весеннего похода против большевиков… Десант уже готов… Англия согласилась… Франция признала… Америка обещала…

Польшу уговорили…» Шли месяцы, а потом и годы. В Шуаньи все продолжали совещаться, но о «весеннем походе» и о десанте никаких уточнений в эмигрантскую массу не поступало.

Но «на местах» продолжали верить и в «вождя», и в «весенний поход». Кое-кто из «правоверных» николаевцев, правда, обнаруживал нетерпение. Заброшенные в глушь Балкан или парагвайских лесов бывшие капитаны и полковники писали в редакции эмигрантских газет, в канцелярию РОВСа, отдельным общественным деятелям и всякому «начальству» тоскливые письма, сводившиеся в конечном счете к одному вопросу: «Когда же?» Редакторы газет, общественные деятели и «начальство» сдержанно и уныло твердили: «Терпение, терпение и терпение… Его высочество ведет сейчас большую работу…

Когда придут сроки, тогда…» Но сроки не приходили, и «верноподданные» постепенно теряли последние остатки терпения. Репортеры эмигрантских газет осаждали лиц, по своему положению имевших контакт с «вождем» и бывших частыми гостями усадьбы Шуаньи. Кое-кому из них удалось «просочиться» и в саму усадьбу и даже получить аудиенцию у ее «державного» хозяина.

Больше молчать было нельзя. И «вождь» заговорил…

На одном из «всеподданнейших» докладов одного из своих ближайших помощников он начертал: «Когда русский народ призовет меня, то я не промедлю и часу и с божьей помощью приступлю к освобождению России от большевиков…» Николаевцы, прочитав с благоговением эту краткую декларацию «вождя», приуныли. И было от чего! Ведь с момента созыва «Зарубежного съезда» и избрания в «вожди» великого князя Николая прошло три года. Возглавление «священной борьбы против большевизма» было воспринято ими как конкретное начало этой борьбы. Три года подряд их кормили обещаниями «весеннего похода», и три года они держали чемоданы наготове. Теперь, оказывается, воля «соли земли», выявленная на «Зарубежном съезде», была сочтена «вождем» недостаточной для начала противосоветской «акции». Нужно еще ждать, когда «оттуда», то есть с русских равнин, последует призыв русского народа возглавить эту «священную борьбу».

Но русский народ, как известно, не торопился с «призывом» и

не обнаруживал никакого желания торопиться с ним и в будущем.

Нетерпение и уныние в рядах николаевцев росло и кое-где даже переходило в «бунтарские» настроения. Отдельные николаевцы брюзжали: «Жди, когда русский народ раскачается и позовет „вождя“! Раньше рак свистнет…» Но в военной среде, как известно, никакие протесты невозможны. А большинство николаевцев состояло из бывших военных, считавших себя и в эмиграции таковыми. Пришлось смириться и терпеливо ждать, когда «вождь» отдаст приказ о походе.

Между тем жизнь в Шуаньи шла своим чередом. К «вождю» в определенные дни и часы приезжали из Парижа и из других эмигрантских центров ближайшие его помощники по военной и гражданской части, начальники отделов РОВСа, представители эмигрантской «общественности», редакторы газет, наконец, лица, с которыми «вождь» был связан родственными, служебными и придворными связями в бытность его командующим войсками гвардии и Петербургского военного округа.

В 1926 и 1927 годах мне неоднократно приходилось бывать в Шуаньи в качестве консультанта-терапевта по вызовам врача усадьбы, некоего доктора Малама. Само собой разумеется, к «августейшей» персоне великого князя и к великой княгине меня, «слюнявого интеллигента», не допускали. Лечили «августейшего вождя» и его супругу исключительно французские профессора и академики. Меня Малама вызывал для консультаций великокняжеской челяди и охраны. Особенно часто приходилось мне бывать там летом и осенью 1927 года у одного тяжелобольного офицера охраны, страдавшего злокачественной формой заболевания сосудистой системы и вскоре умершего в одной из парижских больниц. Три или четыре раза мне приходилось выезжать к нему поздно вечером с последним поездом и оставаться там до утра, коротая остаток вечера в беседах с челядью и охраной. Это дало мне возможность подробно ознакомиться с жизнью и бытом обитателей усадьбы.

Усадьба Шуаньи представляла собою очень своеобразный осколок рухнувшего мира. Как я уже говорил, расположена она в одном часе езды от Парижа и в двух километрах от малолюдной станции одной из второстепенных железнодорожных линий. Рядом с усадьбой — небольшая деревня Сантени и невдалеке другая усадьба, занимавшаяся в описываемые годы атаманом Красновым, вождем реакционного казачества.

Высокая ограда из темного камня, столь характерного для Франции и придающего ее пейзажу мрачный, унылый вид; наглухо запертые железные ворота; помещение консьержа у ворот; коротенькая аллея, ведущая к дому, обсаженная вековыми

платанами и каштанами; обширный двухэтажный барский дом с двумя десятками покоев; надворные постройки и флигели для челяди; позади дома — обширный вековой совершенно запущенный парк с поросшими травой дорожками — вот картина этого старинного французского «дворянского гнезда».

На «барской» половине жили сам великий князь с великой княгиней и три офицера его свиты с семьями.

Князю в описываемую пору перевалило за 70 лет. Свита заведовала «внутренними делами» усадьбы и сношениями с «внешним миром». Она принадлежала к «сливкам» придворной петербургской и царскосельской аристократии.

Среди них очень любопытную фигуру представлял граф Георгий Шереметев, офицер кавалергардского полка, сын известного в свое время петербургского аристократа, мецената и чудака, создавшего собственный симфонический оркестр и собственную образцовую пожарную команду.

Семейство Шереметевых слыло одним из самых богатых в дореволюционной России. Шереметев-сын воспринял русскую революцию совершенно необычным для аристократа и владельца чуть ли не 90 поместий образом.

В кругу близких ему людей с глазу на глаз он говорил, что революция и связанная с ней для него и его семьи потеря банковских текущих счетов, драгоценностей, дворцов, поместий, земли и привилегированного положения есть справедливое божье наказание за все те грехи, несправедливости и беззакония, которые в течение двух веков это привилегированное сословие творило в отношении «меньшей братии», и что долг христианина повелевает ему замаливать эти грехи весь остаток его жизни. А было ему в то время не более 40 лет. Дальше замаливания грехов, своих собственных, а также предков, он, однако, не пошел.

К населению «барской» половины принадлежало еще одно лицо, с которым великий князь не расставался в течение двух или трех десятков лет, — это вышеупомянутый доктор Малама, из той категории военных врачей царского времени, которые давным-давно забыли всякую медицину, никого не лечили и никакой медицинской литературы не читали. На его обязанности лежало смазывать йодом какую-нибудь незначительную царапину на великокняжеском теле или дать великому князю порошок от головной боли да рассказывать за столом анекдоты и всякие веселые истории, относящиеся к старым временам.

Челядь, жившая в пристройках, флигелях и надворных постройках, была представлена поваром, вывезенным еще из Петербурга, камеристками великой княгини, тоже дореволюционного времени, личным шофером великого князя

гвардейским офицером Апухтиным, шоферами для хозяйственных поездок, бывшими ординарцами великого князя из казаков гвардейских полков, садовником, прачками, судомойками и, наконец, личной охраной великого князя, состоявшей из «особо проверенных» генералом Кутеповым царских кадровых офицеров полковников Ягубова и Самоэлова и офицеров военного времени Жукова, Нилова, Неручева, Тряпкина. Все шестеро — из Дроздовской артиллерийской бригады, входившей в годы гражданской войны в состав деникинской, а потом врангелевской армии.

Охрана, одетая в штатскую одежду, была вооружена револьверами. На ее обязанности было сопровождать великого князя во время прогулок по громадному парку, находясь спереди, с боков и сзади него на почтительном расстоянии, дабы не нарушить иллюзию некоторого одиночества, нужного ему во время этих прогулок. Эмигрантской общественности всюду мерещилась «рука большевиков». Поэтому она настояла на создании охраны «обожаемого вождя», дабы предотвратить возможные на него покушения.

Француз на территории усадьбы был один — вышеупомянутый агент Surete Generale. Всего в усадьбе жило свыше 30 человек.

Хозяйство велось бестолково, вернее, никак не велось.

Престарелый «вождь» и великая княгиня никогда никакого хозяйства не вели и даже представления о нем не имели. Денег они не считали и не умели считать. За стол ежедневно садилось на обеих половинах вместе с гостями и посетителями не менее 40–45 человек. Мясник, огородники и молочницы из соседней деревни Сантени за всю свою жизнь не видели более выгодных клиентов, чем эти свалившиеся с неба monsieur le Grand due и его окружение. Цены они назначали произвольные, зная, что в усадьбе торговаться не станут.

Содержание всей этой оравы обходилось великому князю во много десятков тысяч франков в месяц. Свободных денег у него, можно думать, не было, но зато имелись вывезенные из России уникальные фамильные драгоценности, золото и бриллианты. Один из этих прадедовских бриллиантов был реализован летом 1926 года за 4 миллиона франков у парижского ювелира бароном Вольфом, заведовавшим финансовыми делами великого князя, о чем мне сообщили в одно из моих посещений усадьбы чины охраны, живо обсуждавшие эту усадебную «новость».

О будущем в Шуаньи много не думали: на ближайшие годы хватит, а там, после «падения большевиков», все дворцы, поместья, удельные земли вновь вернутся к «законным»

владельцам…

«Николаевская» эпопея длилась около четырех-пяти лет. В конце 20-х годов великий князь умер. Паломничество эмигрантских политических деятелей в Шуаньи кончилось. Но шумиха с «весенними походами» и десантами не прекратилась.

Еще при жизни великий князь дал указание, что наследником в деле «священной борьбы против большевизма» он назначает председателя РОВСа генерала А. П. Кутепова. Уныние, в которое впали николаевцы в связи со смертью «вождя», было быстро изжито. Кутепов заявил своему ближайшему окружению, что «священная борьба» будет продолжаться «до победного конца». На этой «борьбе», как и на самой личности Кутепова и возглавлявшегося им РОВСа, следует остановиться несколько подробнее.

Осенью 1921 года Кутепов, возглавлявший тогда остатки «1-го армейского корпуса русской армии», переехал из Галлиполи в Болгарию. Однако Болгария, как я уже говорил, совершенно не была склонна поддерживать политические химеры эмигрантских политиканов, принадлежавших к «верхушке» эмиграции.

Кутепова такое положение вещей явно не устраивало.

Он считал, что вооруженная борьба против Советской власти вот-вот возобновится на русской территории, и тогда настанет момент вновь развернуть в армию «1-й армейский корпус». Военную организацию ему нужно было во что бы то ни стало сохранить.

Но в Болгарии для этого не было подходящих условий. Как-никак она была чем-то вроде глухой провинции, не принимавшей никакого участия в «большой» европейской политике. А Кутепову была нужна именно эта политика и близость к лицам, решавшим судьбы Европы. К тому же в эти годы «русский Париж» окончательно сформировался как политический центр эмиграции.

Кутепов переехал в Париж. Первой его заботой было сохранить кадры разбитой белой армии, а правильнее сказать, разбитых белых армий, так как кроме армии Врангеля за границей оказались остатки других армий — Юденича, Миллера, Колчака, Каппеля, реакционного казачества. Но как это сделать? Сохранить разбросанные по многим странам кадры в виде полков, батальонов, эскадронов и батарей было, конечно, немыслимо и по причинам политическим, и по причинам бытовым. Тогда-то и родился по мысли Кутепова РОВС — Российский обще-воинский союз. Было это в 1924 году, хотя семена для его возникновения были посеяны еще в Галлиполи.

«Будущую Россию» и сам Кутепов, и подавляющее большинство офицеров разбитых белых армий мыслили как

государство с «твердой властью», опирающейся не только во внешней, но и во внутренней политике на армию, а на первое время (неопределенной длительности) — как военную диктатуру.

«Спасение России» белое офицерство мыслило только как финал борьбы, в которой именно ему будет принадлежать решающая роль. Правда, в этих настроениях была очень значительная трещина: старые кадровые офицеры царской армии считали, что «соль земли» — это только они, и свысока смотрели еще со времен первой мировой войны на вышедшее из рядов интеллигенции и полуинтеллигенции офицерское пополнение с четырехмесячным сокращенным курсом военного обучения.

«Штабс-капитаны» в свою очередь считали, что гражданскую войну и все связанные с нею военные тяготы вынесли на плечах они, и только они, в то время как «старики» или отлеживались по медвежьим углам, выжидая, куда склонится чаша весов, или занимали весьма хлебные и спокойные тыловые должности.

В конце 20-х годов дело дошло до открытого конфликта. Матерый вождь реакционного казачества старый донской атаман Краснов в каком-то не то новогоднем, не то пасхальном интервью, данном репортеру одной из эмигрантских газет, выразился столь презрительно о «штабс-капитанах» и об их роли в построении «будущей России», что среди этих последних поднялась буря негодования.

В редакции эмигрантских газет посыпались гневные письма. Кто-то даже вызвал атамана на дуэль «за оскорбление мундира». Дуэли, конечно, не последовало, но Краснову пришлось выступить с извинениями и с обычными в таких случаях заявлениями, что он-де был понят неправильно, что он не хотел никого обидеть и т. д.

Кутепов решил объединить под знаменами РОВСа всех зарубежных офицеров-эмигрантов, как «стариков» царской службы, так и «молодежь» — участников первой мировой войны и гражданской войны. Двери РОВСа не были закрыты и для унтер-офицеров, вольноопределяющихся, солдат, военных чиновников, военных врачей и военных сестер милосердия. Но эти категории в зарубежье были столь малочисленны, что практически о РОВСе можно говорить лишь как об офицерской организации. Объединяло несколько разношерстный состав его членов одно — ненависть к Советской власти и вера в то, что на смену ей придет новая власть — или белая военная диктатура, или «законный» царь из дома Романовых.

О демократической республике западноевропейского типа, столь желанной для «левого» сектора эмиграции, они не хотели и слышать.

С точки зрения организационной РОВС представлял собою во все годы своего существования федерацию разнообразных воинских организаций, которые с некоторой натяжкой и условно можно было назвать первичными.

Численность каждой из них колебалась в очень широких пределах, начиная от таких, как Союз галлиполийцев (объединивший в 1920–1921 годах офицеров галлиполийского лагеря и города Галлиполи), насчитывавший 15–20 тысяч человек, и кончая Союзом ахтырских гусар (то есть бывших офицеров Ахтырского гусарского полка царской армии), числившем в своих рядах всего 17 человек.

Участие в любой организации РОВСа было добровольным. Все его члены состояли на собственном иждивении. Они признавали чинопочитание и основы воинской дисциплины царской армии: отмечали полковые праздники, устраивали банкеты, служили молебны о здравии «вождей» и панихиды по «в бозе почивающем государе императоре» и членах императорской фамилии, равно как по «вождям» Корнилове, Маркове, Алексееве, Дроздовском, Врангеле, Колчаке.

Но если масса членов РОВСа свое свободное от работ и служб время посвящала собраниям, банкетам, молебнам и панихидам, то Кутепов заботился еще и о другом. Он хорошо знал настроение и «боевой дух» своих кадров, в частности так называемой «молодежи». Эти «штабс-капитаны» томились от отсутствия в их жизни реальных форм борьбы с Советской властью. Они жаждали «подвига». В условиях зарубежья в первые годы после окончательного разгрома белых армий подвигом считалось убийство из-за угла ответственных советских представителей за границей. В этой атмосфере прозвучал выстрел бывшего офицера Дроздовской дивизии капитана Конради, убившего в Швейцарии полпреда Воровского. Эмигрант Б. Коверда стрелял в советского посла, аккредитованного в Польше. Бывший саперный офицер врангелевской армии Бородин подготовлял аналогичный «подвиг» против советского посла в Австрии, вовремя раскрытый и предотвращенный.

Правый сектор эмиграции приходил в неописуемый восторг после каждого выстрела. «Началось!» — радостно проносилось по рядам этого сектора. «Левый» сектор, наоборот, осуждал подобные «подвиги» как «недостигающие цели, ненужные и вредные для самой эмиграции».

Принимал ли Кутепов личное участие в организации и подготовке этих убийств — судить не берусь. Но несомненно, что всею своей антисоветской деятельностью он систематически подогревал соответствующие настроения и способствовал

созданию того психологического «климата», при котором сделались возможны эти преступления.

Скоро, однако, выяснилось, что в деле «священной борьбы с коммунизмом» на убийствах из-за угла далеко не уедешь. Реакционные западноевропейские круги весьма благосклонно смотрели на идею вооруженной борьбы белых армий на русской территории, но к политическим убийствам на их собственной территории относились резко отрицательно.

Покушения прекратились. Но началась диверсионно-шпионская деятельность определенных элементов белого офицерства непосредственно в Советском Союзе. Организовал ее и дирижировал ею сам Кутепов.

Стороннему наблюдателю было трудно составить себе представление о размахе этой деятельности, а тем более ее подробностях. Само собой разумеется, что протекала она в условиях строжайшей конспирации, и никакие точные сведения о ней не проникали в толщу эмиграции, а тем более в печать. Лишь изредка в эмигрантских разговорах проскальзывал слух, что Кутепов ведет какую-то «большую работу» и засылает на советскую территорию «верных людей» из числа подчиненных ему в порядке добровольности белых офицеров. Надо при этом заметить, что эмиграция вообще очень мало интересовалась конспирацией. Все ее грезы сводились или к пережевыванию слухов о «весеннем походе и неминуемой гибели большевизма», или об «эволюции большевизма до уровня западноевропейского парламентаризма».

Лишь в 1929 году тема о «большой работе» сделалась на некоторое время ведущей в эмигрантских разговорах. Об этом — несколько ниже.

Едва ли можно сомневаться в том, что засылка в СССР Кутеповым шпионов и диверсантов, осуществлявшаяся в условиях строжайшей конспирации и требовавшая притока значительных денежных средств, производилась за счет иностранных разведок, но сколько-нибудь определенных сведений на точное происхождение этих средств в широких слоях эмиграции не имелось.

Сам Кутепов жил очень скромно. Лица, посещавшие его, неизменно отмечали не только скромность, но и некоторую бедность, царившую в его жилище. Жил он с женой, малолетним сыном и оставшимся от прежних времен вестовым для личных услуг в квартире из двух маленьких комнат, расположенной в квартале, заселенном мелкими чиновниками, ремесленниками и мещанами. «Делами» официального порядка, то есть связанными с управлением РОВСом, он занимался в помещении канцелярии

1-го отдела РОВСа, расположенной в 12-м городском округе Парижа.

Но кроме этих двух помещений он ежедневно появлялся еще и в третьем, расположенном в центре Латинского квартала Парижа. Назвать конспиративной эту квартиру в полном смысле слова нельзя, так как и сам Кутепов, и его ближайшее окружение открыто говорили о ее существовании. Занимался он там, по его словам, «гражданскими делами» в отличие от «военных дел», которые вел в вышеупомянутой квартире РОВСа. Само собой разумеется, что в дальнейшие уточнения о сути этих «гражданских дел» он не пускался.

Несколько лет спустя после признания Францией Советского Союза один из левых депутатов французского парламента внес министру внутренних дел запрос: «На каком основании французское правительство разрешает иностранцу (Кутепову) вести подрывную работу на территории Франции против государства (СССР), признанного Францией?» Ответ министра был маловразумительным: «В распоряжении министерства не имеется данных, которые позволяли бы считать подрывной ту работу, на которую указывает уважаемый депутат». Сообщение это, помещенное во французских газетах в порядке обычного отчета о заседаниях парламента, было перепечатано эмигрантскими газетами и вызвало горячие споры среди эмигрантов. Одни усматривали в расплывчатом ответе министра прямую поддержку французского правительства, оказываемую вождю воинствующей части белой эмиграции. Другие считали, что сам факт запроса и его содержание свидетельствуют о враждебных по отношению к эмиграции чувствах значительной части французской общественности и что подобные настроения таят в себе много неожиданных и неприятных для эмиграции сюрпризов в будущем.

К Кутепову явились репортеры. На их вопросы о «гражданских делах» он невозмутимо отвечал: — Как русский, я имею право интересоваться русскими делами. Ничего противозаконного с точки зрения законов Франции в этом нет. На интересующей вас квартире я получаю советские газеты и советскую литературу, читаю, делаю вырезки из них, сопоставляю… изучаю… Вот и все.

Едва ли нужно говорить, что подобный ответ никого не удовлетворил, но острота вопроса быстро притупилась, и вскоре о третьей кутеповской квартире большинство эмигрантов забыло.

Управляющим этими «кутеповскими делами» был некий М. А. Критский, бывший московский адвокат, перешагнувший в описываемые годы далеко за 40 лет. Мне неоднократно

приходилось сталкиваться с ним как с пациентом. Не раз и я задавал ему тот же вопрос, который ставили Кутепову репортеры. Критский каждый раз давал такой же ответ, как и сам Кутепов. Я понял, что дальнейшие расспросы бесполезны.

Затем я надолго потерял Критского из виду. Следующая случайная наша встреча произошла лет 12–13 спустя. Я слышал, что у него тяжелая болезнь сердца, но что с политической деятельностью он не расстался.

Мы неожиданно столкнулись с ним на тихой и малолюдной авеню Сюффрен. Я с трудом узнал в сгорбленном, седом и немощном старике некогда бодрого и энергичного московского адвоката. Было это в 1947 году, за месяц или полтора до моего отъезда из Франции с очередной группой репатриантов. Он остановил меня и заговорил первый, не скрывая своей недоброжелательной иронии.

— Значит, едете?

— Еду…

Он помолчал полминуты, потом продолжал: — Ну что же! Вольному воля… Только полагаю, что очень скоро горько об этом пожалеете…

— Полагаю, что не пожалею…

Он еще помолчал, потом внезапно кулаки его сжались, из-под нависших седых бровей блеснул взгляд, полный бешеной злобы, руки и голос задрожали: — Нет… нет… Я не из таких простачков, чтобы им верить! Если я поехал бы туда, то только с одной целью: взорвать это осиное гнездо, стереть с лица земли большевиков и пройти по их трупам…

Мне стало жаль этого конченого человека, который за 30 лет своей сознательной жизни, проведенных за рубежом, не научился ничему и который, стоя одной ногой в могиле, повторял слово в слово то, во что верил и что высказывал все эти 30 лет.

А сколько было в эмиграции таких законсервированных интеллигентов, принадлежавших когда-то к «сливкам общества» и даже руководивших в свое время общественным мнением. Как тут не вспомнить писателя Мережковского, кумира русской интеллигенции последнего перед революцией десятилетия, до последнего вздоха своего (он умер в годы войны) посылавшего проклятия новому строю, новой жизни и новым людям. Какие упомянуть о «короле русского фельетона» эмигрантских лет журналисте Александре Яблоновском, бывшем либерале профессоре И. П. Алексинском, бывшем «легальном марксисте» П. Б. Струве, бывшем приват-доценте Харьковского университета В. Х. Даватце, который 30 лет подряд твердил, что высшее счастье и радость на земле — носить погоны и мундир офицера белой

армии…

Да разве всех перечислишь!

В 1930 году произошло событие, глубоко потрясшее весь правый сектор эмиграции: генерал Кутепов бесследно исчез. Случилось это вскоре после смерти Врангеля. Трудно передать то волнение, которое охватило эти круги. На ноги были поставлены вся парнасская полиция и судебно-следственные органы, однако выяснить что-либо не удалось.

После этого не менее года тема об исчезновении Кутепова была ведущей в эмигрантских разговорах. Но время делает свое. Постепенно потрясение утихло, волнение улеглось. Эмиграция, как говорится, «перешла к очередным делам».

Кутепов исчез, но с его исчезновением не прекратилась антисоветская диверсионная работа «боевых» кругов правого сектора. На смену Кутепову пришел генерал Миллер, бывший главнокомандующий белой армией, оперировавшей в 1918–1919 годах на севере России и сброшенной Красной Армией в море, как это случилось и с прочими белыми армиями. Он встал во главе РОВСа и продолжал дело Кутепова.

Надо сказать, что возглавление им РОВСа вызвало некоторое замешательство в кругах белого офицерства.

Кутепов был плоть от плоти и кровь от крови тех кругов офицерства, которое «сделало» гражданскую войну. Его популярность среди офицеров врангелевской армии, задававших тон всему РОВСу, была колоссальна.

Он был выразителем дум и чаяний преимущественно белоофицерской молодежи, да и сам он не был стар: гражданскую войну он начал в возрасте 35 лет.

Миллер, наоборот, принадлежал к кругам старого кадрового генералитета. Его северная белая армия была малочисленна, а ее существование — кратковременно. На юге России о ней знали очень мало.

Удельный вес старых офицеров в РОВСе был невысок. Для них Миллер был, конечно, вполне «свой» и не чета «выскочке» Кутепову. Но тон в РОВСе задавала «молодежь», а не «старики». Этой «молодежи» пришлось смириться и выжидать дальнейшего развертывания событий.

Вскоре после вступления в должность председателя РОВСа Миллер перевел свой штаб в самый центр города, на улицу Колизе, в дом, принадлежавший бывшему московскому промышленнику Третьякову. Здесь он сосредоточил ведение всех своих «дел» — и «военных», то есть управление РОВСом, и «гражданских», то есть, попросту говоря, организации диверсионной работы на территории СССР.

Если о диверсионной работе Кутепова в среду эмиграции проникало очень мало сведений, то с момента возглавления РОВСа Миллером их стало еще меньше.

Но шила в мешке не утаишь. Изредка в кругах, близких к председателю РОВСа, циркулировали неопределенные слухи о том, что Миллер ведет подрывную работу в СССР в еще большем масштабе, чем Кутепов; что периодически он посещает какие-то конспиративные квартиры для свидания с лицами, направляемыми со шпионско-диверсионными целями в СССР или возвращающимися оттуда; что в его «работе» заинтересованы иностранные разведки, но какие именно — неизвестно; что именно оттуда и текут те материальные средства, без которых эту «работу» вести было немыслимо. Дальше этих туманных слухов дело не шло, эмиграция фактически оставалась в неведении относительно всего того, что происходило за кулисами РОВСа, видя перед глазами лишь то, что разыгрывалось на авансцене: собрания, полковые праздники, банкеты, памятные годовщины, доклады, молебны, панихиды и т. д.

В середине 30-х годов произошло новое событие в жизни эмиграции, потрясшее ее еще больше, чем исчезновение Кутепова: бесследно пропал Миллер.

На этот раз сенсация перекинулась и на французские и на международные круги. Репортеры газет, фото- и кинорепортеры сбились с ног и целыми днями и ночами дежурили в парижской полиции и во Дворце правосудия, жадно ловя каждый новый слух и новую версию, щелкая своими аппаратами при входе и выходе от следователя того или иного важного свидетеля.

В описываемые годы трудно было составить себе точное представление об обстоятельствах этого таинственного исчезновения. Тем более невозможно сделать это много лет спустя. Эмиграция, конечно, безапелляционно решила, что это «дело рук большевиков». Французская пресса высказывала и другие версии. Следствие велось несколько месяцев. Было опрошено в качестве свидетелей несколько сот человек.

В первые же дни после исчезновения Миллера французские следственные власти дали ордер на арест русской эмигрантки популярной исполнительницы русских народных песен, пользовавшейся в последние предреволюционные годы всероссийской известностью, Н. В. Плевицкой, крестьянки Курской губернии по происхождению.

Ей было предъявлено обвинение «в соучастии в похищении неизвестными лицами господина Миллера, русского беженца».

Известие об этом аресте поразило всю эмиграцию как удар грома. Как?! Арестована Плевицкая, заставлявшая плакать и

рыдать зарубежных россиян своим исполнением песен «Ехал на ярмарку ухарь-купец» или «Замело тебя снегом, Россия»! Та самая Плевицкая, которая в качестве жены начальника Корниловской дивизии генерала Скоблина была неизменной участницей чуть ли не всех банкетов, собраний и праздников, справлявшихся под сводами «гарнизонного» Галлиполийского собрания, и сама участница гражданской войны и галлиполийской эпопеи!

Вместе с арестом Плевицкой парижская прокуратура дала ордер и на арест генерала Скоблина, одного из ближайших помощников исчезнувшего Миллера. Ему было предъявлено то же обвинение, что и его жене. Но осуществить этот арест и привлечь к суду Скоблина французским властям не удалось.

Генерал Скоблин был вызван на улицу Колизе поздно ночью в день исчезновения Миллера на совещание старших начальников РОВСа. Посреди жарких дебатов и разгоревшихся страстей он попросил разрешения выйти на несколько минут, ссылаясь на свое нездоровье и духоту в помещении.

Ему разрешили.

Больше его никто и никогда не видел. Он в свою очередь бесследно исчез.

Об этом мне удалось узнать из уст участника совещания полковника С. А. Мацылева, к личности которого мне придется вернуться в одной из следующих глав.

Вскоре об этом совещании и о бегстве Скоблина заговорила вся эмиграция.

Плевицкая и на следствии, и на суде отрицала свою причастность к этому темному и непонятному делу. Суд над ней превратился в событие, всколыхнувшее не только эмиграцию, но и большую часть французского общества. Газеты печатали стенографические отчеты о заседаниях суда. Все крупные газеты Старого и Нового Света прислали в суд своих репортеров. Эмиграция волновалась, гудела и шумела. В последнем предоставленном ей слове Плевицкая вновь заявила о своей полной непричастности к этому исчезновению. Суд приговорил ее к 20 годам тюремного заключения по якобы доказанному соучастию в похищении Миллера неизвестными лицами.

Через несколько недель она была отправлена в одну из тюрем Эльзас-Лотарингии для особо тяжких преступников, где и умерла в годы оккупации Франции гитлеровцами.

Тайна исчезновения Миллера осталась неразгаданной.

Выявить «неизвестных лиц» французскому суду так и не удалось.

В военные годы эмиграция, в своем большинстве захваченная грозными событиями на родине, к исчезновению Миллера и делу

Плевицкой утратила всякий интерес.

Последовательно сменявшие друг друга после Миллера ровсовские начальники адмирал Кедров, генералы Витковский и Бем были совершенно непопулярны в среде белых офицеров, составлявших ядро этой организации. Ее активисты, когда-то считавшие РОВС самой «мощной» эмигрантской организацией, должны были признать, что теперь он влачит жалкое существование.

Деньги, когда-то поступавшие в его канцелярию на содержание «штаба» из сумм, находившихся в распоряжении так называемого «Совета послов»[8], подходили к концу. Канцелярия РОВСа, имевшая в первые годы парижского периода его жизни вид «большого учреждения» с многочисленным штатом служащих, в последние предвоенные годы захирела. Штаты ее были сокращены.

В 1938–1941 годах они были представлены председателем РОВСа генералом Витковским, секретарем полковником инженерных войск С. А. Мацылевым и делопроизводителем (он же и машинист-переписчик, и уборщик помещения) престарелым и немощным В. В. Асмоловым, бывшим ростовским табачным фабрикантом.

Доходы РОВСа к тому времени состояли из членских взносов, общая сумма которых неуклонно падала из года в год и из месяца в месяц, из платы за выдачу различных справок и засвидетельствования копий с документов.

В этот период шпионско-диверсионная работа РОВСа на территории СССР была, по-видимому, прекращена.

О ней никто в кругах, близких к председателю РОВСа, больше не говорил, да и убогие внешние формы существования «штаба» свидетельствовали о том, что приток денежных средств из какого-то щедрого иностранного источника прекратился.

Среди членов РОВСа все чаще и чаще стали раздаваться голоса, что они обмануты и что грядущее и обещанное им «вождями» «падение большевиков» — мираж и бред выживших из ума и обанкротившихся политиканов.

Канцелярия РОВСа на улице Колизе опустела. Редко можно было теперь видеть там посетителей. Председатель Витковский подписывал несколько ничего не значащих бумаг, составляемых от нечего делать его секретарем полковником Мацылевым. Делопроизводитель Асмолов переписывал их на машинке, подметал пол и топил печи. От всего бывшего сумбурного «великолепия» ровсовского штаба остались три человека, дрожавшие за свой завтрашний день.

Лишь с началом войны, а затем и германской оккупации

«счастье» на время улыбнулось этой доживавшей свои последние дни канцелярии. Старая запущенная квартира третьяковского дома на улице Колизе, построенного более 150 лет назад для семейных офицеров кавалерийских полков казненного революцией короля, оживилась.

Бытовая обстановка военного времени, продовольственные, квартирные, трудовые и служебные ограничения и ряд других обстоятельств, связанных с войной, вызвали необходимость для значительной части русских эмигрантов во Франции получения различных справок: об участии в войне 1914–1918 годов, о наличии офицерского чина, о наградах, прохождении военной службы в старой армии и т. д. Французское правительство в официозном порядке считалось с этими справками и признавало их юридическую силу. В канцелярию РОВСа бросились тысячи эмигрантов, никогда не состоявших в РОВСе. Захиревшая канцелярия ожила. В ее прихожей, комнатах и на лестнице ежедневно толпились сотни людей. Защелкали пишущие машинки, штат канцелярии временно был увеличен в несколько раз. За каждую выдаваемую письменную справку канцелярия взимала 20 франков. Дела ее пошли недурно.

Но «счастье» было недолговечно: наступили трагические для Франции дни. Париж был оккупирован гитлеровцами. «Эпоха процветания» ровсовской штабной канцелярии кончилась, а само существование РОВСа повисло в воздухе. На улице Колизе снова воцарились тишина и запустение.

Однако скоро выяснилось, что оккупационные власти, относясь в принципе очень холодно к РОВСу, который на своих знаменах имел лозунг деникинских времен «великой, единой, неделимой России», тем не менее сочли необходимым временно сохранить справочные функции этого учреждения и в свою очередь официозно признали имеющими юридическую силу все справки, выдаваемые ровсовской канцелярией. А так как с момента оккупации бытовая обстановка эмиграции еще более усложнилась, то на узкую и малолюдную улицу Колизе снова началось паломничество тысяч людей. В канцелярии снова появились помощники секретаря, переводчики, снова затрещали машинки, снова направо и налево раздавались квитанции в получении 20 франков за справку, на этот раз — на немецком языке.

Но и этот вторичный период «процветания» скоро кончился. Гитлеровцы напали на Советский Союз. РОВС со своим лозунгом «великой, единой, неделимой России» для них был явно «не ко двору». Генерала Витковского вызвали в гестапо и предложили сложить с себя полномочия председателя по мотивам

«нездоровья», о чем он немедленно оповестил свое ближайшее окружение, а это последнее — ровсовские «массы». На пост председателя был назначен немощный и больной старец 76-летний генерал Бем. Печатный орган РОВСа журнал «Часовой», выходивший в эти годы в Бельгии, был по распоряжению гестапо закрыт: ведь он, как и весь РОВС, призывал к «свержению большевиков» во имя построения будущей «великой, единой, неделимой России», которая никак Гитлера не устраивала. Все справочные функции РОВСа перешли к созданному по указанию гестапо новому органу по надзору за эмиграцией и выяснению степени ее «благонадежности» — так называемому «жеребковскому комитету». Об этом — в одной из последующих глав.

Ровсовский штаб вновь захирел, на этот раз окончательно.

Шпионская и диверсионная работа на территории СССР, проводившаяся в 20-х и 30-х годах под дирижерской палочкой Кутепова и Миллера, не была их монополией. Незадолго до войны на этом «фронте» внезапно всплыла еще одна фигура, а именно генерал Туркул, о котором мне уже приходилось упоминать. Разоблачения в эмигрантской среде, произведенные в конце 30-х годов, выявили, что Туркул хотя и состоял членом РОВСа, но действовал совершенно отдельно от Кутепова и Миллера и получал материальные средства для своей «работы» из иного источника.

Личность генерала Туркула в своем роде примечательна, и на ней нельзя не остановиться. Происходил он из семьи, в жилах которой текла молдаванская кровь.

Войну 1914–1918 годов он начал прапорщиком, а закончил штабс-капитаном. По отзывам лиц, хорошо знавших его в тот период, он решительно ничем не выделялся из среды десятков тысяч подобных ему офицеров.

Дальнейшую его судьбу предопределило то обстоятельство, что к концу войны он оказался офицером пехотного полка, во главе которого стоял полковник (впоследствии генерал) Дроздовский.

В начале 1918 года Дроздовский во главе отряда добровольцев-офицеров двинулся из румынскою города Яссы, где было дислоцировано в последний период войны 1914–1918 годов подразделение, которым он командовал, на соединение с частями контрреволюционной «добровольческой армии», возглавлявшейся генералами Алексеевым и Корниловым и оперировавшей на Дону и Кубани. В этом походе, получившем впоследствии громкую известность в армиях Деникина и Врангеля как «поход Яссы — Дон» и окруженном «легендарной славой» среди белых офицеров, принял участие и штабс-капитан Туркул.

Вся его дальнейшая карьера в этот отрезок времени прошла в деникинской и врангелевской армиях. От ротного командира в отряде Дроздовского он быстро дошел до должности командира полка и чина полковника, а весною 1920 года в возрасте 28 лет был произведен Врангелем в генералы и вскоре назначен начальником дивизии, которая после смерти Дроздовского получила название Дроздовской.

Гражданская война создала Туркулу совершенно исключительную популярность среди белых офицеров.

Гигантского роста и богатырской силы, он импонировал им своей исключительной жестокостью по отношению к пленным коммунистам, своей неустрашимостью и хладнокровием в боевой обстановке и, наконец, особым «стилем» разговорной речи, пересыпанной улыбками и нецензурной руготней по каждому поводу и безо всякого повода. Пленных из советских воинских частей он любил допрашивать лично. После допроса он ударом кулака по лицу сбивал свою жертву с ног, а когда эта жертва поднималась с земли, приканчивал ее выстрелом из нагана.

После этого с той же улыбочкой и самыми отвратительными ругательствами он возвращался в занимаемый им и его штабом дом, заказывал яичницу с колбасой и слушал офицерские анекдоты. Число лично расстрелянных им после боя пленных часто измерялось за один вечер многими десятками. Быстро создалась легенда о его непобедимости, неуязвимости для пуль противника и какой-то сверхнепримиримости к большевикам.

Эту популярность Туркул сохранил и в Галлиполи, и в первые месяцы пребывания бывшей врангелевской армии на территории Болгарии. После роспуска белых «гарнизонов» он некоторое время еще оставался во главе дроздовцев, перешедших на собственное иждивение, но продолжавших держать связь со своим «штабом» и по-прежнему признававших свое начальство. В дальнейшем его популярность начала тускнеть. Когда у Врангеля окончательно иссякли средства на содержание полковых и дивизионных штабов, Туркул переехал из болгарского города

Севлиево в Софию. Жена его поступила официанткой в одно из фешенебельных софийских кафе на бульваре Дундуков, а он торговал газетами водном из киосков в центре города. Так прошло семь или восемь лет.

В самом конце 20-х годов чета Туркулов с дочерью переехала в Париж. Здесь он пытался открыть частное торговое «дело» — бензоколонку, но «дело» это у него не пошло. Материальное его положение в тот период времени было очень плохим. Наступила жестокая нужда.

Нечем было платить за квартиру. Высшее «начальство» разрешило ему занять с семьей одну комнатку-мансарду в помещении Галлиполийского союза, который переехал б новое помещение на улице Фезандери и занял особняк, принадлежавший парижскому банкиру Лазару.

Особняк этот был хорошо известен среди белого офицерства как парижское «гарнизонное офицерское собрание».

Жена Туркула сняла в аренду в «собрании» буфет, но дела семьи шли плохо.

Сам Туркул ничего не делал. Буфет, арендованный его женой, еле сводил концы с концами. Число «клиентов» падало с каждым годом. Количество подписных обедов, банкетов и чаепитий резко уменьшилось по сравнению с 20-ми годами. Это был период очередной экономической депрессии и роста безработицы, в том числе и безработицы среди русских эмигрантов.

От былой популярности Туркула не осталось и следа.

Часто можно было слышать среди бывших его соратников диалоги вроде следующего: — Ну, а как Туркул?

— Да никак… Ни черта не делает, целыми днями не вылезает из буфета, живет на средства жены, жрет по десять отбивных котлет в день и дует водку чуть ли не ведрами… Разжирел, опустился, а толку от него никакого…

В середине 30-х годов, однако, совершенно неожиданно и внезапно эта ситуация резко изменилась. Из Туркула для кого-то находившегося за кулисами вне сферы обозрения «публики» получился большой «толк»…

Туркул преобразился. Он переехал на собственную квартиру, начал устраивать приемы, шил костюмы один за другим. У мадам Туркул появились вечерние туалеты, меха и бриллианты. В квартире постоянно толпился кто-нибудь из бывших чинов его штаба и подчиненных.

Стол постоянно был заставлен дорогими закусками, винами, коньяками, ликерами. В «гарнизонном собрании» он появлялся не иначе как в сопровождении адъютантов из все тех же своих бывших подчиненных.

Одновременно русская эмиграция была оповещена через газеты, что генерал Туркул организует новое общество, точное название которого, длинное и замысловатое, я сейчас не помню. Что-то вроде Общества по изучению современного состояния России.

Новоявленные «изучатели» регулярно собирались в «гарнизонном собрании» для диспутов, докладов и лекций. Было их человек 40–50. В назначенный час Туркул со своими адъютантами, или, как их в шутку называли, «апостолами», подкатывал к особняку на улице Фезандери на автомобиле и открывал очередное собрание.

«Изучение» России начиналось… После каждого сеанса этого «изучения» собравшиеся переходили в буфет, где стараниями мадам Туркул им приготовлялось обильное угощение с достаточным возлиянием. На недоуменные вопросы ровсовских начальников, бывших сослуживцев, репортеров и других лиц из его окружения, что все это означает, Туркул отвечал: — Эмиграция должна быть в курсе всех дел, происходящих в России. Мы повышаем свою политическую квалификацию…

— Это все?

— Все.

Однако очень скоро и для правого, и для «левого» сектора эмиграции стало совершенно ясно, что это не только не все, но просто-напросто ширма, за которой кроется нечто совсем иное…

Внезапная и явная для всех перемена материального положения семьи Туркула, его странная политическая активность, создание весьма туманного по своим целям Общества по изучению России и, наконец, просочившиеся в военные круги слухи о вербовке им отдельных белых офицеров для каких-то таинственных поездок куда-то на Восток — все это не оставляло никакого сомнения в том, что Туркул вступил в связь с одной из иностранных разведок и что именно оттуда и потекли широким потоком средства и на отправку в СССР диверсантов, и на личную привольную жизнь самого Туркула, и на фиговый листок, которым эту диверсионную работу кто-то старался прикрыть, создавая вышеупомянутое анекдотическое Общество по изучению современного состояния России. Эти подозрения перешли в уверенность после того, как в газетах замелькали хроникерские заметки о панихидах по погибшим в СССР белым офицерам, которых за два-три месяца до того ежедневно видели в Париже на положении шоферов такси или чернорабочих и которые попались в сети иностранных разведок и выполнителя их воли Туркула. Почти все они были выловлены органами государственной безопасности СССР и приговорены к высшей мере наказания за

шпионскую и диверсионную деятельность.

Редакция руководимой Милюковым газеты «Последние новости» предприняла по собственной инициативе секретное расследование деятельности Туркула. Следует еще раз заметить, что, несмотря на общность антисоветских настроений и в правом, и в «левом» секторе белой эмиграции, оба сектора настолько ненавидели друг друга, что милюковцы, конечно, не могли упустить удобного случая «утопить» воинствующих ровсовцев путем разоблачения туркуловской авантюры.

Прошло много месяцев с момента возобновления политической активности Туркула. Неожиданно на страницах газеты «Последние новости» появилась серия очерков-разоблачений под общим заголовком «Торговля человеческой кровью». Автором их был сотрудник «Последних новостей» некий Вакар, бывший царский офицер, целиком перекинувшийся в «левый» сектор белой эмиграции, но сохранивший некоторые связи в РОВСе и владевший довольно бойко пером.

В этих очерках деятельность Туркула была полностью раскрыта. Туркул поступил на службу одной из иностранных разведок и подрядился поставлять для этой разведки «верных людей» из числа своих бывших подчиненных. «Верные люди» вербовались им для нелегального перехода границ СССР и шпионской и диверсионной работы на территория Союза. Деньги он получал «сдельно» с каждой завербованной им «головы». «Голове» он давал лишь незначительную часть полученной суммы, а большую часть присваивал. «Головы» погибали одна за другой, но Туркула это мало трогало. На смену одним приходили другие.

Разоблачения «Последних новостей» произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Не говоря уже о сути дела, все были поражены еще и тем, что разоблачения эти сделались достоянием печати. Дело в том, что во Франции распространение в печати сведений, порочащих то или иное лицо и наносящих ему материальный и моральный ущерб, строго карается (так называемый «закон о диффамации», то есть о распространении не ложных, а соответствующих истине сведений). После опубликования этих разоблачений вся белая эмиграция была вправе ждать судебного процесса, который должен был бы начаться на основании упомянутого закона.

Правая газета «Возрождение» опубликовала письмо в редакцию самого Туркула, в котором он оповещал, что «оставляет за собою право привлечь к судебной ответственности редакцию „Последних новостей“ за распространение сведений, порочащих его доброе имя…».

Однако никого он к судебной ответственности не привлек, своего «доброго имени» защищать не стал, а вместо этого начал укладывать чемоданы и готовиться к отъезду. Вскоре он переехал с семьей в Италию, куда, как правило, въезд простым смертным из русских эмигрантов был воспрещен. По-видимому, фашистское правительство Муссолини не относило Туркула к числу «простых смертных»…

Карьера Туркула закончилась. Навсегда ли? На это ответит время.

В канун войны в Париже были получены сведения, что он, не занимая никакой должности, живет в Италии широкой жизнью, вращается в «лучшем обществе», купил роскошную автомашину и, по всем данным, пожинает плоды той «работы», которую столь щедро оплачивал тайный иностранный источник.

Что делал Туркул во время войны — мне неизвестно.

Его скоро забыли, и больше до моего отъезда из Парижа я ничего о нем не слышал.

Мне уже приходилось упоминать, что правый сектор белой эмиграции составлял главный контингент постоянных читателей ежедневной газеты «Возрождение». Но у воинствующих элементов этого сектора, объединившихся в РОВСе, был и свой собственный орган печати — журнал «Часовой», выходивший два раза в месяц. «Часовой» возник в 1926 или 1927 году и просуществовал вплоть до 1941 года, когда он был закрыт по распоряжению гестапо. После четырехлетнего перерыва он снова стал выходить регулярно с той же программой и с тем же редактором, что и в довоенный период. Его основатель, издатель и бессменный редактор В. В. Орехов, белый офицер врангелевской армии, весьма заметная фигура в кругах, близких к РОВСу, и в самом РОВСе. «Часовой» пользовался большой популярностью среди зарубежного контрреволюционного офицерства. На это были свои причины.

Во-первых, в каждой его строке сквозил кастовый дух офицерского сословия старой армии.

Во-вторых, «Часовой» вбивал в голову своим читателям, что командный состав Красной Армии сплошь неучи и невежды и что белому офицерству предстоит в будущем почетная роль сменить их на всех командных постах армии «будущей России».

В-третьих, в этом журнале помещались исторические справки, воспоминания и документы, относящиеся к войне 1914–1918 годов и к еще более ранним временам.

Некоторым из них нельзя было отказать во вполне реальном историческом интересе.

В-четвертых, «Часовой» был, кажется, единственным

печатным органом в зарубежье, который признавал растущую техническую мощь Красной Армии, даже и руководимой, но его терминологии, «неучами». Информация о Красной Армии, хотя и разбавленная только что отмеченными абсурдными высказываниями, была в некоторых своих разделах довольно точной и правдивой. Из номера в номер журнал твердил, что нельзя далее недооценивать мощь Красной Армии, как это делала вся остальная белоэмигрантская печать, и что рано или поздно эта мощь сделается очевидной для всех.

Наконец (и это, пожалуй, самая главная причина его популярности), «Часовой» все долгие годы своего существования играл на самых чувствительных струнах белоофицерской массы зарубежья: он звал ее в бой против Советской власти, заклинал эту массу быть готовой «выполнить долг перед родиной» и поселял в ней твердую уверенность, что близким и несомненным результатом этого «выполнения долга» будет свержение Советской власти и военная диктатура, при которой каждый бывший белый офицер займет подобающее ему место в армии с учетом, конечно, зарубежного стажа и с головокружительным продвижением в чинах.

В середине 30-х годов В. В. Орехов объявил на страницах своего журнала, что ему удалось тайно связаться с «красным командиром», занимающим ответственный пост в Красной Армии, и что в ближайших номерах журнала будут систематически помещаться письма этого командира. «Письма красного командира» действительно появились на страницах «Часового». В них «красный командир» называл белых офицеров «братьями» и заверял их, что близок час, когда в Красной Армии произойдет взрыв и когда красные и белые командиры сольются в одном мощном антисоветском потоке.

«Письма красного командира» произвели сенсацию не только среди воинствующих правых кругов белой эмиграции, но и в «левом» ее секторе. На Орехова со всех сторон градом посыпались вопросы с просьбой дать уточнения о личности «красного командира». Орехов отвечал на них полным молчанием, заранее сославшись на невозможность по условиям конспирации давать какиелибо сведения, касающиеся личности автора писем и способов связи с ним. После этого ничего не оставалось делать, как гадать. Среди многих предположений циркулировало и такое: никакого «красного командира» в действительности не существует, а «письма» составляются в Париже самим Ореховым в целях поднятия тиража своего журнала. Тираж этот действительно вырос в два или три раза с момента появления «писем». А финансовые дела «Часового» перед этим шли из рук

вон плохо.

У читателя, конечно, возникает вопрос: субсидировал ли кто-нибудь издание этого журнала? Ведь общеизвестно, что подобное издание, да еще иллюстрированное, каким был «Часовой», требует значительных сумм Помимо подписной платы. На этот вопрос приходится дать как будто положительный ответ. Ближайшему окружению Орехова было хорошо известно, что хотя все 15 или 16 лет своего предвоенного существования «Часовой» с точки зрения материальной влачил жалкое существование, тем не менее его редактор периодически получал откуда-то кое-какие подачки, без которых длительное существование журнала было бы, конечно, немыслимо.

Вся редакция журнала состояла из двух человек: самого Орехова и третьеразрядного журналиста Евгения Тарусского, слывшего «специалистом по молодежи». Занимала она всего одну комнатушку в маленькой квартире из трех комнат, в которой жил сам Орехов со своей многочисленной семьей. Несколько раз даже ставился вопрос о прекращении дальнейшего выхода журнала за полным отсутствием средств, а Орехов, совершенно подавленный, сообщал своим самым близким друзьям сроки этого печального конца. Но в этот момент обычно как раз поступали очередные подачки от невидимых для постороннего взора «благожелателей», связанных тайными нитями с иностранными разведками, что давало Орехову возможность кое-как сводить концы с концами. Издание журнала продолжалось.

Незадолго до войны и на сравнительно короткий период времени Орехов вздохнул несколько свободнее: журналу начал оказывать некоторую помощь некто Анастасий Вонсяцкий — смутная фигура из категории политических шарлатанов и авантюристов, которые, как грибы после дождя, появлялись и исчезали на эмигрантском горизонте.

Бывший юнкер одного из военных училищ юга России, Вонсяцкий в начале 20-х годов, будучи совсем молодым человеком, подвизался в Париже в качестве шофера такси, как и тысячи его соотечественников. Благодаря гримасе судьбы он свел случайное знакомство с заезжим американским миллионером, каким-то не то «стальным», не то «свиным королем».

В благодарность за услугу, оказанную этому «королю» при совершенно случайных обстоятельствах, последний взял его с собой в Америку, сначала в качестве «мальчика на побегушках», затем служащего своей конторы, потом личного секретаря. Кончилось тем, что Вонсяцкий женился на дочери престарелого «короля», которая была лет на 15 старше жениха, и сделался совладельцем миллионного предприятия своего тестя, попав «из

грязи в князи».

Во время редких наездов в Париж бывший юнкер, он же и бывший парижский шофер, появлялся среди белых эмигрантов, окруженный ореолом славы заокеанского миллионера, всегда в сопровождении личных секретарей и адъютантов. Но аппетит, как известно из французской поговорки, приходит во время еды… Одни «голые» деньги Вонсяцкого не удовлетворяли. Раболепство и пресмыкательство перед ним эмиграции — тоже. Ему захотелось политической славы.

За этим дело не стало. Кошелек Вонсяцкого широко раскрылся для осуществления разного рода политических затей. Он основал под Парижем «корпус-лицей имени Николая II» по образцу кадетских корпусов царского времени, предназначенный для эмигрантов, желавших дать своему потомству военное воспитание. Он же стал давать деньги и на издание «Часового». Но эти «милости» новоявленного миллионера были кратковременными. Очень скоро у него возник конфликт и с руководством «корпуса-лицея», и с редактором «Часового».

Кошелек Вонсяцкого снова закрылся. Милости больше не расточались. Зато Вонсяцкого потянуло к политической славе, так сказать, мирового масштаба. В особом «манифесте», опубликованном на страницах заново созданной им газетки, просуществовавшей в свою очередь тоже очень недолго, он объявил, что он, Вонсяцкий, становится во главе создаваемой им новой белоэмигрантской политической партии фашистского типа и что именно он сам и его партия свергнут большевиков и спасут Россию.

Было это уже в годы расцвета гитлеризма в Германии. Новоявленный «фюрер» изобрел для себя и для своих «верноподданных», число которых едва ли превышало одну или две сотни, особую форму одежды, эмблемы, фашистское приветствие и т. д. После этого он начал объезд своих «верноподданных». А издаваемая им газетка печатала репортажи о том, как его встречало с цветами «благодарное население» несуществующего на географической карте новоявленного эмигрантского фашистского государства, правда с весьма ограниченной территорией — частью североамериканского штата Огайо, где проживал «фюрер», да тремя-четырьмя пунктами в Европе и на Дальнем Востоке, где у «фюрера» были свои представители.

Скоро и эта затея приелась скучавшему от безделья политическому шарлатану. Выход газетки и объезды «верноподданных» прекратились. Вонсяцкий снова уплыл за океан и там, в Америке, в штате Огайо, занялся созданием

«военного музея русской армии», то есть собирательством полковых значков, погон, кокард, фотографий, гравюр и другого материала, имеющего какое-либо отношение к царской армии.

Но вернусь к «Часовому». Если не считать короткого срока, когда Орехов получал от Вонсяцкого некоторое денежное подкрепление, весь остальной долголетний период его существования он был, так сказать, «на подножном корму», то есть имел своей материальной базой главным образом те скудные средства, которые поступали в редакцию от подписки и киосковой продажи. Есть основания предполагать, что это положение резко изменилось в послевоенные годы, когда Орехов совершил поездку в Англию, откуда вернулся окрыленный, по-видимому, не только новыми надеждами, но и еще чем-то более существенным.

Прерванное в 1941 году издание «Часового» возобновилось и сразу было поставлено на широкую ногу, а сам Орехов в первом же номере своего возрожденного детища заявил во всеуслышание, что период эмигрантского шатания в годы войны в вопросе о признании Советской власти как исторически законной кончился и что он, Орехов, вновь возвращается под старые знамена и лозунги непримиримой борьбы с этой властью «до победного конца». К этому же он призывал и всю эмиграцию.

Это было в 1945–1946 годах, незадолго до моего отъезда из Франции, когда совершенно ясно обозначилась гальванизация с помощью американского золота трупов большинства российских политических мертвецов. Именно тогда восстали из политического гроба и Керенский, и Деникин (последний вскоре сменивший гроб политический на гроб вполне реальный).

На личности В. В. Орехова я считаю нужным остановиться несколько подробнее. Происходил он из интеллигентских или полуинтеллигентских кругов. Конец гражданской войны застал его в чине капитана. Во врангелевской армии он состоял в одном из железнодорожных подразделений, сведенных после эвакуации в железнодорожный батальон. Из Галлиполи он попал в Болгарию, а оттуда в Париж. Там в начале 20-х годов и началась его политическая карьера. Было ему тогда не более 26–27 лет. Орехов сразу занял позицию антисоветского активиста, представлявшего зарубежную «боевую» контрреволюционную молодежь. С таким ликом он попал в делегаты пресловутого «Зарубежного съезда». С трибуны этой анекдотической «учредиловки» он призывал и молодежь, и всю эмиграцию к борьбе против Советской власти «до победного конца».

Приблизительно в это же время он занял пост генерального секретаря Союза галлиполийцев, председателем которого был тогда престарелый артиллерийский генерал Репьев.

Одновременно Орехов стал выпускать под своей редакцией новый, им самим основанный «боевой» антисоветский журнал «Часовой». На страницах журнала Орехов в течение всех 15 лет довоенного периода и последующих послевоенных лет звал русское зарубежное контрреволюционное офицерство на «последний и решительный бой» с Советской властью, а Евгений Тарусский печатал очерки летней лагерной жизни эмигрантских детей на Лазурном береге Средиземного моря. Этих детей (не более 100–150), собранных со всех уголков Франции, он величал «новой Россией», которой принадлежит будущее. Он уверял, что эмиграция может спать спокойно, пока у нее имеются эти замечательные дети, поющие хором «Боже, царя храни» и бережно выпестовываемые гвардейским полковником Богдановичем (в годы войны — заместителем эмигрантского «фюрера» Жеребкова в эмигрантском филиале гестапо).

Постепенно круг сотрудников «Часового» расширялся. В нем начали принимать участие бывшие офицеры генерального штаба, военные историки, военные бытописатели, фельетонисты и т. д.

«Часовой» явно пришелся «ко двору» воинствующей клике правого сектора белой эмиграции. Начальники РОВСа в свою очередь были в восторге и от журнала, и от его редактора. Орехову дали в качестве служебного редакционного помещения одну комнату в помещении РОВСа (впоследствии редакция перешла в его собственную маленькую квартиру в парижском предместье Аньер).

Дело расширялось, а сам Орехов пошел в гору. В 1927 году он добровольно оставил должность секретаря Галлиполийского союза, передав ее полковнику С. А. Мацылеву (впоследствии перешедшему на должность генерального секретаря РОВСа), и всецело отдался своему детищу, которое регулярно выходило два раза в месяц и расходилось по всем углам тех стран, где осели бывшие офицеры царской и белых армий.

Постепенно Орехов из фанфаронствующего мальчишки превратился в довольно крупную фигуру антисоветского зарубежья. Он бывал гостем в замке Шуаньи и вел беседы с великим князем Николаем Николаевичем; имел возможность лицезреть «государя императора Кирилла»; находился в постоянном контакте с Врангелем, Деникиным, Кутеповым, Миллером; поддерживал связь с бывшими послами Временного правительства, финансистами, промышленниками, общественными деятелями правого сектора. В РОВСе он был вполне своим человеком и сумел угодить и «старикам» царской армии, и «штабс-капитанской молодежи» белых армий. Его видели всюду: на молебнах, панихидах, торжественных

собраниях, совещаниях, докладах, банкетах, где шумели и гремели эмигрантские витии правого толка.

Зато он открещивался как от чумы от «левого» сектора белой эмиграции — от милюковщины и керенщины.

И милюковцев, и керенцев он считал предтечами большевизма и ненавидел их самой лютой ненавистью, которую только можно себе представить. «Левые» платили ему тем же: на страницах милюковских «Последних новостей» сотрудники этой газеты изощрялись в издевательствах и свистопляске вокруг «Часового», а попутно и всего РОВСа, который считал этот журнал своим официозным органом. Годами шла эта перепалка. С обеих сторон слышался скрежет зубов. Только война и вызванное ею закрытие и милюковской газеты, и ореховского журнала положили конец этому внутриэмигрантскому словесному и печатному побоищу.

В 1937 году французский политический корабль снова накренился «влево»: к власти вновь пришли радикалы и социалисты. Обстановка для воинствующих элементов правого сектора белой эмиграции складывалась неблагоприятно. Орехов перевел редакцию и издательство своего журнала в Бельгию и обосновался в Брюсселе, где и застала его война. В Париже он бывал теперь лишь наездами.

В последние предвоенные годы он в своих антисоветских неистовствах делал ставку на Гитлера, видя в нем будущего «бескорыстного» помощника белого офицерства в деле «священной борьбы против большевизма».

Грозные события, неожиданно разразившиеся в июне 1941 года, казалось, задели и этого неукротимого антисоветского активиста. Казалось, что удар грома заставил даже и людей этой категории проснуться и понять бездну своего морального падения.

Увы… Это только казалось!

В первые дни после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз я случайно столкнулся с ним на Елисейских полях, одном из самых фешенебельных проспектов мира, заполненном в предвоенные годы тысячами мчавшихся автомобилей всех марок и десятками тысяч элегантных, одетых по последней моде пешеходов обоего пола. Сейчас он был пуст: ни одного автомобиля, несколько велосипедов и редкие прохожие. Шел второй год гитлеровской оккупации Франции.

Я окликнул Орехова. До войны мне приходилось неоднократно бывать у него и лечить членов его многочисленной семьи. Я уже знал, что «Часовой» закрыт в Бельгии по распоряжению гестапо. Вид у Орехова был совершенно

подавленный. Стараясь избежать иронии в голосе, я спросил его: — Не кажется ли вам, Василий Васильевич, что ставка, которую вы и ваши единомышленники делали на Гитлера как на будущего «спасителя России», была тяжелой и, простите меня за откровенность, преступной ошибкой?

— Да, это так…

Он низко опустил голову и добавил: — Мы ошиблись, мы ужасно и непоправимо ошиблись… Гитлер — не союзник. Он — наш враг. Нам нужна великая, единая, неделимая Россия. Ему — уничтожение России и уничтожение славянства. Но Россия выдержит и это испытание. Меня ни на минуту не покидает вера в то, что Россия непобедима. Как это произойдет, я не знаю, но победить Россию ему не удастся…

Мы шли по пустынному проспекту. Я продолжал: — А не кажется ли вам, что ваша ошибка идет гораздо дальше и что двадцать лет подряд вы и ваши единомышленники толкли воду в ступе, грезя о так называемой «будущей великой, единой, неделимой» и ведя борьбу с теми, кого вы считали расхитителями русской земли? Выходит ведь как раз наоборот: величие, единство и неделимость Российской державы сейчас с оружием в руках защищают вместе со всем русским народом те, которых вы считали своими врагами?..

— Выходит, что так… — тихо ответил он и еще ниже опустил голову.

Больше мне не пришлось его видеть. Но в первые послевоенные годы я узнал, что эти проблески каких-то патриотических настроений, смутных, неясных и робких, рожденных разразившейся над родиной грозой, и этот намек на какое-то перерождение традиционной эмигрантской идеологии коснулись Орехова только поверхностно. Подлинного перерождения, которое в эти годы наступило у тысяч эмигрантов, с Ореховым не произошло. Сейчас же после победы он поехал в Лондон, где в его старые опустевшие мехи было влито новое антисоветское вино. Вернулся он из Англии тем, чем был все 20 лет до войны. Об ошибках больше не было речи. Борьба «до победного конца» возобновилась, и труба «Часового» протрубила поход.

В настоящей главе мне неоднократно приходилось упоминать, что в 1920–1941 годах правой части эмиграции пришлось пережить очень много разочарований. Поэтому ряды воинствующего контрреволюционного офицерства медленно, но верно редели. Одна за другой лопались как мыльные пузыри диверсионные вылазки кутеповских, миллеровских и туркуловских агентов; «вожди» один за другим сходили в могилу;

«весенние походы» превратились в сплошной анекдот. Надежды на «внутренний взрыв» в Советском Союзе рухнули. Воздушный замок, который выстроила эта часть эмиграции, дал такие трещины, что эмигрантской мысли далее оставаться в нем стало невозможно.

Очень многие из числа воинствующих «активистов» прозрели, частично или полностью. Отсюда их отход и от РОВСа, и от других антисоветских организаций.

К 1941 году организации эти растеряли больше половины своих членов, отмежевавшихся от всякой антисоветской политики. Но другая часть продолжала бряцать оружием и трубила во все трубы о том, что «есть еще порох в пороховницах». Когда же в международных отношениях наступали острые моменты, эта часть поднимала голову, бросалась во все авантюры, которые при данной ситуации были возможны, и, не добившись ровно ничего, отступала «на заранее приготовленные позиции», терпеливо выжидая, когда международная обстановка сложится снова так, что станет возможной новая реализация бредовых идей «крестового похода против большевизма».

В середине 30-х годов разразилась гражданская война в Испании. Нужно ли говорить, что сотни этих воинствующих активистов очертя голову ринулись в качестве добровольцев в мятежные войска генерала Франко. Эти профессионалы от контрреволюции составили во франкистских войсках целое подразделение, просуществовавшее до конца гражданской войны. Многие из них сложили там свои головы. Описаниями их «подвигов» были полны в те годы страницы «Часового».

Наступил 1940 год. Началась финская война.

Новое волнение в рядах «активистов». На этот раз война идет на советской границе. Вот когда начнется наконец настоящий «весенний поход», которого 20 лет ждут «рыцари белой мечты»!

В штабе РОВСа — оживление. Совещания старших начальников следуют одно за другим. Канцелярия штаба заполняется бывшими офицерами белых армий — шоферами, рабочими с заводов Рено и Ситроэна, официантами парижских ночных кабаков, грузчиками, ночными сторожами. По сто раз в день слышится один и тот же вопрос: — Когда же начнется «русская акция»?

Председатель РОВСа генерал В. К. Витковский торжественно заявляет, что им отправлена главнокомандующему финской армии Маннергейму докладная записка, в коей он почтительно доводит до сведения фельдмаршала, что по его первому зову российское зарубежное воинство готово ринуться в бой с большевиками.

Генеральный секретарь РОВСа полковник С. А. Мацылев в свою очередь развивает перед собирающимися в заведуемой им канцелярии «рыцарями» идею «короткого удара по Петрограду» (так в эмиграции продолжали называть Ленинград), после чего в этом городе будет образовано под охраной финских штыков общероссийское правительство, которое и призовет русский народ к свержению Советской власти.

Посетители внимательно слушают эти разглагольствования ровсовских стратегов и, придя домой, начинают укладывать рюкзаки и чемоданы.

Но ждать им приходится долго.

Фельдмаршал не удостаивает Витковского ответом, но делает при этом следующее высказывание, которое через ряд посредников доходит до улицы Колизе: — Я веду борьбу не с красными русскими, а с русскими вообще. В услугах белых русских не нуждаюсь.

В свою армию их не пущу.

Об этом заявлении мне впервые стало известно из уст Мацылева, которого я хорошо знал еще до крымской эвакуации. Несмотря на свое положение, он весьма скептически относился ко всем беснованиям «рыцарей белой мечты» и в минуту откровенности признался с глазу на глаз, что, по его мнению, вся деятельность РОВСа в конечном счете является лишь «толчеей воды в ступе» и больше ничем. Сам же он, по его словам, принимал участие в этой толчее только потому, что вне этого омута ему «некуда было податься» и что поэтому ему ничего другого не оставалось делать, как «плыть по течению», высказывать штампованные «белые мысли», разрабатывать стратегические планы борьбы с «мировым злом — коммунизмом» и быть постоянным и неизменным участником ровсовских молебнов, панихид, торжественных собраний и банкетов.

Высказывание Маннергейма вызывает в штабе РОВСа смущение. Полученного щелчка по носу скрыть нельзя. Ежедневные докучливые посетители канцелярии на улице Колизе расходятся понуря голову. Канцелярия пустеет.

Но вот подошел грозный 1941 год. Значительная часть вчерашних антисоветских активистов и недавних поклонников Гитлера прозрела. Многие из них совершенно порвали с традиционной контрреволюционной психологией и четко заняли патриотическую позицию.

Однако остались и неисправимые. В первую очередь весь командный состав РОВСа и других сходных с ним по духу организаций.

Лишь только весь мир облетело телеграфное сообщение о

гитлеровском вторжении в Советский Союз, как начальник РОВСа Витковский обратился с призывом ко всем членам этой организации включиться в начатую Гитлером «священную борьбу» и вступать в ряды германской армии.

Десятки тысяч бывших подчиненных генерала Витковского во Франции, генерала Абрамова в Болгарии, атамана Краснова в самой Германии и других «военачальников» отвергли с проклятиями этот облеченный в форму приказа призыв.

Но некоторые с восторгом отозвались на него.

В Париже запестрели эмигрантские фигуры в немецкой военной форме с повязкой на руке и напечатанным на ней словом «переводчик» или в коричневой и черной форме вспомогательных германских военных организаций — военно-инженерной (так называемой «организации Тодта») и военно-транспортной (так называемой «организации Шпеера»). Незримое и неслышимое слово «измена» повисло в воздухе. Произнести это слово вслух никто не отваживался: Париж был полон агентами гестапо.

Одним или двумя годами позже начальники отделов РОВСа на Балканах приступили с благословения Гитлера и по прямому его указанию к формированию самостоятельного крупного военного соединения — так называемого русского «охранного корпуса», предназначенного для борьбы с югославской партизанской Народно-освободительной армией. Возглавил корпус генерал Штейфон, бывший начальник штаба генерала Кутепова. Весь командный его состав, сержанты и рядовые настояли из русских эмигрантов, живших в Югославии и Болгарии.

Корпус этот зверски расправлялся с югославскими партизанами, выступившими с оружием в руках против гитлеровских полчищ, оккупировавших Югославию, и оставил по себе в югославском народе такую зловещую память, которую, по выражению этих партизан, стереть сможет лишь сотня грядущих лет.

В предыдущем моем повествовании я рассказал о политической деятельности так называемого правого сектора русской послереволюционной эмиграции. Описал я ее такой, какой она прошла перед моими глазами за время пребывания в Париже с 1926 по 1947 год. Само собой разумеется, что этот мой рассказ не претендует на исчерпывающую полноту. Я и не задавался подобной целью. Совершенно невозможно перечислить и нарисовать все политические фигуры этого правого крыла, промелькнувшие на парижском горизонте в описываемые годы. Столь же невозможно перечислить все мелкие организации, группы, союзы, объединения и общества, которые быстро

возникали и быстро исчезали на этом горизонте. Да вряд ли это представило бы какой-либо интерес для читателя.

Упомяну еще вскользь, что в те годы в Париже подвизался украинский «самостийник» Петлюра, убитый на парижской улице выстрелом из револьвера эмигрантом Шварцбродом, мстившим ему за массовое истребление евреев на Украине в 1918–1919 годах. Суд над Шварцбродом превратился в сенсационный процесс и кончился оправданием подсудимого.

В те же годы подвизался в Париже и на юге Франции пресловутый белогвардейский казачий генерал Шкуро, стяжавший в годы гражданской войны громкую известность на юге России своими убийствами, разбоем, грабежами и насилиями.

Доживал свои дни и умер в Париже известный анархист Махно.

Всех не перечтешь.

Правый сектор белой эмиграции являлся численно главной составной ее частью. Именно он «задавал тон» политической деятельности эмиграции в течение первой четверти века, прошедшей с момента Октябрьской революции. Но было бы ошибкой думать, что общий облик и мышление этого массива людей, а равно и других составных частей эмиграции оставались неизменными. Об этом я уже упоминал и к этому вопросу мне неоднократно придется возвращаться в дальнейшем изложении.

Основной движущей силой в расслоении эмиграции и в постоянном изменении психологии ее большинства (а в активных ее группировках также и в перемене тактики) было общее политическое развитие в мире, в частности — и в особенности! — рост могущества и международного авторитета Советского государства. Уже крымская катастрофа 1920 года, а одним-двумя годами позже и последние «белые» катастрофы эпохи гражданской войны открыли глаза отдельным эмигрантам на истинное положение в Советской России и во всем мире и привели к полному краху их белой идеологии. Но в те годы число таких прозревших было еще ничтожно. Следующим этапом было официальное признание Советского государства рядом европейских и неевропейских держав. У значительного числа эмигрантов окончательно рухнули надежды на возобновление иностранной интервенции. Отсюда отход от политиканства, приносившего этой категории эмигрантов только разочарования в их безнадежных и безрассудных мечтаниях.

Очень большое значение для сдвигов белоэмигрантской психологии, в частности в военном секторе, имел рост военного потенциала Красной Армии, неуклонное ее совершенствование и

быстро возрастающая техническая мощь. Последнее признавали даже многочисленные ее недоброжелатели из числа специалистов — иностранные и эмигрантские. Не укрылся от взора очень многих ранее реакционно настроенных белоэмигрантов и постепенный рост международного авторитета Советского Союза, а также его нарастающее экономическое могущество, сколь бы ни старались неисправимые «пророки» доказывать противное.

Тревожное международное положение середины и конца 30-х годов, возможность европейской или мировой войны вызвали у очень значительной части эмиграции стремление к полному пересмотру своих позиций в вопросе о том, какое место она должна занять в случае военного конфликта, в который был бы вовлечен и Советский Союз. Отсюда создание в Париже новой организации — Дома оборонца.

В Дом оборонца входили эмигранты, провозгласившие во всеуслышание лозунг безоговорочной защиты Советского Союза всеми доступными им способами в случае нападения на него извне. В эту организацию вошли и многие младороссы, не отрекаясь при этом от своего лозунга «Царь и советы».

Все без исключения «оборонцы» были арестованы французскими властями в день объявления войны (2 сентября 1939 года) и отправлены как «подозрительные» в административном порядке в один из концентрационных лагерей Юго-Западной Франции. Часть его узников по распоряжению германского командования была освобождена оттуда вскоре после разгрома Франции в 1940 году. Все же остальные «оборонцы» поплатились за свой патриотический порыв почти пятилетним пребыванием в петеновских тюрьмах и лагерях, из которых вышли живыми далеко не все. Многие из них тремя годами позже выехали в Советский Союз в качестве советских граждан.

Говоря об эволюции эмигрантской политической мысли, я должен упомянуть еще об одной организации, носившей название Союза возвращения на Родину. Она появилась в начале 20-х годов и существовала долго, но охватывала сравнительно ограниченный круг эмигрантов.

В заключение этой главы мне остается сказать несколько слов о «левом» секторе эмиграции, далеко не столь многочисленном по сравнению с правым и в свою очередь делившемся на ряд отдельных групп. Наиболее сплоченными и многочисленными в нем были те круги, состоявшие почти исключительно из интеллигенции, которые группировались вокруг П. Н. Милюкова — лидера дореволюционной конституционно-

демократической (кадетской) партии (после Февральской революции переименованной в республиканско-демократическую).

Прошлое Милюкова всем известно. Крупный буржуазный ученый-историк, он в последние предреволюционные годы выдвинулся на политической арене как один из главарей вышеназванной партии и в качестве такового вошел на короткий срок в состав Временного правительства. Его роль в событиях лета 1917 года достаточно известна, и нет необходимости на этом останавливаться.

При каких обстоятельствах он попал в эмиграцию, я не знаю, но уже в самом начале 20-х годов он занял одно из первых мест среди ее «верхушки», именно «левого» крыла. Приблизительно тогда же он начал издавать в Париже ежедневную газету «Последние новости», просуществовавшую 19 или 20 лет — до гитлеровской оккупации Франции и бегства самого Милюкова из Парижа.

В эмиграции Милюков остался тем же, чем он был во все предыдущие периоды своей политической карьеры. Он рассматривал Октябрьскую революцию как незаконный захват власти меньшинством против якобы уже выявленной воли большинства и слепо верил, что «будущая Россия» станет буржуазно-демократической республикой по западноевропейскому типу. Он допускал возможность «эволюции большевизма до уровня западноевропейского парламентаризма» и был противником «резких скачков» и контрреволюционных переворотов, во что, как известно, верило правое крыло эмиграции.

Белую идеологию он презирал до глубины души и все 20 лет ежедневно издевался и глумился над ее апологетами.

В дореволюционном прошлом он придерживался взгляда, что «Россию надо было спускать на тормозах», и в тупоумии тогдашней правящей клики, не сумевшей это сделать, видел главную причину революции. Спасение России он видел в либерально-соглашательской политике буржуазии по отношению к царскому правительству, в его «обуздании» и переделке на конституционный западноевропейский манер. Ведя все 20 лет на страницах своей газеты антисоветскую пропаганду, он рассчитывал, что и большевиков рано или поздно можно будет «обуздать», после чего начнется постепенная переделка Советского Союза в парламентарную буржуазную республику.

Но, ведя борьбу с Советской властью, он не менее усердно воевал все 20 лет и с правым сектором эмиграции. Все, что не вязалось с идеологией столь любезного его сердцу

парламентаризма, он считал плесенью и нафталином.

Увы! Ни его личные таланты, ни эрудиция ученого и историка, ни долголетняя политическая деятельность, ни еще более долголетний жизненный стаж не помогли ему ощутить запах той же плесени и нафталина, который исходил от его собственных высказываний.

Он негодовал, когда общественное мнение Советского Союза бесповоротно причислило его к тем людям, которые жаждали, чтобы реки повернулись вспять. Реставраторами он считал только правых эмигрантов, своего же реставраторства, несколько иного покроя, он не замечал и с прежней верою в будущую Российскую парламентарную буржуазно-демократическую республику сошел в могилу в 80-летнем возрасте.

Необходимо отметить, что начавшаяся 22 июня 1941 года трагедия если и не произвела полного переворота в образе мыслей угасавшего лидера либерально-буржуазного крыла эмиграции, то во всяком случае оставила в нем глубокий след. Результатом этого явилось его обращение к эмиграции с призывом бороться с агрессором всеми доступными средствами. В широких массах эмиграции, и в частности в правом ее крыле, это обращение прошло малозамеченным, но отрицать его роль в организации среди эмигрантов посильного сопротивления гитлеровцам нельзя.

«Последние новости», как и гукасовское «Возрождение», играли очень большую роль в жизни послереволюционной эмиграции. Для милюковцев улица Тюрбиго, где помещалась редакция их газеты, была в некотором роде священным местом. Авторитет ее создателя и редактора Милюкова для них был выше всех других политических авторитетов. Газета выходила ежедневно в течение 20 лет и имела вид «большой» газеты дореволюционной эпохи с «ведущими» передовицами, подробной информацией на первой странице о Советском Союзе, рядом обширных статей с пророчествами, касающимися СССР, резкой критикой действий Коммунистической партии и Советского правительства, хроникой советской жизни. Далее шли дела внутриэмигрантские: очередная грызня, препирательства и яростная полемика с «Возрождением»; издевательские статьи, заметки и фельетоны, касающиеся политической жизни правого сектора эмиграции; обширная и самая подробная хроника эмигрантской, и в частности парижской, жизни; отчеты о докладах, семинарах, собраниях, банкетах, панихидах я т. д.; призывы благотворительных организаций; письма в редакцию и многое другое.

Большое место отводилось информации о международных

событиях и поменьше — хронике французской жизни, которой, как правило, эмигранты не интересовались. В газете помещались также еженедельные обзоры литературы и искусства, хроника художественной, музыкальной и театральной жизни в СССР и за рубежом.

Последние страницы отводились объявлениям, которые как зеркало отражали повседневный эмигрантский быт.

На чьи деньги издавались «Последние новости»?

Ответить на этот вопрос трудно, но, поскольку среди широких кругов эмиграции была хорошо известна связь редакции газеты с международными масонскими и сионистскими финансовыми кругами, можно с большой вероятностью предполагать, что деньги на ее издание шли именно из этого источника. Милюков сам в день своего 75-летнего юбилея подчеркивал, что он связан узами сердечной и неразрывной дружбы с еврейскими кругами. О масонстве он, конечно, умалчивал ввиду полусекретного характера этой организации.

Милюковцы были наиболее сплоченной и многочисленной группой в либерально-буржуазных кругах русского зарубежья. Но группа эта не была единственной. Одним из ее вариантов были бывшие либералы, группировавшиеся в Берлине вокруг газеты «Руль», издававшейся в 20-х годах и редактировавшейся бывшим единомышленником Милюкова, одним из лидеров дореволюционной кадетской партии — Гессеном.

«Руль» выходил в Берлине с десяток лет, может быть немного больше. В первые годы третьего десятилетия нашего века, когда центром политически активной части эмиграции был Берлин, «Руль» можно было с полным правом считать ведущим печатным органом эмигрантской либеральной буржуазной прессы. Милюков в течение короткого времени принимал в этом издании деятельное участие. Но вскоре он разошелся с Гессеном по ряду идеологических вопросов и основал в Париже собственную газету, о которой была речь выше. Пальма первенства перешла к «Последним новостям». К тому же в середине 20-х годов эмигрантский политический центр переместился из Берлина в Париж. «Руль» потерял свое былое значение. В начале 30-х годов, с приходом Гитлера к власти, он прекратил свое существование.

Говоря о «левом» секторе, нужно упомянуть еще о двух группировках, занимавших крайний его фланг. Должен, однако, сделать оговорку, что термин «группировка» очень мало подходит к тому, о чем я буду говорить.

Речь идет о зарубежных эсерах и меньшевиках.

Численность этих партий была в зарубежье такова, что, по крылатой поговорке, имевшей хождение среди эмигрантов,

каждую из них можно было целиком поместить на одном диванчике.

Тем не менее малочисленность не помешала эсерам расколоться на множество фракций, перечень которых, полагаю, не представит для читателя никакого интереса.

Отмечу только, что одна из их фракций превратилась в 20-х годах в партию с громким названием «Крестьянская Россия». Главари ее предпринимали попытки возобновить террористическую деятельность на территории Советского Союза.

«Партийное окружение» самого Керенского состояло, по-видимому, лишь из нескольких его личных друзей.

Это — все. Впрочем, не вполне все. Имелось еще нечто весьма существенное — деньги. Если с числом членов у эсеров, и в частности в группировке Керенского, дела обстояли весьма неблагополучно, то в вопросах материального обеспечения положение было совсем иное.

Бывший «верховный», бежавший в октябре 1917 года за границу в костюме сестры милосердия, сумел, однако, в бытность незадачливым главой Временного правительства очень хорошо решить задачу собственного своего благополучия. Он перевел в свое время за границу суммы, вполне обеспечившие его на всю жизнь. Не занимаясь никаким производительным трудом, Керенский два десятка лет безбедно жил в Париже, а во время гитлеровской оккупации в последнюю минуту, чуть ли не в парусной шхуне, шарахнулся за океан в благословенную для всех антисоветских политических мертвецов Америку.

На эмигрантских сборищах он почти не показывался, так как это было бы для него не вполне безопасно. Я уже неоднократно отмечал, что ненависть к нему со стороны едва ли не всех без исключения эмигрантов не знала границ. Поэтому при наличии отдельных экзальтированных и неуравновешенных «активистов» его легко мог настигнуть такой же конец, как Петлюру или кадета Набокова, погибшего в Берлине в первые годы после крымской эвакуации от пули одного из «активистов» (пуля эта, как выяснилось на судебном процессе, первоначально предназначалась для Милюкова).

Деньги у него, как я сказал, были. А раз были деньги, значит, как это часто бывало в эмиграции, появилась и новая газетка под названием «Дни». Если про эсеровскую партию говорили, что ее целиком можно было усадить на один диванчик, то про «Дни» с не меньшим правдоподобием передавали из уст в уста, что единственными читателями ее были редактор и наборщик очередного номера.

Выходила она раз в неделю. Редактором был сам Керенский.

Газетка была малого формата. Все столбцы в ней занимали кликушеские высказывания ее основателя, издателя и редактора и нескольких его единомышленников.

Не имея ни одного подписчика, Керенский рассылал ее бесплатно по всем адресам, которые находил в отделе объявлений «Возрождения», «Последних новостей», берлинского «Руля», софийской «Руси», белградского «Нового времени» и других эмигрантских газет. Но и это не расширило круга ее читателей.

Все вышесказанное в значительной степени можно отнести и к меньшевикам. Во главе одной из их группировок стояли Либер и Дан. Они оказались за рубежом тоже не без материальных средств. Отсюда рождение еще одной газетки — «Социалистический вестник».

В остальном да разрешит мне читатель не повторяться: все сказанное о «Днях» целиком можно отнести и к «Социалистическому вестнику».

Почти 30 лет, образно выражаясь, Керенский пролежал в политическом гробу. Но вот кончилась война всемирная. Начался новый вид войны, дотоле не существовавший в природе, — война «холодная». Смышленый американский дядюшка Сэм среди прочего нужного ему материала вспомнил и о русских политических мертвецах.

Он коснулся их чудодейственными электродами, притом не просто какими-нибудь, а золотыми, и пропустил через них гальванический ток. Мертвецы встали из гробов. Среди них был и Керенский. Ему было уже под 70 лет. Он заговорил. Было это в канун моего отъезда из Парижа.

Бывший «верховный» и глава Временного правительства в торжественной и декларативной форме заявил «всем, всем, всем», что ошибкой послереволюционной эмиграции была ее разрозненность и непримиримость друг к другу, в чем грешен и он сам; что теперь он осознал свою ошибку, протягивает руку всем эмигрантам без исключения, начиная с монархистов и кончая анархистами, и зовет эмиграцию на «последний и решительный бой» с Советской властью.

Не думаю, чтобы кто-либо пожал эту протянутую руку. В начале 50-х годов я, находясь уже в СССР, узнал из газет и радиопередач, что Керенский приезжал из Америки в Западную Европу и снова в той же кликушеской форме заклинал все «живые мировые силы» идти на большевизм крестовым походом. Но тщетны подобные призывы…

Мое описание политической активности эмиграции в 1920–1547 годы было бы неполным, если бы я обошел молчанием

несколько маячивших на эмигрантском горизонте фигур, которые нельзя уложить в рамки ни правого, ни «левого» сектора. О некоторых я скажу. Нельзя также обойти молчанием деятельность тех кругов эмиграции, которые, резко и навсегда порвав с прежней идеологией, заняли незадолго до войны четкую просоветскую позицию и создали в Париже Дом оборонца.

Деятельность этих кругов настолько полно, разносторонне и объективно описана в труде под названием «По тюрьмам и лагерям Франции», принадлежащем перу С. И. Руденко, бывшего петербургского адвоката и бывшего эмигранта, вернувшегося в 1947 году в СССР и поселившегося в Саратове, что мне нечего добавить к материалам этих мемуаров. К ним я и отсылаю читателя.

Среди политических «одиночек», которых невозможно уложить в рамки какой-либо определенной группировки, необходимо прежде всего упомянуть А. И. Деникина, В. Л. Бурцева и Г. А. Алексинского.

В начале 1920 года после разгрома южных белых армий Деникин сдал командование Врангелю и покинул навсегда русские берега на английском миноносце.

Почти 15 лет он не проявлял политической активности, если не считать этой активностью работу над трехтомными мемуарами, опубликованными в Париже в начале 30-х годов.

Популярность Деникина среди белого офицерства померкла сразу после поражения его армии. Многие считали его прямым виновником новороссийской катастрофы.

Изредка в эмигрантских разговорах проскальзывали слухи о том, что английское правительство предложило ему крупную пожизненную пенсию; что какие-то венгерские магнаты приглашают его быть пожизненным гостем в их замках; что некоторые иностранные разведки предлагали ему сотрудничать с ними и что все эти предложения он отклонил.

Жил он в одном из предместий Парижа, на бесчисленных эмигрантских сборищах никогда не показывался и никак себя не проявлял. О нем эмиграция фактически забыла и списала его со своего счета.

Неожиданно для всех в середине 30-х годов Деникин заговорил, но столь необычным в эмиграции языком, что привел в крайнее замешательство весь правый сектор и своих бывших соратников и подчиненных.

В целой серии статей и докладов он проводил ту мысль, что каждый эмигрант, сохраняя свою непримиримость по отношению к Советской власти в мирное время, должен в случае возникновения военного конфликта в Европе безоговорочно

встать на защиту этой власти, которая вместе со всем народом будет защищать целостность территории Русского государства и охранять честь и достоинство русского имени. В то же время он заявлял, что сам он продолжает оставаться непримиримым врагом Советской власти и как до предполагаемой войны, так и после нее считает «патриотическим долгом» борьбу с этой властью.

Столь сумбурное понимание «патриотизма», высказанное вслух, произвело целый переполох в кругах эмиграции.

Милюковцы тотчас же объявили Деникина «своим», с оговоркой, что они далеко не во всем согласны с маститым «главнокомандующим». Страницы «Последних новостей» запестрели отчетами о его публичных докладах и репортерскими заметками о встречах и беседах с ним.

Правые, в смущении обходя молчанием вопрос о защите Советской власти в военное время, напирали на его непримиримость к большевикам в мирное время и на этом основании тоже никак не соглашались упустить его из своего лагеря. Началась перепалка, вскоре перешедшая в грызню. Деникинское направление в политике сделалось в эмиграции довольно модным.

С началом оккупации Франции Деникин, которого гитлеровцы зачислили в число своих прямых врагов, уехал в Америку. Он снова заговорил после Победы, но уже совсем в другом тоне — в том самом, в каком говорил в 1917–1920 годах, во время гражданской войны на юге России.

Контрреволюционный круг Керенский — Деникин, десятки лет остававшийся разорванным, замкнулся теперь уже окончательно.

Совсем особое положение в эмиграции занимал В. Л. Бурцев, тот самый Бурцев, который эмигрировал еще во времена царского самодержавия и который получил широкую известность и в России, и за границей как «специалист по разоблачениям провокаций», в частности по делу Азефа, одного из лидеров партии эсеров.

В 1920 году, после краха врангелевской армии, Бурцев был редактором единственной в те времена эмигрантской газеты «Общее дело». Газета эта, в которой, кроме него самого, не было, кажется, ни одного сотрудника, выходила в Париже от случая к случаю. Делами хроникерскими и международными не занималась. Все четыре ее страницы были заполнены почти исключительно высказываниями самого Бурцева. Содержание статей определялось названием газеты — «Общее дело»: это соединенные усилия всего антисоветского зарубежья в борьбе с

Советской властью.

Особого успеха в эмиграции ни сам Бурцев, ни его газета не имели. Для правых он был слишком «левый», для «левых» — слишком правый, а вообще для всех вместе, строго говоря, никакой, стоящий совершенно особняком.

О нем заговорили в конце 20-х годов, когда он, уже перешагнув за 70 лет, взялся за расследование дела Кутепова, увидав в нем подходящий объект для выявления своих талантов по части разоблачений. С этим расследованием он зашел в совершенные дебри и обвинил целый ряд лиц правого сектора в провокации без достаточных к тому оснований. Он был привлечен ими к суду за клевету и был вынужден признаться в своей неправоте.

О нем вскоре все забыли, а «Общее дело» умерло естественной смертью еще при его жизни.

Таким же одиночкой был и Г. А. Алексинский, дальний родственник хирурга И. П. Алексинского, о котором упоминалось в начале настоящей главы. Г. А. Алексинский не входил ни в одну из эмигрантских политических партий, не участвовал в эмигрантских диспутах, не появлялся на эмигрантских сборищах. Бывший член РСДРП, а затем ренегат — один из видных «отзовистов», накануне Октябрьской революции он выступил с отъявленной клеветой на В. И. Ленина. А будучи в эмиграции, как ни в чем не бывало выдавал себя за его друга.

Мне довелось с ним познакомиться в 1946 году в доме А. М. Литвинова, моряка, некогда капитана одного из судов Российского общества пароходства и торговли, а после войны советского гражданина.

Алексинский бежал за границу из Советской России в 1918 году. В эмиграции о нем знали и говорили очень мало, а если изредка и вспоминали, то всегда прибавляя к его имени эпитет сотрудника французского министерства внутренних дел. Так ли это было в действительности, я не знаю, но не помню ни одного эмигрантского разговора, в котором при упоминании этого имени кто-либо из присутствующих не спросил бы: — Это какой Алексинский? Хирург или тот, что служит во французской полиции?

Возможно, что его путали с его сыном, действительно сделавшим себе карьеру во французской полиции.

Кое-кто из правых эмигрантских лидеров изредка любил козырнуть его именем.

— Ведь вот был Алексинский большевиком, да еще каким! И в конце концов образумился, поправел, стал пай-мальчиком!

По его уверению, помимо обширного личного архива у него

был партийный архив с числом документов, превышавшим несколько сот, преимущественно периода Государственной думы, членом которой он состоял во фракции большевиков. В этом архиве якобы имелась также серия документов, относящихся к делу Азефа и заграничной деятельности Троцкого. Где хранился архив в довоенные годы и в годы оккупации, он никому не говорил, но опись документов охотно показывал всем желающим из своего окружения. Ценность этого архива в его глазах была очень велика.

После Победы и возвращения в Париж из южной, неоккупированной зоны Франции Алексинский задумал продать свой архив и начал подыскивать покупателя.

Окружающим он говорил: — Я стар, очень стар… Не сегодня-завтра я лишусь трудоспособности как журналист, и что тогда мне останется делать? Средств к существованию у меня нет никаких. Я должен подумать немного и о себе. Продажа архива даст мне возможность кое-как закончить свои дни на французской земле…

Незадолго до моего отъезда мне пришлось услышать, что покупатели этого архива нашлись. Нашлись они, конечно, за океаном. Какое употребление сделает или уже сделал из этой покупки предприимчивый дядюшка Сэм — сказать затрудняюсь.

К возвращению бывших эмигрантов на родину Алексинский относился явно саркастически. Разговор с репатриантами он начинал обычно так: — Что? По родным березкам соскучились да по волжскому песочку? Ну что ж… Поезжайте, поезжайте, только как бы березки и песочек боком вам не вышли.

В 1947 году он предсказывал, что через полгода или самое большее через год в Европе вспыхнет война и что Франция окажется в стане врагов Советского Союза.

— Вас, новоиспеченных советских граждан, не успевших уехать, они, конечно, бросят на произвол судьбы.

Французы заберут вас в концлагеря. Что же! Придется мне за всех вас хлопотать. Пойду и скажу им: «Ну чего вы их держите? Какие они советские? Просто погорячились люди, да сдуру и взяли советские паспорта… С тоски потянуло их на берега Невы, Камы, Дона… Это не большевизм. Для Франции они никакой опасности не представляют…» Что в этих высказываниях было искренним, а что пустой болтовней или попыткой как-то припугнуть отъезжающих — трудно сказать. Но эти разговорчики дали повод эмиграции лишний раз повторять, что Алексинский был связан какими-то нитями со Вторым бюро.

Жена его, Т. И. Алексинская, в третьем десятилетии нашего века играла в общественной жизни парижской эмиграции

некоторую роль, хотя и не очень значительную: она возглавляла один из двух эмигрантских союзов сестер милосердия (а именно «левый» союз). Тяжелая болезнь органа слуха, приведшая к полной глухоте, заставила ее отказаться от общественной работы и уйти в личную жизнь.

От этого брака в первые годы эмиграции в семье Алексинских (живших тогда в Швейцарии) родился сын Григорий (Григося, как его звали в эмиграции). В 40-х годах он проделал столь головокружительную карьеру во французской полиции (явной), что привлек к себе пристальное внимание очень многих эмигрантов, заподозривших, что подобное служебное восхождение не могло бы произойти, если бы за ним самим или за его отцом не числилось каких-либо совершенно особых заслуг перед французским государством. А так как явных заслуг не было видно, то эмигрантское общественное мнение безапелляционно решило, что эти заслуги — из числа не подлежащих оглашению.

Григося по крови был русским, по рождению — швейцарцем, по воспитанию — французом. Женился на англичанке. По-русски говорил совершенно чисто, без иностранного акцента. С русскими эмигрантами охотно вступал в связь и очень часто оказывал им в силу своего высокого положения мелкие, средние и крупные услуги. Это было уже в годы войны и оккупации. Начав службу с мелких должностей, он, будучи еще совсем молодым человеком, с необыкновенной быстротой продвинулся вверх по служебной лестнице и к моменту окончания войны занял ведущий пост в лионской префектуре полиции, а вскоре перешел на одну из самых ответственных должностей в парижской префектуре.

Служебное продвижение во Франции лиц иностранного происхождения — явление крайне редкое. Что же касается продвижения в полицейском ведомстве, то на него можно смотреть как на нечто невиданное и неслыханное. Тем не менее с Григосей это произошло.

После Победы Григося получил новое ответственное задание французского министерства внутренних дел: объехать все лагеря, в которых находились советские военнопленные, якобы для выяснения желающих вернуться на родину. Едва ли можно сомневаться в том, что не только этим был занят столь высокий чин полиции…

Заканчивая главу о политической деятельности эмиграции, я упомяну о вышедших за рубежом в 20-х и 30-х годах мемуарах ряда эмигрантов, занимавших до революции или в годы гражданской войны высокое положение.

Историческая ценность подавляющего большинства их воспоминаний в значительной степени аннулируется присущим

почти всем им, за редким исключением, отсутствием объективности в оценке описываемых событий.

Я говорю о мемуарах политических деятелей — участников белого движения, царедворцев и т. д. К мемуарам неполитического характера эта оговорка не относится: таковы, например, вышедшие отдельной книгой в середине 30-х годов воспоминания композитора Гречанинова и некоторые другие.

Конечно, трудно ожидать объективности в писаниях людей, вознесенных некогда судьбой на вершины государственного и военного аппаратов, низвергнутых с этих вершин и очутившихся за рубежом у разбитого корыта.

Мне уже приходилось упоминать об обширных мемуарах Деникина, Врангеля и Штейфона. С ними схожи воспоминания генерала Слащева, Сахарова и других.

По существу это не историческое повествование, а полемика: желание свалить вину за военную катастрофу белых армий на кого-то другого и обелить себя в глазах потомков.

Это особенно относится к воспоминаниям генерала Слащева-Крымского (титул Крымский был пожалован ему Врангелем), носящим громкое название «Я обвиняю» и охватывающим период гражданской войны. Почти сплошь они заняты полемикой с Врангелем, который якобы не слушал советов его, Слащева, и якобы только поэтому и проиграл «крымскую кампанию» 1920 года.

Подобные мемуары, конечно, не имеют никакой цены с точки зрения исторической.

Часто во многих изданных за рубежом мемуарах то или иное описываемое событие является только поводом для выявления эмоций автора. Это почти всегда раздражение, гнев и злоба, переходящие в бешенство, коль скоро автор подходит в своем рассказе к событиям, непосредственно предшествовавшим революции, и к самой революции. Наоборот, слезы умиления при упоминании об «обожаемом монархе», «венценосном помазаннике божием», «царе-мученике», о членах императорской фамилии, о деятелях эпохи царского самодержавия и, наконец, о себе самом и годах своей юности.

Один из наиболее высокопоставленных жандармов царского времени, Заварзин, можно сказать, с «трогательной» любовью и теплотой описывает в книге «Жандармы и революционеры» своих сотоварищей, начальников и подчиненных. Под его пером они выглядят как невинные овечки, пожираемые хищными зверями — революционерами. Он плачется, что «благородный труд» на поприще охраны дорогого его сердцу самодержавного строя остался недооцененным русским народом, и дает читателю

понять, что если бы народ достойно оценил этот труд, то не случилось бы всего того, что случилось, и никакой революции не было бы.

Один из высших чинов царского министерства внутренних дел, Курлов, в свою очередь повествует о себе и своих подчиненных чуть ли не как об ангелах кротости и старается свалить на других вину за бездействие власти, имевшее место в Киеве в 1912 году, в момент убийства Столыпина Багровым.

Некий капитан 2-го ранга Апрелев в своих мемуарах, носящих название «Нельзя забыть», пускает слезу умиления, описывая свои юношеские годы, когда он был воспитанником Морского корпуса. В его представлении шагающие строем по петербургским улицам роты Морского корпуса были «всероссийской красотой». Оную красоту якобы созерцал весь русский народ, и когда «темные силы» разрушили эту красоту, а русский народ не сумел защитить ее, то дела России, по его мнению, пошли совсем плохо.

Там, где политических мотивов нет, эмигрантские мемуары в некоторых своих разделах приобретают исторический интерес, порою довольно значительный. Касается это больше всего первой мировой войны. Так, командир эскадренного миноносца «Новик» (фамилия его выпала у меня из памяти) дал очень подробное описание эпизодов этой войны на Балтийском море, плаваний и боев, участником которых он был. Попутно в этих мемуарах, носящих название «На „Новике“», содержится много сведений о боевой деятельности Балтийского флота.

Небезынтересны также морские рассказы капитана 2-го ранга Лукина, в большинстве носящие характер личных воспоминаний о плаваниях и боях той же войны.

Офицер гвардейской кавалерии Гоштофт, слывший в эмиграции писателем, правда второразрядным, опубликовал отдельной книгой в виде дневника воспоминания о боях и походах своего полка, в которых он лично принимал участие.

Но и в этих повествованиях то там, то сям попадаются фразы, абзацы и страницы, далекие от исторической беспристрастности летописца. Это случается каждый раз, когда рассказ автора подходит к предреволюционным раскатам грома и к самой революции. Тут авторы воспоминаний дают волю своим чувствам и не упускают случая лягнуть своим копытцем революцию и всех тех, кто в нее верил и ее подготавливал.

Я не буду перечислять все вышедшие за рубежом мемуары, но из этой массы следует выделить одну книгу, представляющую большой исторический интерес. Принадлежит она перу генерал-квартирмейстера штаба верховного главнокомандующего в

первую мировую войну генерала-от-инфантерии Данилова и носит название «Россия в мировой войне» (имеется в виду, конечно, первая мировая война).

По занимаемой должности (третьей в военно-иерархической лестнице после верховного главнокомандующего и начальника его штаба) Данилову были известны все военные тайны царской армии. С достаточной объективностью он излагает фактические данные, относящиеся к периоду подготовки военной трагедии 1914–1918 годов, плохую техническую оснащенность русских армий, вопиющие безобразия, царившие в военном министерстве тех времен. Далее он описывает дислокацию войсковых соединений, ведение боевых операций, так называемую «помощь» союзников и героизм русского солдата, которого царское правительство оставило почти без оружия перед лицом вооруженного до зубов противника.

Книга вышла в первой половине 20-х годов. Если отбросить несколько фраз и страниц, неизбежных в устах и под пером старого генерала царских времен, не понявшего революцию, то вся она в подавляющем большинстве своих страниц является сочинением не политическим, а, как я только что сказал, военно-историческим. Вместе с тем она представляет собою подлинный обвинительный акт против тогдашних союзников России и с убийственной для них верностью и точностью устанавливает, что так называемая «помощь» в техническом снабжении русских армий была в ту войну только невиданных дотоле размеров прибыльным бизнесом для французской и английской, а к концу войны и для американской промышленности и для союзнического капитала.

VIII
Быт и нравы «Русского Парижа»

С первых же шагов на родной земле после 27-летнего отсутствия мне и всем моим сотоварищам по репатриации ежедневно приходилось по многу раз отвечать на один и тот же вопрос, который каждому из нас задавал любой собеседник после 5–10 минут разговора: — Что за чудо! Как могло случиться, что вы все, прожив за границей почти три десятка лет, так чисто и безукоризненно говорите по-русски?

Вопрос вполне закономерный с точки зрения советского человека, мало интересовавшегося повседневной жизнью и бытом находившихся за рубежом соотечественников, но с точки зрения этих последних несколько наивный.

На него правильнее всего было бы ответить так: — Потому что мы прожили три десятка лет не столько во Франции, Болгарии, Германии, Америке пли еще где-нибудь, сколько, образно выражаясь, в некоем несуществующем в природе царстве, не обозначенном ни на какой карте мира государстве, не имевшем и не имеющем географических границ, — русском эмигрантском царстве государстве.

— Потому что местопребыванием нашим был не Париж, а, продолжая ту же образность выражений, «русский Париж».

— Потому что в своей личной повседневной жизни мы были окружены русскими, и только русскими, и рот наш открывался для французской речи не чаще, чем один раз в три-четыре месяца, а то и реже, да притом на две-три минуты.

Как это случилось, я попытаюсь обрисовать в этой главе.

Начну с того, что такая полная психологическая изоляция русской эмиграции от окружавшей ее среды не была результатом заранее принятого кем-нибудь решения пли какой-то предвзятой идеи, а создалась сама собой в силу очень многих разносторонних и своеобразных условий. В одних странах она была выражена больше, в других меньше, но существовала повсюду. Лишь немногие эмигранты представляли собою исключение из общего правила. Замечу еще, что эта психологическая изоляция и отчужденность всегда была не односторонней, а обоюдной: окружавшая эмиграцию среда испытывала такое же отталкивание от чуждого и непонятного ей русского эмигрантского мира.

Результатом этого явилось то уже отмеченное мною в предыдущих главах обстоятельство, что русская

послереволюционная эмиграция в отличие от других современных ей эмиграции мира оказалась почти не способной ни к какой ассимиляции. Подавляющее ее большинство, прожив свыше четверти века в той или иной стране, не завязало никаких связей с природными жителями этой страны, не знало ни географии, ни истории, ни экономики ее, не знало ни культуры, ни быта, ни нравов и обычаев народа, среди которого находилось столь продолжительное время. В значительном большинстве эмигранты даже не умели более или менее сносно говорить на языке той страны, в которой жили.

Причины, породившие такое необычное на первый взгляд положение, были многообразны. Начну с правового положения русских эмигрантов.

В царской России была в большом ходу пословица: «Человек состоит из души, тела и паспорта». С некоторыми оговорками ее можно было бы распространить и на эмиграцию. Разница лишь в том, что третьего слагаемого у эмигрантов как раз и не было.

Появление эмиграции в 20-х годах на Балканах, в Польше, Германии, Прибалтийских странах, Китае было явлением массовым и стихийным. Никто не давал никаких разрешений на въезд в ту или иную страну остаткам разгромленных белых армий и бежавшей с ними буржуазии, а также интеллигенции. Они свалились в эти страны как снег на голову, без всяких паспортов, виз и разрешений или же с потерявшими юридическую силу паспортами царских времен. Эта масса была тем людским конгломератом, который в международной практике назывался беженцами (refugies) — термин, употреблявшийся почти четверть века и замененный после второй мировой войны термином «перемещенные лица» («ди-пи» — по начальным буквам соответствующих английских слов), существующим и поныне.

За несколько лет до этого на той же международной арене появилось несколько сот тысяч так называемых «армянских беженцев», уроженцев Турецкой Армении, покинувших пределы Турции частью в годы первой мировой войны, частью в первые годы по ее окончании и расселившихся по всем странам мира.

Первым этапом заграничной жизни обеих групп были беженские лагеря. Но держать вечно такую массу людей в лагерях и на иждивении государств, куда эти беженцы нахлынули, было, конечно, невозможно. Рано или поздно они должны были перейти на собственное иждивение и самостоятельно выбрать себе страну постоянного пребывания.

Занялась этим вопросом пресловутая Лига наций. Все эти беженцы автоматически утеряли свое подданство: одни — советское, другие — турецкое. Первое, что надо было сделать для

их расселения, — это дать им какое-то Подобие паспорта, имеющего юридическую силу в международном плане. Этому вопросу особенное внимание уделил знаменитый норвежский полярный путешественник и общественный деятель Фритьоф Нансен. Он первый предложил признать имеющим такую силу удостоверение (certificat), выдаваемое тем государством, в котором данный беженец находился. Выдавались эти удостоверения личности на двух языках — на языке данной страны и на французском, общепризнанном в те времена языке международных отношений.

Предложение было принято Лигой наций. Это удостоверение, имеющее внешний вид простого листа, получило название «нансеновский паспорт», а их обладатели стали называться «нансенистами». Паспорта эти просуществовали три с лишним десятка лет.

Но юридическое положение «нансенистов» легче не стало.

Лига наций приняла эту единую форму беженского паспорта как официальную, но государства, входившие в Лигу, не взяли на себя никаких обязательств касательно допущения «нансенистов» на свои территории. Целый ряд стран закрыл перед «нансенистами» свои двери: Англия, Голландия, Дания, Швеция, Норвегия, Италия, Испания, Португалия, Канада, Южно-Африканский Союз, Австралия, Новая Зеландия, Япония и некоторые другие.

Пускали их к себе в массовом масштабе только те страны, которые по причинам, изложенным в одной из предыдущих глав, или испытывали нужду в рабочей силе (Франция, Бельгия, Люксембург, Германия, Финляндия, некоторые южноамериканские республики), или руководствовались славянофильской идеологией, хотя и ложно понимаемой (Болгария, Югославия, Чехословакия).

Очень скоро «нансенисты» почувствовали, что с паспортом, носящим название их благодетеля, далеко не уедешь, притом не в переносном смысле, а в самом прямом: лишь только «нансенист», придя в какое-нибудь консульство, вынимал из кармана свой certificat, чтобы ходатайствовать о въезде в ту или иную страну для постоянного жительства в ней, как швейцар консульства указывал ему на дверь и с дипломатической учтивостью выпроваживал незваного гостя на улицу. «Нансенист» вечно чувствовал себя на положении зачумленного или прокаженного, от которого все встречные шарахаются в сторону.

Вот эта «зачумленность» и была немаловажным фактором отчужденности эмигрантов от всего остального, «ненансеновского мира», к которому они с первых лет эмиграции почувствовали

неприязнь, порою переходившую во враждебность.

Во Франции, где было сосредоточено громадное количество русских эмигрантов, было еще одно условие, способствовавшее созданию той непробиваемой психологической стены, которая раз и навсегда отделила мир французский от мира эмигрантского. Это шовинизм, которым заражена значительная часть французской крупной, средней и мелкой буржуазии и реакционной военщины.

На языке этих кругов почти каждый иностранец прежде всего «поганый иностранец» (sale Stranger), если у него карманы пусты. С такого рода иностранцами стесняться нечего. Они будут слышать презрительную кличку ежедневно по всякому поводу и без всякого повода.

Мне могут возразить, что нельзя ставить знак равенства между французским мещанством и французской нацией в целом и что шовинизм определенных кругов, хотя бы и весьма многочисленных, не есть порок, присущий всему народу. Ведь существуют же во Франции прогрессивные люди, с иной психологией и с иными взглядами!

Совершенно верно. Но с этими людьми эмигрантам, как правило, не приходилось общаться. Горе всех обездоленных чужаков заключалось в том, что тон в этом вопросе задавали в те времена именно вышеуказанные круги, а не какие-либо другие слои населения, в частности не прогрессивная интеллигенция и не передовые рабочие. Впрочем, и эти слои по вполне понятным причинам не могли относиться к белой эмиграции с симпатией или хотя бы с сочувствием.

Продолжаю дальше и попытаюсь показать читателю, что стена взаимного отчуждения, о которой я веду речь, строилась, так сказать, самотеком и притом одновременно с обеих сторон. В течение трех лет первой мировой войны русский фронт, приковавший к себе две трети кайзеровских дивизий, держал в своих руках ключи будущей победы участников Антанты. Пока это было так, французская буржуазия спала спокойно.

Но вот случилось нечто для этой буржуазии непредвиденное: «русский медведь», до последней капли крови которого можно было воевать, в один прекрасный день повернул свои штыки совсем не туда, куда этой буржуазии было нужно, и весьма недвусмысленно заявил, что за интересы кошелька «союзников» он воевать не будет.

Французская буржуазия пришла в ярость. Как смеет «русский медведь» устраивать у себя какие-то революции и подвергать смертельной опасности «прекрасную Францию», вынужденную теперь полагаться на свои собственные силы да на не вполне

надежного британского союзника!

После Октябрьской революции и выхода России из войны проклятия и вопли о «предательстве» и «измене» раздались по адресу «русского медведя». Но что совершенно привело буржуазию в состояние полного бешенства — это дальнейшие после революции шаги «медведя».

«Медведь» громогласно заявил, что не собирается признавать законной собственностью этой буржуазии русское добро в виде рудников, шахт, фабрик, заводов, банковских активов, акций и облигаций.

Если вам, питатель, случится побывать в Париже, зайдите во Дворец инвалидов, в грандиозных зданиях которого расположен военный музей Франции. Здесь в историческом отделе можно найти фигуры солдат всех армий, участвовавших в первой мировой войне на стороне Антанты, их военное снаряжение, знамена, ордена, боевые приказы и т. д. Здесь собраны реликвии французские, бельгийские, английские, итальянские, сербские, румынские, японские, португальские, американские. Нет только русских реликвий.

Тем не менее нашлись во влиятельных французских военных кругах два человека, которые оценили усилия русской армии в первой мировой войне так, как их оценила историческая наука. Это — последовательно сменившие один другого во время первой мировой войны главнокомандующие французской армии маршалы Жоффр и Фош. Оба они в своих мемуарах черным по белому написали: не будь русской армии, судьба Франции в исходе первой мировой войны была бы совершенно иной. Но этого высказывания обоих главнокомандующих буржуазная Франция в те времена не хотела слышать.

К причинам, создавшим для русских эмигрантов состояние той психологической и бытовой изоляции, о которой я только что говорил, надо отнести и специфику положения, занятого ими в социальной лестнице тех государств, где они имели постоянное пребывание.

Об этой лестнице и о том, что подавляющее большинство эмигрантов заняло низшую ее ступень, я уже упоминал в предыдущих главах. В одних странах — Болгарии, Югославии, Чехословакии, на Дальнем Востоке — это явление было выражено не слишком резко, в других — во Франции, Бельгии, Германии — оно составило наиболее характерную черту эмигрантской жизни и эмигрантского быта.

Все эти условия не могли не сыграть свою роль в деле взаимного психологического и бытового отталкивания между замкнутым эмигрантским мирком и окружавшей его средой.

В представлении благонамеренного среднего француза непонятный ему русский мир был сборищем людей с «загадочной славянской душой».

Каждый раз, когда возникал в виде исключения намек на какой-то контакт между обоими «мирами», с французской стороны сыпались вопросы: — Почему вы, русские, все толкуете о том, что было давно, и не интересуетесь тем, что происходит сейчас?

— Почему вы чуть не каждый день шляетесь друг к другу в гости без всякого к тому повода, тогда как приличные люди приглашают гостей или сами ходят в гости два-три раза в год?

— Почему при встрече друг с другом вы, не обращая внимания на окружающих, кричите на всю улицу и размахиваете руками, в то время как все люди разговаривают вполголоса и стоят на месте спокойно?

— Почему, зарабатывая 500 или 600 франков в месяц, вы ухитряетесь прожить 700 или 800, тогда как все уважающие себя люди прячут в «чулок» половину заработанных за месяц денег?

— Почему вы завтракаете и обедаете когда придется, в то время как все приличные люди при всех обстоятельствах садятся за завтрак в половине первого, а за обед — в половине восьмого вечера?

— Почему вы каждый день едите ваши дурацкие каши и кисели, но отворачиваетесь от лягушачьего филе и креветок, а с сыра счищаете самое вкусное — сырную плесень?

Почему, почему, почему…

Ответить на это, пожалуй, можно было бы словами грибоедовского Фамусова: потому что «с головы до пяток на всех московских есть особый отпечаток».

Вот те условия, которые с первых лет появления русских послереволюционных эмигрантов на берегах Сены и Роны, в Приморских Альпах, Нормандии, Пикардии, Бургундии создали совершенно изолированный и замкнутый мир, нечто вроде «государства в государстве».

«Русский Париж» — это несколько десятков тысяч эмигрантов, расселившихся в мрачных трущобах 15-го городского округа и в прокопченном дымом фабричных труб парижском предместье Бийанкур.

Читал этот «русский Париж» газеты только на русском языке; русские книги брал в русских библиотеках, ютившихся на чердаках многочисленных русских учреждений; по воскресеньям ходил в русские церкви, а после богослужения собирался за столиками «обжорок», питейных заведений и ларьков и, поглощая одну за другой рюмки «столовой очищенной с белой головкой»,

вздыхал и проливал слезы по утраченным московским улочкам, береговому граниту Невы, просторам Волги и Камы, белым акациям Полтавщины, бескрайним кубанским степям. Кормился он в тех же «обжорках», ютившихся в щелях домов 200- и 300-летнего возраста, заказывал щи, рубленые котлеты с соленым огурцом и клюквенный кисель, обменивался с приятелями новостями, сенсациями и сплетнями русской эмигрантской жизни; окончив обед и застегивая на ходу рабочую блузу или синее шоферское пальто, уходил к ненавистному станку заводов господина Рено и господина Ситроэна или садился за руль ненавистного легкового такси, изготовленного на этих заводах.

Развлекался «русский Париж» на бесчисленных русских благотворительных балах, вечеринках, танцульках, ходил на концерты Плевицкой, слушал хоры донских казаков, смотрел пляски ансамбля кубанских казаков, покупал за последние деньги билет на Шаляпина и на русскую оперу, посещал бесчисленные доклады, лекции, семинары и собеседования, на которых русские докладчики и лекторы обещали ему скорое возвращение на родные просторы. Лечился «русский Париж» в русских поликлиниках с полутемными закутами вместо кабинетов, но с русской речью вместо малопонятной французской.

Шумел, кипел, бурлил и… незаметно для себя старился. И медленно, постепенно, год за годом вымирал, переселяясь из «столицы мира» на русское кладбище в Сент Женевьев де Буа…

Если спросить, как можно было бы охарактеризовать в нескольких словах схематично и обобщенно, не касаясь политической стороны вопроса, быт подавляющей части населения «русского Парижа», то на это можно было бы ответить всего несколькими словами: социальная деградация и нищета.

Это характерно в значительной степени и для других стран рассеяния русской послереволюционной эмиграции, может быть лишь в несколько иной степени.

О причинах этого явления мне уже приходилось говорить в настоящих воспоминаниях. Основной и главной причиной были и остаются социально-экономические условия, существующие в капиталистических странах.

Если эти условия порождают постоянную безработицу среди исконных жителей данной страны, то что же можно сказать о беспаспортных и бесправных иностранцах-эмигрантах, бывших для этих жителей конкурентами в бешеной борьбе за существование! Ведь эта борьба является одной из самых характерных черт жизни любой страны капиталистического лагеря.

В деклассированной и полунищенской массе основного

населения «русского Парижа» были различные градации и ступени бедности и существовало дальнейшее ее расслоение по признаку того или иного материального уровня жизни, начиная от некоторой ограниченности в денежных ресурсах и кончая полной нищетой.

Пройдемте со мною, читатель, по одному из бесчисленных парижских базаров, устраиваемых в определенные дни недели в нескольких местах любого из двадцати парижских округов или любого парижского пригорода, и понаблюдаем со стороны за вкрапленными в парижскую базарную толпу жителями «русского Парижа». Вы сразу отличите их по внешнему облику и одежде от коренных парижан французского происхождения. На голове у них — старая, засаленная шляпа. На плечах — ветхое, обтрепанное, выцветшее пальто, явно не по росту, купленное на «толкучке» или переделанное из английской солдатской шинели. На ногах — стоптанная, месяцами не чищенная обувь. Воротничок рубашки — смятый и грязный. Галстук сдвинут в сторону. Брюки годами не видели утюга. На лице, помятом и небритом, со следами преждевременного увядания, — выражение запуганности, а во всей фигуре — приниженность «бывшего человека», чувствующего свою никчемность и сознающего, что он — лишний среди окружающих его людей.

Семь часов утра. Базар открыт. Он располагается на одной из улиц, имеющих широкие тротуары. Накануне вечером специальные бригады городского муниципалитета привезли сюда на грузовиках железные шесты, столы, деревянные брусья и брезент. Они расставили столы вдоль тротуара, укрепили шесты в специальных имеющихся в тротуаре отверстиях, скрепили их сверху брусьями и натянули на этот каркас брезент.

Базар завален всевозможной снедью: мясом, рыбой, овощами, фруктами, маслом, сыром, колбасой и специфическими особенностями французского стола: битыми голубями, препарированными лягушками, креветками.

В воздухе стоит шум и гам. Борьба за существование царит и здесь. Торговки зазывают покупателей зычными голосами, расхваливают свой товар, кричат до хрипоты.

Не будешь зазывать и кричать — ничего не продашь.

Съестного на базаре больше, чем его клиенты могут закупить и съесть.

Парижские домохозяйки деловито обходят базарные «стенды», осведомляются о ценах, тычут пальцами в коробки сыра-камамбэра, пробуя степень его готовности, щупают, нюхают, переходят от стола к столу и, обойдя три или четыре десятка торговок, выбирают наконец ту торговку и тот товар, на котором

можно сэкономить несколько сантимов, с тем чтобы присоединить их к тем, которые лежат на их или их мужей текущем счету в «Лионском кредите» или «Сосьете женераль».

Фигур из населения «русского Парижа» пока не видно.

Но вот стрелка часов приближается к одиннадцати.

Торговки кричат еще громче, цены постепенно ползут вниз. Непроданного товара еще много. Лучше поступиться частью прибыли, чем остаться совсем без прибыли с непроданным скоропортящимся товаром на руках.

Толпа покупателей — коренных парижан и парижанок — постепенно редеет: нужно спешить домой и готовить завтрак, потому что при всех обстоятельствах каждый уважающий себя француз или француженка садится за стол ровно в половине первого — ни на минуту позже.

В редеющей толпе можно разглядеть пока еще одинокие фигуры обитателей «русского Парижа». Это люди, как-то зацепившиеся за окружающую жизнь и что-то зарабатывающие. Они, правда, не каждый день могут позволить себе роскошь есть мясо, рыбу, колбасу и сливочное масло, не картофель, капуста, коренья вполне им по карману, и унести кое-что с базара они все же могут.

Постепенно число их в базарной толпе растет.

Еще громче орут торговки, еще ниже падают цены.

Бьет двенадцать часов. Через полчаса базар закроется.

Уходить с него с непроданным товаром торговки не любят. Остатки разбазариваются по дешевке. Торговки раскладывают их маленькими кучками. Цена каждой кучки — 1 франк. Два или три часа тому назад та же самая снедь в том же количестве стоила 2 или 3 франка.

Торговки орут неистовыми голосами на весь базар, заглушая рев автомобильных сирен, грохот грузовиков, свистки полицейских — ажанов, говор уличной толпы: — Один франк — кучка! Всего один франчок! Подходите, господа, подходите! Один-единственный франк, ведь это же даром, господа! Пользуйтесь случаем! Давайте же, господа, давайте!

Теперь базарная толпа состоит почти исключительно из обитателей «русского Парижа». Они годами ходят сюда только в этот час, так как другого способа приобретения хлеба насущного, кроме «кучки всего за один франк», у них нет.

Но и эта категория посетителей базара еще не последняя.

Половина первого. Торговки убирают в корзины непроданную снедь, снимают белые передники, моют у колонок руки. Базар закрывается. Через полчаса приедут уборочные бригады, снимут брезент, брусья и шесты и будут поливать тротуары из резиновой

кишки.

Тротуар покрыт отбросами торговли. Сюда и устремляется последняя, полностью обездоленная категория обитателей «русского Парижа». Это — многочисленные русские безработные, которых, как и других иностранцев-рабочих, французский капитал позвал тогда, когда они ему были нужны, и которых он выставил на улицу тотчас после того, как нужда в них миновала.

Они бросаются гурьбой на эти отбросы, вырывают друг у друга рыбьи головы и хвостики, гнилую картошку и капусту, корешки моркови и петрушки, случайно оброненные покупателями, разбитые яйца. Они наполняют ими карманы пальто и пиджаков и пришедшие в полную ветхость клеенчатые сумки. Рыбий хвостик можно очистить от грязи и сварить; полугнилое яблоко — обрезать; капустные листья — обмыть и попарить; из разбитых яиц, смешанных с уличной пылью, — приготовить некоторое подобие яичницы. Ведь голь на выдумки хитра! А без этих выдумок останешься совсем без обеда.

Кто они, эти люди из самой последней категории «стана погибающих»?

Все те же бывшие поручики, капитаны, полковники и генералы, недоучившиеся студенты, потерявшие ангажемент певцы и актеры, бывшие юристы, бывшие экономисты, бывшие агрономы.

Бывшие, бывшие, бывшие…

Я уже неоднократно говорил о них на страницах настоящих воспоминаний. Их было на базарах немного меньше в годы так называемых «экономических подъемов» и значительно больше в годы «спада», но существовали они всегда. Но и находясь на самой последней ступени многоступенчатой лестницы капиталистического общества, они продолжали считать себя тем, чем они были до революции и до перехода ими границы своего отечества, и крепко верили, что в так называемой «будущей России» они будут вознаграждены сторицей за перенесенные ими на чужбине страдания.

А пока, подбирая базарные отбросы и готовя из них обед на спиртовке в нетопленой каморке на чердаке многоэтажного дома, эти люди организовали сотни самых разнообразных обществ, союзов и объединений, создавая себе иллюзию какой-то «общественной работы».

Нет никакой возможности перечислить все существовавшие в эмиграции бытовые сообщества, содружества, союзы и объединения. В одной Франции их было почти 300! Большинство из них имело не более нескольких десятков членов. Многие эмигранты состояли одновременно в десяти — пятнадцати

союзах. Устав их был почти всегда один и тот же: «Взаимная моральная и материальная поддержка». Создавались они по самым разнообразным признакам.

Были объединения территориальные: московское землячество, воронежское, бессарабское; общество северян, союз сибиряков и т. п. В других фундаментом была общность окончания одной и той же школы — высшей или средней: союз бывших воспитанников Псковского кадетского корпуса, общество бывших воспитанников Московского университета, союз институток-смолянок и т. д.

В третьих, более многочисленных, объединяющим принципом была общность профессии: союзы инженеров, врачей, сестер милосердия, шоферов и т. д. Но даже и в этих союзах, более всего подходящих под тип обычного профсоюза, не было единства: в них царили раздоры, борьба, склоки, интриги.

Ущемленное самолюбие и тщеславие большинства членов этих профессиональных группировок неизбежно вело к погоне хотя бы за видимостью какого-то «положения в обществе». Все тянулись к председательским местам, всем хотелось играть какую-то роль, привлекать общее внимание и чувствовать свой особенный удельный вес. Во французском обществе удельный вес этих людей был равен нулю. Оставалось погружаться в иллюзорный мир и играть в игру «эмигрантской общественности».

Царившие во всех без исключения эмигрантских обществах и союзах раздоры и склоки повели к тому, что профессиональные союзы раскололись каждый на два, три и больше отдельных, самостоятельных союзов, открыто враждовавших между собою. Два общества сестер милосердия — одно правое и одно «левое»; два союза врачей; два союза шоферов — правый и «левый»; пять или шесть обществ инженеров; несколько профессиональных организаций фабрично-заводских рабочих; объединения литераторов, официантов, белошвеек и т. д. Вместе с перечисленными в одной из предыдущих глав политическими партиями, объединениями и группировками, различными воинскими, церковными, молодежными организациями, казачьими союзами и т. п. они и были теми слагаемыми, из которых составилась вся разношерстная масса зарегистрированных в префектурах Франции 270 или 280 эмигрантских обществ.

Большую роль в жизни эмиграции вообще и в жизни осевших во Франции русских эмигрантов в частности играли две эмигрантские «большие» газеты: «Возрождение» и «Последние новости».

О политическом облике их я уже говорил.

Для историка, который заинтересуется повседневным бытом эмиграции тех времен, самым любопытным материалом окажутся, пожалуй, последние страницы названных газет, сплошь занятые объявлениями, а также хроника «русского Парижа» и провинции. В них как в зеркале отразилась вся маленькая жизнь эмигрантского «государства в государстве».

Разверните, читатель, любой из номеров «Возрождения» или «Последних новостей» 20-х или 30-х годов, пропустите первые две, три или четыре страницы и начните обзор прямо с четвертой, пятой и шестой.

Гастрономический магазин Ростовцева извещает уважаемых покупателей, что им получены свежие ревельские кильки и нежинские огурчики. Зайдите и убедитесь!

Бывший артист оркестра императорских театров Иванов даст уроки скрипичной игры. Цены общедоступны.

Ресторан Корнилова — завтраки, обеды и ужины от… до. Кухней заведует бывший шеф-повар великого князя такого-то.

Прачка Степанова берет белье на дом и по желанию является на квартиры уважаемых клиентов. Расстоянием не стесняется.

Доктор Адливанкин. Кожные и венерические болезни. Половое бессилие. Быстрое и радикальное излечение. Прием от… до… и по специальному соглашению. Для женщин отдельная приемная.

Книжный магазин Сияльского доводит до сведения уважаемых клиентов о полученных им литературных новинках.

Здесь же большой выбор пасхальных яиц и художественных открыток.

Аптека бульвара Гренель. Отпуск лекарств по рецептам русских врачей. Громадный выбор парфюмерных товаров. Открыта всю ночь.

Ателье дамских шляп мадам Белохвостовой.

Последние парижские новинки. Исполнение быстрое и аккуратное, цены умеренные.

Иван Иванович Егоров. Радикально уничтожает клопов, блох и тараканов. Заказы письменно и по телефону. Цены снижены.

Грандиозный бал союза ресторанных служащих. Кабаре. Выступают известные артисты. Беспроигрышная лотерея. Буфет. Танцы до утра.

И рядом — крик женской души:

Володя, умоляю, вернись! Таточка опасно заболела.

Объявления, извещения, зазывания, напоминания…

Благотворительные балы — и не стесняющиеся расстоянием полотеры. Рестораны — и аккуратная штопка чулок. 30 или 40 врачей и дантистов — и пропавшие собаки или ангорские кошечки. Книгоиздательства — и гадалки на кофейной гуще. Танцевальная студия артистки императорских театров — и «продается по случаю за бесценок шуба на медвежьем меху»…

Магазины, лавки, «обжорки», ночные кабаки, «теремки», «уголки» с русскими тройками на стенах, «несравненная рябиновая» и «спотыкач» Смирнова, камерные концерты из произведений Мусоргского, Бородина, Чайковского, безработные машинистки, протезисты и оптики, продажа с аукциона фарфоровых ваз, русские поликлиники, новые романы Мережковского и Осоргина, сотни предложений труда и единичный спрос на труд…

Калейдоскоп последних попыток зацепиться за жизнь и удержаться на ее поверхности и здесь же — отзвуки «пира во время чумы» и девиз: «Хоть день, да мой!» Бахвальство немногих из «стана ликующих» и вопли десятков тысяч из «стана обездоленных».

Тяжелая, сумбурная, угарная жизнь…

В 30-х годах один из советских ученых-медиков, приезжавший в Париж на международный научный съезд, поделился со мной своими впечатлениями от чтения нескольких попавшихся ему номеров эмигрантских газет: — Выходит, будто эмиграция только и делает, что танцует?., Действительно, если не посвященный в эмигрантскую жизнь беспристрастный читатель заглянул бы в «Возрождение», или «Руль», или «Последние новости» 20–30-х годов, то ему бросилось бы в глаза обилие объявлений с зазыванием посетить такой-то бал или такую-то вечеринку, на

которых публику ждут невиданные сюрпризы и сногсшибательные аттракционы. Бал прессы, бал адвокатов, бал химиков, бал бывших воспитанниц Смольного института, бал пажей его величества, бал шоферов; вечеринка воронежского землячества, вечеринка союза краснокрестовских сестер милосердия; бал одного союза инженеров, другого, третьего, пятого, из которых каждый считает себя «настоящим», а прочие союзы — самозванными.

Что же это? Веселье? Красивая жизнь?

Нет, дорогой читатель. Уродливые формы борьбы за существование тысяч людей из «стана погибающих».

Любой эмигрантский бал — это благотворительное мероприятие. Устраивается он каждой организацией, союзом, обществом, объединением один раз в год. Единственная его цель — пополнение тощей кассы взаимопомощи данного союза, растаявшей за предыдущий год.

Других источников пополнения нет. Членские взносы большинством членов не вносятся.

От энергии устроителей бала зависит его материальный успех. Путем личных связей удается заручиться согласием четырех-пяти безработных эмигрантских артистов, певцов и музыкантов, включить их имена в концертную программу бала. Больших расходов на это не требуется. За ужин, привоз и отвоз на автомашине (отвезет знакомый шофер) они выступят перед публикой с арией из «Царской невесты», монологом Осипа из «Ревизора», «Меланхолической серенадой» для скрипки Чайковского. Если повезет, то сверх этого можно будет заполучить 15-летнюю русскую балерину, только что окончившую школу хореографии и жаждущую публичных выступлений, хотя бы бесплатных (соло из «Раймонды» в этом случае обеспечено).

Заливную осетрину и кулебяку для буфета даст бесплатно ресторан «Москва», или «Петроград», или «Киев» (туда есть кое-какие ходы). Вещи для лотереи можно собрать по принципу «с миру по нитке…»: кто принесет холщовое полотенце с украинской вышивкой, кто — эмалированную с узорами кружку времен коронации Николая II, кто — настольные часы с маркой завода братьев Трындиных, давно не идущие и заржавевшие.

Останется только нанять зал и пригласить джаз-банд.

Это единственная крупная затрата. Распространять билеты будут среди своих знакомых члены союза.

Устроители бала вспоминают тут весьма кстати, что член союза камер-юнкер такой-то служит сейчас шофером у аргентинского посла, а жена другого члена союза баронесса такая-то состоит то ли машинисткой у директора парижского

отделения «Вестминстер-банка», то ли личной камеристкой у супруги директора. Кто-то из членов имеет какой-то ход к секретарю управляющего парижской конторой американского треста «Стандард ойл». Это совсем хорошо. Если среди гостей появится хотя бы несколько «знатных» иностранцев с туго набитыми кошельками, то материальный успех бала обеспечен.

Но на всех этих бесчисленных эмигрантских балах писателей, инженеров, химиков, бывших институток-смолянок, пажей ее величества, чиновников судебного ведомства и других вы не встретите достаточное количество этих писателей, химиков, смолянок. У писателя — залатанные брюки, единственный заштопанный пиджак, месяцами не чищенная обувь. Ему не до балов: он и обедает-то не каждый день. Химик в качестве ночного сторожа охраняет дворец французского «парфюмерного» или «автомобильного короля». Инженер сидит за рулем такси, а бывшая воспитанница Смольного на чердаке восьмиэтажного дома при свете керосиновой лампы пришивает пуговицы к юбкам, выпускаемым каким-то ателье мод.

А из кого же тогда, спросит читатель, состоит публика, посещающая эти балы? Ведь балов-то в «русском Париже» дается за год около двухсот или трехсот. Кто они, из «стана ликующих», открывающие бутылку за бутылкой шампанское в буфете, оставляющие сотни франков в лотерейном киоске и танцующие до утра?

Среди беспросветной бедности, убожества и нищеты эмигрантской массы иногда вдруг мелькала головокружительная карьера того или иного эмигранта, ничем от этой массы не отличавшегося и вознесенного по прихоти судьбы «из грязи в князи». Иногда это «неравный брак».

Никому не известный 20-летний танцор из берлинского ночного дансинга Зубков женится на ближайшей родственнице экс-кайзера Вильгельма, по возрасту годящейся ему в матери, и получает в свои руки гогенцоллерновские миллионы, хранящиеся в заграничных банках. Скандал мирового масштаба.

И кончается он тоже скандалом, но не мирового, а полицейско-участкового масштаба: пьянство, хулиганство, дебош в ночных кабаках и одиночная камера в берлинской тюрьме Моабит.

Парижский шофер Анастасий Вонсяцкий становится зятем американского «стального» или «свиного короля».

Грузинский князь Мдивани сочетается законным браком с американской миллиардершей, меняющей чуть ли не десятого мужа. Венчание происходит в Париже в русской православной церкви на улице Дарю. Двор устилается персидскими коврами,

внутренность церкви украшается пальмами и цветами, доставленными из Ниццы на самолете. В назначенный день и час улица перед церковью запружена «роллс-ройсами», «бьюиками» американской туристской знати, падкой до сенсаций и всякой экзотики. Щелкают камеры фотографов и кинооператоров.

Снуют репортеры всех больших газет капиталистического мира. Из «роллс-ройсов» выгружаются полуголые, в бальных платьях и увешанные бриллиантами «знатные» американки.

Пир задается «на весь мир»…

Белый офицер Дроздовской артиллерийской бригады Т. А. состоит в качестве шофера в услужении у старой девы англичанки-миллионерши, проводящей свои досуги на Лазурном береге Франции. Выезжает в «свет» старая дева в обществе дамы — компаньонки и чтицы, русской по происхождению, которая чуть ли не на десять лет старше шофера. Старой англичанке приходит в голову идея осчастливить свою компаньонку и своего шофера… сочетав их узами законного брака. И шофер и компаньонка упираются. Они далеки от мысли найти друг в друге спутника и спутницу жизни. Но англичанка не унимается. Она призывает шофера и заявляет ему: «Даю за компаньонкой миллион франков приданого. Идет?» Под напором столь неотразимого аргумента сопротивление жениха и невесты сломлено: брак заключен. Миллион франков выплачен. Т. А. открывает в парижском предместье Нантерр водочный завод. Дела идут отлично.

«Русская» водка расходится по всем углам русского зарубежного рассеивания, а хозяин завода, покинув навеки «стан обездоленных», переселяется вместе с супругой в «стан ликующих».

В других случаях по тому же капризу судьбы очутившийся на мостовой Стамбула, на улицах Берлина или Парижа рядовой эмигрант вдруг попадает в водоворот коммерческой жизни с ее пляской миллионов, рвачеством и азартом, получает какие-то подряды или крупные комиссионные, втягивается в спекуляцию и чуть ли не в несколько дней сам становится миллионером. Так случилось с полковником генерального штаба Д., получившим несколько миллионов комиссионных при какой-то торговой сделке. То же самое произошло с несколькими дельцами, нажившимися на германской инфляции начала 20-х годов. Въехали они в Германию без единой марки в кармане, а покинули ее через три-четыре года с миллионами марок, сделавшись владельцами собственных доходных домов в Берлине, Гамбурге, Лейпциге, Дрездене, Франкфурте. То же самое время от времени случалось в Париже, Нью-Йорке, Шанхае.

Пройдемте, читатель, еще немного по рядам эмигрантского «стана ликующих», чтобы составить себе несколько более полное представление о его облике.

В годы экономического подъема в капиталистических странах Париж посещали миллионы туристов; они оставили во Франции только в один из этих годов 2 миллиарда долларов. «Верхушка» туристического потока, состоявшая из американских, английских, аргентинских, бразильских, шведских, голландских и других богачей, пресыщенная жизнью вообще и парижской жизнью в частности, с жадностью набрасывалась на «русскую экзотику».

Ведь в Россию в качестве туриста не въедешь: там, во-первых, «эти ужасные большевики»; во-вторых, «по улицам ходят белые медведи»; в-третьих, «под развесистой клюквой сидят и пьют водку из самоваров эти бородатые, отвратительные русские мужики с дюжиной кинжалов и ножей за пазухой». Не проще ли тут, в Париже, пойти в русскую чайную; узреть там в качестве швейцаров и лакеев русских князей и графов в поддевках, кафтанах, смазных сапогах, а в качестве официанток — фрейлин ее величества; пропустить внутрь несколько графинчиков знаменитой русской водки; прослушать диковинные русские песни о колокольчиках, бубенчиках и тройках; увидеть размалеванные на стенах эти тройки; зайти в находящуюся поблизости русскую антикварную лавку, купить там какую-нибудь вышивку или табакерку, принадлежавшую, как говорят, чуть ли не самому Петру Первому, — и после этого спокойно уплыть за океан в свои Нью-Йорки, Чикаго, Филадельфии, Бостоны, Буэнос-Айресы и прочие грады.

Угадавший причудливые вкусы этих слоняющихся по всему свету и сорящих деньгами бездельников сразу поднимется в гору, если ему посчастливится каким-либо путем получить какие-то оборотные средства, чтобы пустить в ход какое-либо маленькое коммерческое «дело».

Именно в те годы в Париже расплодилось великое множество русских антикварных лавок, ресторанов, чайных, закусочных, комиссионных магазинов и прочей «русской экзотики». Когда годы подъема сменялись годами спада, большинство из них прогорало, но часть выживала, хотя и сокращала «оборот». Их владельцы, бывшие еще недавно официантами, белошвейками, шоферами, сторожами, становились «господами», подъезжали к своим «предприятиям» на «роллс-ройсах» и пополняли собою, пусть временно, «стан ликующих».

Во второй половине 20-х и в первой половине 30-х годов в Париже процветало «чайное заведение» с антикварным магазином при нем, принадлежавшее бывшему московскому

градоначальнику царских времен Шебеко и петербургскому аристократу князю Куракину. Носило оно громкое название «Боярский терем», находилось в центре «шикарной» части Парижа — на улице де Берри, неподалеку от Елисейских полей, держалось исключительно на американской клиентуре. Дела «Боярского терема» шли отлично.

Знатных гостей в гардеробе встречал одетый в русскую поддевку полковник Сергиевского артиллерийского училища Мамушин. Потолки и стены были искусно разрисованы старинными русскими узорами и сказочными тройками по эскизам великого русского художника-миниатюриста Билибина. Официантки были набраны из бывшей петербургской и царскосельской знати. «Пара чаю» стоила 14 франков при номинальной стоимости владельцам «терема» в 1 франк. На эстраде баритон Швайковский и колоратурное сопрано Коротнева под аккомпанемент пианиста Гринберга потрясали заокеанских клиентов ариями из «Садко», «Снегурочки», «Царя Салтана», «Князя Игоря», «Пиковой дамы».

Клиенты млели и от кафтанов, и от троек, и от «пары чая», и от «Снегурочки». Всего этого ведь не увидишь и не услышишь ни в Лос-Анжелосе, ни в Пенсильвании, ни в Вашингтоне!

А когда однажды в «Боярский терем» заявилась великая княгиня Ксения Александровна, сестра Николая II, и когда царскосельские фрейлины, а ныне официантки шебековского «терема», при ее входе отвесили ей полагающийся по придворному церемониалу глубокий реверанс, «знатные» иностранцы кинулись в гардеробную за своими фотографическими аппаратами. Как же тут удержаться от соблазна сфотографировать настоящую сестру последнего русского царя, да притом в обстановке «чайного заведения»? Этакой диковинки во всю жизнь не увидишь ни в Нью-Йорке, ни в Чикаго!

Из чайной клиенты проходили в соседнюю комнату, занятую антикварной лавкой князя Куракина. Было в ней все, что составляло в те времена предмет торговли русских комиссионных лавок. Несколько икон в серебряных ризах, табакерки, старинные гравюры, серебряные ковши и братины, пасхальные яйца, художественная резьба по дереву, бронза и эмаль; сарафаны, платки, вышивки, котиковое пальто и шапочка — последний ресурс умирающей от голода эмигрантской семьи; ордена и знаки отличия царских времен, мундштуки, малахитовые чернильницы и пепельницы; пейзажи березовых рощ и занесенной снегом русской деревни кисти эмигрантов-художников — последняя надежда их авторов «выйти в люди»…

Малограмотные купцы из Калифорнии, акушерки из Иллинойса, скучающие бездельники из Нового Орлеана стояли перед этими «экзотическими» экспонатами и слушали разглагольствования князя Куракина на чистейшем английском языке. Холщовое полотенце, вытканное за год до революции в какой-нибудь Мордвиновке или Бреховке, объявлялось им как историческая реликвия и личная собственность Екатерины II. Серебряный ковш, выпущенный московской фирмой Овчинникова в годы первой мировой войны, восходил в его рассказах к эпохе Ярослава Мудрого. Лукутинская табакерка была, по его словам, любимым предметом обихода всесильного вельможи Потемкина. Серебряным подстаканником якобы пользовался сам Петр Ильич Чайковский, а медная пепельница будто бы из Ясной Поляны Льва Николаевича Толстого.

У заокеанских посетителей «Боярского терема» вылезали глаза на лоб от этих «исторических» повествований предприимчивого князя, искусно опорожнявшего бумажники своих клиентов. «Реликвии» тщательно упаковывались и уплывали за океан вместе с их новыми владельцами, а Шебеко и Куракин богатели и богатели.

Так в атмосфере рвачества и коммерческого ажиотажа всплывали на поверхность парижской жизни нувориши из эмигрантов.

Прибавьте к ним нескольких врачей-гинекологов — тайных абортмахеров, лавировавших между богатством и тюрьмой; шарлатанов-венерологов; инженеров-изобретателей, которые при помощи французского капитала, поглощавшего львиную долю плодов из изобретений, кое-как «выходили в люди»; бывших российских богачей, имевших к моменту революции крупные суммы в иностранных банках или недвижимое имущество за границей и прожигавших последние остатки этих сумм и этого имущества; наконец, просто авантюристов и людей уголовного мира, внезапно получивших большие деньги неизвестно откуда и неизвестно как.

Вот вам парижский эмигрантский «стан ликующих».

Он заполнял залы русских ресторанов, прокучивал тысячи и десятки тысяч франков в ночных эмигрантских кабаках. Он не пропускал ни одного «шикарного» эмигрантского бала, танцуя без устали до утра и разбрасывая тысячефранковые билеты в буфете, лотерейном киоске и других уголках бальной залы.

Где же показать свое «великолепие», как не в этих злачных местах? Где можно удовлетворить свое тщеславие, как не среди своих вчерашних сотоварищей? Где можно так бахвалиться своим безукоризненно сшитым фраком или смокингом и своими

небрежными жестами, бросая в гардеробной и официанткам чаевые сотенными кредитками, как не среди своих соотечественников, не имеющих ни смокингов, ни кредиток?

Я говорил сейчас о газетных объявлениях и о том, что за ними крылось.

Не меньший интерес для бытописателя беспросветных эмигрантских будней представит и хроника жизни «русского Парижа». И в ней, как и в объявлениях, можно увидеть как в зеркале толчею воды в ступе этих несчастных, заблудившихся в трех соснах людей.

Откройте любой номер парижской эмигрантской газеты и погрузитесь в изучение этой хроники.

Завтра, в субботу, такого-то августа или октября, в 7 часов вечера, в церкви на бульваре Экзельманс будет отслужена панихида по в бозе почивающей вдовствующей государыне императрице Марии Федоровне…

Запаситесь, читатель, терпением, наденьте пальто и шляпу и пойдемте вместе со мной на бульвар Экзельманс, где в бывшей зале, гостиной и столовой богатого особняка устроена одна из дюжины парижских православных церквей.

В полумраке церкви вы увидите одинокие фигуры древних старцев с зажженными свечами в руках. Опытный глаз сразу определит, что перед вами последние представители умирающей сановной знати Санкт-Петербурга и Царского Села. Прислушайтесь к тому, о чем говорят эти тени потонувшего мира в потертых пиджаках и поношенных пальто. Что занимает их внимание? Вчерашнее падение министерства и очередной министерский кризис, о котором говорит вся Франция? Предстоящее открытие в Париже всемирной выставки, которую посетят десятки миллионов людей? Слух о девальвации франка?

Нет! Реальная жизнь течет мимо них. До министерского кризиса, до выставки и до девальвации им нет никакого дела. Гораздо важнее для них другое: получены сведения, что барон такой-то «дышит на ладан» и не сегодня-завтра «отдаст богу душу». Значит, «освобождается вакансия тверского губернатора», а кто-то из них, обсуждающих это событие, по своему положению, званию камергера или чину действительного тайного советника, конечно, первый кандидат на эту должность… Завтра он лично пойдет наводить справки о предстоящих переменах у «управляющего собственной его величества канцелярией»…

Оставим на время будущих губернаторов и пойдемте завтра, в воскресенье, к 12 часам дня, в Галлиполийское собрание, расположенное в особняке банкира Лазара. Мы с вами прочитали в газетной хронике, что в указанный день и час, в 17-ю годовщину

оставления белой армией Крыма или высадки ее в Галлиполи, в церкви собрания будет отслужена торжественная панихида по усопшим белым «вождям» генералам Алексееве, Корнилове, Маркове, Дроздовском, Кутепове, Миллере, адмирале Колчаке.

После панихиды — банкет. Плата — 20 франков с персоны.

Старцев здесь не будет. Церковь и залу для банкетов заполнит 40-летняя «молодежь», сплошь состоящая из бывших белых офицеров — корниловцев, марковцев, дроздовцев, алексеевцев, шкуровцев и прочих. Подходя к особняку Лазара, любезно предоставившего белому воинству эту часть своего многочисленного недвижимого имущества, на всякий случай наденем шапку-невидимку, ибо если мы с вами не слишком склонны поминать «вождей» панихидами и банкетами, то пребывание наше на этом сборище окажется не вполне для нас безопасным.

На банкете будут произноситься тосты за «беспощадную войну с большевизмом до победного конца»; в речах ораторов будет дышать уверенность в близости грядущего «весеннего похода»; будут провозглашаться здравицы в честь «вождей», ныне благополучно здравствующих. В 4 или 5 часов участники банкета нетвердой походкой направятся к дверям, а уставшие официантки будут убирать со стола залитые вином скатерти и сотни порожних бутылок.

До «весеннего похода» еще далеко, а становиться к станку на заводе Рено, или Ситроэна, или Пежо или садиться за руль легкового такси нужно завтра на рассвете.

Официанткам тоже дремать не придется — завтра полковой праздник лейб-гвардии Преображенского полка. Очередная панихида по «в бозе почивающим» уже заказана, а деньги за банкет на 60 персон уже внесены.

Послезавтра, здесь же, в 4 часа дня, очередная «чашка чаю» бывших воспитанниц московского Екатерининского института, а в 8 часов вечера очередная встреча господ офицеров лейб-гусарского Сумского полка.

Не утомляйте, читатель, вашего внимания дальнейшим изучением этого раздела парижской хроники жизни эмигрантского царства-государства. Панихиды, молебны, полковые праздники, годовщины, чашки чаю, банкеты в Париже, Лионе, в городах Лазурного берега идут длинной чередой. Они как две капли воды похожи друг на друга.

Вы уже составили себе о них некоторое представление.

Перейдем к другим разделам той же хроники.

Сегодня, в 8 часов вечера, в боковом зале Русского народного университета на улице Севр очередное занятие курсов кройки и

шитья. Просят не опаздывать. В главном зале — лекция доктора Чекунова «О вреде курения». Вход 2 франка. Завтра — начало второго цикла курса лекций «О пчеловодстве». Не внесшие целиком установленную плату к занятиям не допускаются. О дате очередного семинара по экономическим наукам будет объявлено дополнительно.

Читатель широко раскрывает глаза от удивления. Как?

В «русском Париже» кроме ресторанов и лавок был свой университет? А если и был, то при чем тут кройка и шитье?

Университета, как обычно это слово понимается, конечно, не было. «Народный университет» — понятие особое. Когда-то, за несколько лет до первой мировой войны, на средства богача А. Л. Шанявского в Москве было основано первое в России учреждение, популяризовавшее в самых широких кругах населения знания по всем отраслям науки и техники путем лекций и семинаров. Называлось оно «Народный университет». Для него было выстроено грандиозное по тем временам здание на Миусской площади — с десятками аудиторий и комнат, с мраморными колоннами и лестницами внутри. Никакого образовательного ценза от слушателей не требовалось, никаких факультетов не было и никакие дипломы не выдавались.

Каждый выбирал себе тот цикл лекций, который его интересовал; каждый пополнял свое образование как хотел, и как умел.

По образцу этого популярного в свое время «университета Шанявского» престарелый петроградский общественный деятель Дмитриев и ученый-историк Одинец (в 1948 году вернувшийся на родину) основали в Париже вышеупомянутый «Народный университет», просуществовавший много лет.

Своего отдельного здания, а тем более мраморных колонн и мраморных лестниц он, конечно, не имел. Находился он на узкой и извилистой улице Севр, на стыке 6-го округа и 15-го («русского»), во дворе, на втором этаже старого, прокопченного здания, в котором сдавались в наем частные квартиры. Узкая деревянная лестница вела в помещение этого университета. Аудиторий в нем не было, в самую большую лекционную комнату можно было с трудом втиснуть 50–60 человек. Но посещался он эмигрантами охотно, так как давал довольно много прикладных знаний, оказавшихся полезными в тяжелой борьбе за существование.

Продолжая обозрение столбцов парижской и провинциальной хроники эмигрантской жизни, вы, конечно, остановитесь на сообщении, что очередная экскурсия в Луврский музей под руководством Жихаревой состоится завтра, в воскресенье, такого-

то числа. Сбор в одиннадцать часов у входа в станцию метро «Тюильри». Плата за участие в экскурсии 3 франка.

Пойдемте и мы на эту экскурсию.

Без четверти одиннадцать. Уже маячит под зонтом на фоне дождливого туманного парижского дня пожилая женщина. Это — экскурсовод. Постоянной службы у нее нет.

От того, сколько франков соберет она сегодня и в последующие воскресные дни, зависит очень многое в ее жизни.

Каждые две минуты мрачное, зияющее в тротуаре отверстие выхода из метро выплескивает на поверхность земли сотни парижан, только что совершивших переезд и переход по узким цементным коридорам и лестницам, заплеванным и покрытым окурками, билетами, обрывками газет.

Одиннадцать часов. Ни одного экскурсанта. Четверть двенадцатого. Никого.

Экскурсовод с тоской смотрит на новые людские волны, выкатывающиеся из трущобной глубины «коридоров для крыс», как метко охарактеризовал парижское метро в беседе со мною один французский промышленник.

Наконец в половине двенадцатого около экскурсовода вырастает робко озирающаяся эмигрантская фигура.

— Не скажете ли мне, где здесь сбор на экскурсию?

— Здесь…

Они решают подождать еще немного…

Без четверти двенадцать из недр метро появляется еще один экскурсант. Больше ждать они не будут.

Экскурсовод получает с обоих по 3 франка. Обед ей обеспечен. Все трое направляются в музей. Здесь экскурсовод покажет своей «аудитории» из двух человек много интересного: и египетские, и ассирийские древности, и искусство Китая, и мебель эпохи Людовика XIV, и полотна французских живописцев барбизонской школы. Они будут стоять перед шедеврами Рафаэля, Корреджо, Веласкеса, Рубенса, Рембрандта, любоваться японским фарфором, персидскими миниатюрами и индийскими тканями. Мы не будем их сопровождать.

Тем временем мы лучше попытаемся выяснить, как могло случиться, что подавляющее большинство русских эмигрантов, прожив четверть века рядом с сокровищницей мирового искусства всех эпох и всех народов, расположенной на территории города Парижа, прошло мимо этой сокровищницы, ни разу в нее не заглянув? Чем объясняется этот индифферентизм? Почему в парижских музеях лишь изредка можно было увидеть эмигрантов?

Я знал сотни эмигрантов, людей, казалось бы, самой высокой

культуры, которые, прожив в Париже 25 и более лет, не удосужились побывать ни разу ни в Версальском дворце, архитектурном чуде XVII века, ни в Луврском музее — первом в мире по богатству коллекций, ни в других художественных и исторических музеях; людей, которые за этот срок не совершили ни одной прогулки по городу с целью осмотра его архитектурных шедевров и исторических памятников. Мне приходилось часто и подолгу беседовать с эмигрантами, не прочитавшими за целую четверть века ни одной французской книги и не побывавшими ни разу ни в одном из парижских театров и ни на одной парижской художественной выставке.

Я много раз спрашивал этих людей о причинах такого непонятного безразличия. Их ответы можно суммировать примерно следующим образом: — Когда мы жили на берегах Невы, Москвы-реки, Днепра, Камы, Дона, мы бредили Парижем, его памятниками и храмами, его выставками, театрами, музеями, антиквариатом. Мы преклонялись перед Мольером, Виктором Гюго, Эмилем Золя и другими французскими литературными «богами». Нас тянуло на французский роман, живопись импрессионистов и музыку Клода Дебюсси.

— Теперь мы рядом со всеми этими благами. И что же? Вместо влечения к Парижу — отталкивание от него.

Образы произведений Мольера, Виктора Гюго, Эмиля Золя полностью для нас потускнели. Зато вспыхнули ярким светом другие образы: Тургенева, Лескова, Островского… Импрессионисты больше нас не трогают — нам нужны Репин, Васнецов, Айвазовский. Клод Дебюсси больше не заставит нас рыдать от восторга, как прежде.

Зато от музыки Глинки и Чайковского мы возносимся к небесам.

— В какие версальские дворцы и луврские музеи пойдем мы сейчас со своими грязными от машинного масла ногтями, заскорузлыми руками, потрепанными пиджаками, выцветшими пальто? Что нам, «бывшим людям», делать среди наполняющей эти дворцы, музеи и театры толпы элегантно одетых, чопорных, самодовольных людей?

Не для того ли идти в эти музеи и театры, чтобы ловить на себе полный презрения и насмешки взгляд природных жителей страны?

— Какие французские романы читать и когда читать?

Где время для их чтения? Уж не после ли 14 часов работы, обогащающей господ Ситроэна, Рено, Пежо или Гочкиса?

— Какие тут еще выставки? Какие прогулки по историческим местам?

— Нет! К черту Париж со всеми его музеями и выставками! Радость и счастье жизни не в Париже — чужом, нудном, холодном и бездушном, а в родных Царевококшайске и Тьмутаракани, в брянских лесах и на полях Северной Таврии, на берегах Днепра и Енисея, среди благоухающих садов, что цветут по-над Доном, и среди елей родной тайги… Я задержал внимание читателя на маленьком объявлении и на тех мыслях, которые возникали в свое время у «среднего» эмигранта при чтении этого объявления.

Посмотрим, о чем еще говорится на столбцах мелкошрифтной парижской хроники.

В пятницу, ровно в 8 часов вечера, в Галлиполийском собрании на улице Фезандери заключительная лекция генерала Головина из цикла «Великая Галицийская битва».

Присутствие всех постоянных слушателей Высших военно-научных курсов обязательно. В тот же день в конференц-зале «Биотерапии» научное собрание Общества русских врачей имени Мечникова. В повестке дня: профессор В. Н. Сиротинин — «О некоторых особенностях течения скарлатины у взрослых»; доктор Б. Н. Беляев — «К вопросу о лечебном действии минеральной воды „Бурбуль“ при вторичных гипохромных анемиях». Начало в 8 часов вечера.

Если вы, читатель, собрались посетить это заседание, то не ошибитесь адресом, так как в тот же день и в тот же час в другом конференц-зале другого учреждения и на другой улице состоится научное заседание Союза русских врачей с другой повесткой дня.

— Что за чепуха! — воскликнет читатель. — Разве Общество русских врачей и Союз русских врачей не одно и то же? И почему два заседания в разных местах, но в одно и то же время?

Нет, в эмигрантском «государстве» это совсем не одно и то же. Две совершенно самостоятельные организации, два устава, два правления и две группы членов, постоянно поливающих друг друга грязью и осыпающих друг друга проклятиями.

— А что же они не поделили, будучи все до одного эмигрантами и живя в одном и том же городе? — продолжит свои удивленные вопросы читатель.

Нет, в эмигрантском «государстве» они не одинаковые.

Одним казалось, что другие «слишком правые», а этим последним казалось, что первые «чересчур левые». Отсюда непримиримая вражда двух врачебных лагерей.

К русским врачам, осевшим во Франции, мне придется вернуться несколько позже, а сейчас продолжим дальше чтение хроники.

Сегодня, в 8 часов вечера, в верхнем зале кафе «Данфер-

Рошро» собрание молодых поэтов. Читать свои новые стихи будут Ладинский, Бек-Софиев, Евангулов и другие. Вход свободный.

Кружок любителей русской оперной и камерно-вокальной музыки сообщает, что в зале Христианского союза молодых людей (10, бульвар Монпарнас), ровно в 4 часа, генеральная репетиция концерта из произведений Аренского. Просьба не опаздывать.

Последние спектакли Пражской группы Московского Художественного театра переносятся в помещение театра Батиньоль.

Цены на места снижены. Оставшиеся билеты — в кассе театра. Следите за афишами.

В начале будущего месяца в Париж возвращается из гастрольной поездки по Австралии хор донских казаков.

Хор даст несколько концертов в зале Гаво, после чего в полном составе выедет в Канаду, где пробудет до конца лета.

Нам передают из авторитетного источника, что известный американский антрепренер Юрок только что подписал с регентом церковного хора на улице Дарю Н. П. Афонским контракт на 30 концертов, которые хор даст в начале будущего сезона в ряде городов Соединенных Штатов Америки.

В четверг, в 9 часов вечера, в большом зале Русской консерватории выступление учеников и учениц класса профессора Муромцевой. Будут исполнены арии, отрывки из опер и романсы Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Гуно, Визе, Массне, Беллини, Доницетти, Россини.

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в канцелярии консерватории.

— Что? — воскликнет изумленный читатель. — Русская консерватория в Париже? Да и как понимать это слово «консерватория»: так же как и «Народный университет» или еще как-нибудь?

Нет, на этот раз слово «консерватория» нужно понимать в самом подлинном его значении. А русской она называлась потому, что все ее преподаватели были из русских музыкантов — инструменталистов, вокалистов, теоретиков и искусствоведов; потому, что преподавание в ней велось на русском языке и по программе русских столичных консерваторий дореволюционного времени, и, наконец, потому, что весь уклад ее жизни был основан на традициях, восходящих к временам основателей Петербургской и Московской консерваторий Антону и Николаю Рубинштейнам.

Состояла она в ведении Русского заграничного музыкального общества, председательницей которого в течение долгих лет

состояла Н. Алексинская, последняя жена известного эмигрантского черносотенного общественного деятеля и хирурга Алексинского, о котором уже говорилось в одной из предыдущих глав.

Н. Алексинская слыла в «русском Париже» дамой весьма эксцентричной и пользовалась в музыкальных кругах общей неприязнью. Но у нее была одна драгоценная в эмигрантской жизни способность: она умела выуживать у богатых французов и иностранцев крупные деньги на содержание консерватории. Ради этого свойства ее ежегодно переизбирали в председательницы Русского заграничного музыкального общества. Большую материальную поддержку консерватории систематически и долгие годы оказывали также С. В. Рахманинов, С. А. Кусевицкий, Н. А. Орлов и многие другие русские музыканты. Благодаря этому Русская консерватория проявила необыкновенную живучесть. Я едва ли ошибусь, сказав, что это было самое живучее из всех эмигрантских учреждений.

Она не прерывала своей деятельности даже в годы войны и гитлеровской оккупации и существует по сей день. Занимала она большой особняк в аристократической части Парижа, в 16-м городском округе, на том отрезке набережной Сены, которая носит со времени Версальского мира название авеню Токио.

Эта Русская эмигрантская консерватория не избежала общей участи всех эмигрантских учреждений и объединений. Взаимная грызня, склоки, интриги, борьба тщеславий и уязвленных самолюбий ее организаторов и преподавателей привели к тому, что вместо одной консерватории в «русском Париже» оказалось… три консерватории.

Одна из отколовшихся ее частей присвоила себе довольно громкое название — «Нормальная консерватория». Во главе ее стояли московский музыкант Гунст и, если я не ошибаюсь, композитор Акименко. Она страдала обычной для большинства эмигрантских учреждений болезнью: хроническим денежным малокровием. Просуществовала она несколько лет и в 30-х годах тихо скончалась, не оставив о себе в «русском Париже» сколько-нибудь заметной памяти.

Но третья по счету парижская эмигрантская консерватория была довольно серьезным конкурентом основной, от которой она откололась. Называлась она «Народная консерватория» и состояла филиалом «Народного университета». Собственного помещения она не имела. Преподаватели вели занятия у себя на дому. Для выпускных концертов и других публичных выступлений снималась какая-либо небольшая концертная зала. Занятия велись почти исключительно по классам фортепьяно,

скрипки, виолончели и пения. Таким образом, она была более похожа на музыкальное училище, чем на истинную консерваторию. Как и «Народный университет», она не требовала от учащихся при их поступлении никакого образовательного ценза, а при окончании никаких дипломов не выдавала. Но она привлекла к себе довольно значительное их число и, так же как и «Народный университет», обнаружила большую живучесть, просуществовав около полутора десятков лет.

Среди вопросов, с которыми ко мне обращаются мои собеседники с момента моего возвращения на родину и по сей день, одним из самых частых был такой: — Чем объяснить странное явление, что среди вас, репатриантов, подавляющее большинство одинокие мужчины, никогда не бывшие женатыми, хотя и достигшие возраста 50–60 лет?

Наблюдение это совершенно точное и в полной мере отвечающее действительности. Достаточно сказать, что в очередной группе репатриантов из Франции, вернувшейся вместе со мною в самом конце 1947 года, из 1500 человек было 1300 одиноких мужчин, в большинстве вышеуказанного возраста.

На это были свои причины.

Первая и главная та, что вся послереволюционная эмиграция была по преимуществу мужской эмиграцией.

В первые годы после того, как были разбиты и выброшены за пределы России остатки белых армий Деникина, Врангеля, Миллера и других белых «вождей», соотношение мужчин к женщинам и девушкам во всех точках расселения этих контингентов выражалось приблизительно числами 30:1.

В дальнейшем, когда к десяткам тысяч этих выброшенных за пределы Советской России контингентов и к такому же количеству русских военнопленных первой мировой войны, застрявших за рубежом, присоединились так называемые «гражданские беженцы», это соотношение несколько изменилось в пользу женщин. В Париже и французской провинции, равно как и в Балканских странах, Чехословакии, Бельгии, государствах Северной и Южной Америки, его можно было выразить числами 10:1.

Таким или приблизительно таким оно и осталось во все последующие годы в «русском Париже» — городе рабочих, шоферов, маляров, официантов, балалаечников, ночных сторожей. Не нужно было прибегать к статистике, чтобы убедиться в этом, побывав в самых разнообразных местах сборища русских эмигрантов и эмигранток: на церковном дворе, на благотворительном балу, в приемной поликлиники, в русской лавке, в «обжорке», на репетиции спектакля, на лекции

«Народного университета», на панихиде по «вождям», в паспортном отделе парижской префектуры полиции и т. д.

В 20-х годах возраст парижских эмигрантов-мужчин был преимущественно молодой — от 20 до 39 лет. Это и понятно, если принять во внимание вышесказанное об очутившихся за границей военных контингентах. Таким образом, было в нем обилие женихов и почти полное отсутствие невест.

— А уроженки данной страны, куда занесло эмигранта ветром, разве не невесты? — спросит удивленный читатель (и, конечно, еще более удивленная читательница).

Нет, как правило, не невесты! Такое положение ни с какой стороны не зависело от «женихов», а причина этому явлению все та же многоступенчатая социальная лестница капиталистического общества, о которой советский читатель имеет очень смутное представление.

Молодой человек из «русского Парижа», почти всегда имевший высшее или среднее или специальное образование, полученное им в России, никогда и ни при каких обстоятельствах не мог попасть в общество французских молодых людей и девушек равного с ним умственного развития и образования.

Почему? Потому что сам он, как правило, занимает последнюю, низшую ступень социальной лестницы. Двери всех домов, расположенных на следующей и других, более высоких ступенях этой лестницы, наглухо для него закрыты. На других ступенях ему делать нечего. Его образование, ум, развитие и таланты не имеют никакого веса в окружающей его жизни, если только они не сопровождаются материальным благополучием. Этого благополучия у рабочего, маляра и ночного сторожа «русского Парижа» не было, нет и быть не может.

Но не только разница в социальном положении обеих сторон была неодолимым препятствием для смешанных русско-французских браков. Не меньшее значение имела и та стена взаимного непонимания и отчуждения, которая существовала между миром французским и миром русскоэмигрантским. Какие в этих условиях могли быть возможности для смешанного брака у беспаспортного, бесправного, часто безработного эмигранта, находящегося в состоянии полунищеты или полной нищеты?

Взаимное непонимание двух миров — французского и русского — давало себя знать особенно в вопросах брака.

Замечу при этом, что если во Франции смешанные браки были в описываемые времена очень редки, то в некоторых других странах русского зарубежного рассеяния они встречались несколько чаще. Так, в Болгарии и Югославии, где процент «вышедших в люди» русских эмигрантов был значительно выше,

чем во Франции, и процент смешанных браков в свою очередь был выше.

Итак, браки русских эмигрантов во Франции были почти исключительно эмигрантскими. Но одна русская «невеста» приходилась, как было сказано, на десять русских «женихов». Отсюда почти поголовное мужское безбрачие, для многих — на всю жизнь. Ужасающие материальные условия, в которых жила русская эмиграция во Франции, наложила на эти немногие эмигрантские браки свою печать: как правило, значительная их часть была непрочна и недолговечна. И другое следствие тех же условий: в значительной части они были бездетными.

Повседневная тяжелая борьба за существование, вечная нужда, бесправие, моральные унижения — все это было благоприятной почвой для возникновения взаимного раздражения, несогласий, семейных споров и ссор.

Обычным результатом был полный и окончательный разрыв. Явление это было настолько частым, что при встрече после долгой разлуки двух приятелей или приятельниц каждый или каждая из них после обычных банальных приветствий и вопросов с некоторой опаской подходили к расспросу о семейных делах, зная, что в семидесяти или восьмидесяти процентах случаев он или она получит стандартный ответ: — А я с ним (или с нею) больше не живу… Не сошлись характерами… Порвали окончательно…

При этом инициатива разрыва почти всегда исходила от женской стороны брачной пары. Едва ли это могло быть иначе при тех условиях.

Вынужденная бездетность, отсутствие семейного очага, своя собственная изнурительная работа, часто безработица мужа, вечная бедность, а то и нищета, убогая мансарда под крышей восьмиэтажного дома, отсутствие перспектив — все это тяжелым бременем ложилось на плечи женщины я толкало ее на поиски какой-то лучшей, с ее точки зрения, жизни. Она уходила к кому-то другому, кто был более приспособлен к борьбе за существование и кто, как ей казалось, мог бы скрасить ее дни и дать ей возможность хоть одним глазом заглянуть в «стан ликующих» и хоть на один момент стать его участницей.

Она несравненно более болезненно, чем мужчина, переносила сознание того, что принадлежит к категории выброшенных за борт жизни людей, и более мучительно, чем он, переживала сознание своей бедности и неустроенности среди умопомрачительной роскоши и богатства ликующей части Парижа с его лимузинами, золотом, бриллиантами, шелками, бархатом, нарядами, мехами, парфюмерией.

Но проходил месяц, два, три, полгода. «Другой» не представлял исключения из общего правила. Переменить условия ее жизни и он не мог. Новые столкновения, новые ссоры, новый разлад. И снова то же, что уже было, — разрыв. А за разрывом удвоенное разочарование в жизни и полное, беспросветное отчаяние…

Я уже упоминал, что подавляющее большинство эмигрантских браков было вынужденно бездетным. Отсюда следствие: «своего» пополнения эмиграция не имела.

Иностранцу, впервые попавшему в 30-х или 40-х годах в любое место русского сборища, прежде всего бросалось в глаза отсутствие на нем молодежи. Молодежи в эмиграции было в процентном отношении действительно очень мало. Необходимо при этом отметить, что к детям, подросткам, юношам и девушкам, родившимся во Франции или выехавшим из России в младенческом возрасте вместе с родителями, название «русские» неприложимо. «Русского» в них было только то, что большинство из них довольно бойко говорило по-русски, слыша дома из уст родителей только русскую речь. Писать по-русски почти никто из них не умел: учились они во французских лицеях. «Нормальным» языком они считали французский. Между собою говорили только по-французски. Дома в русскую речь поминутно вставляли французские слова и выражения.

Ученик сообщает своим родителям: — Сегодня у нас было диктэ (диктант). Послезавтра надо сдать композисьон (сочинение).

Опоздавший к обеду юноша оправдывается: — У меня не было денег, чтобы взять отобюс (ехать на автобусе).

Девушка, уезжающая с группой спортсменов в район Французских Альп, чтобы покататься на лыжах, радостно делится с подругами новостью: — Я еду делать зимний спорт.

В царстве химер, коим была по существу вся духовная жизнь эмиграции, почти два десятка лет считалось, что эмиграция должна подготовить себе «смену» для построения «будущей России». Эту смену она видела в немногочисленных эмигрантских детях и подростках, не имевших никакого представления о России и в большинстве не желавших ее и знать. А «подготовка» должна была заключаться в том, чтобы дети умели петь «Боже, царя храни», чтобы они считали символом Российского государства двуглавый орел с короной и трехцветный флаг; чтобы на масленице ели блины, а на пасхе — кулич и пасху; чтобы умели ответить на вопрос, кто такой был Пушкин; чтобы в положенные дни служили панихиды по «в бозе почивающем царе-мученике благочестивейшем, самодержавнейшем государе

императоре Николае II».

Но сама эта отставшая от русского берега, а вернее, никогда его и не знавшая эмигрантская молодежь не проявляла никакого интереса ни к двуглавому орлу, ни к блинам, ни к Пушкину, ни к «благочестивейшему, самодержавнейшему». Ее помыслы были иные: смыть с себя пятно «русскости», уподобиться природным жителям страны по внешнему виду и по внутреннему содержанию, пробивать себе дорогу в жизнь, «ловчиться» и «выходить в люди» любой ценой. И при этом помнить, что главное в жизни — деньги, деньги и деньги.

Исключения из этого правила, конечно, были, хотя их можно было перечислить по пальцам. Но обойти их молчанием нельзя: среди десятков тысяч репатриантов, вернувшихся после Победы на родину, были вкраплены русские юноши и девушки, родившиеся за рубежом, но продолжавшие считать, как и их родители, своей родиной Советский Союз и изумительным образом сохранившие свою природную «русскость». Они полностью включились в советскую жизнь и с честью носят звание советского гражданина.

Каждому репатрианту, вернувшемуся на родину после долгих лет скитаний по разным странам или прозябавшему в какой-либо одной стране, часто приходится слышать такой вопрос: — Почему эмигранты, находившиеся во Франции, где им так тяжело жилось, не переезжали в другие страны, где, может быть, им жилось бы легче?

Ответ на этот вопрос может быть только таким: потому что для того, чтобы переселиться в другое государство, надо иметь разрешение этого государства на въезд.

Потому что во всех странах капиталистического мира имеется в той или иной степени безработица и ни одно государство не заинтересовано во въезде в его пределы новых контингентов безработных.

Потому что первый вопрос, который задают иностранному посетителю в любом консульстве любого государства, есть вопрос: что он собирается в этом государстве делать, на какие средства собирается существовать и сколько денег имеет на своем личном текущем счету в банке?

А так как никаких средств к существованию и никаких текущих счетов у эмигранта не было и не могло быть, то после первого же вопроса ему указывали на выходную дверь.

Потому что, наконец, у каждого человека есть национальный паспорт, а у эмигранта настоящего паспорта нет, а есть лишь подобие его, уже известный читателю certificat de Nansen. Значит, он не вполне человек. Еще один повод, чтобы указать ему на

дверь. Я не знал ни одного эмигранта, который в описываемые времена не побывал бы в десятке или больше консульств разных стран в поисках лучшей жизни. Повсюду он, как правило, получал отказ.

В первой половине 30-х годов среди обитателей «русского Парижа» была популярна мысль «сесть на землю», то есть уйти от городской жизни, не дававшей возможности сколько-нибудь сносного существования, и приняться за земледелие. В маниловском прекраснодушии бывшие присяжные поверенные и артисты, офицеры генерального штаба и столоначальники из министерств, полицмейстеры и инженеры представляли себе эту жизнь в виде молочных рек, текущих в кисельных берегах. Вспоминали они и о былинном богатыре Микуле Селяниновиче, и о древних русских пустынниках, и о Льве Толстом, и о многом другом.

Не имея никакого представления о самой элементарной агротехнике, не умея отличить пшеницу от ячменя и кукурузу от гороха, они твердо решили, что с момента, когда они, отряхнув со своих ног прах «большого города», переселятся на лоно природы и начнут сеять гречиху и разводить кроликов, их жизнь станет радостной и прекрасной, а деньги сами собою потекут ручьем в их тощие кошельки. Объективные, с их точки зрения, условия для этого были налицо: после первой мировой войны в земледельческих районах Юго-Западной Франции начался отлив населения из деревни в город. Целые районы обезлюдели. Крестьянская молодежь уходила на фабрики и заводы. Посевная площадь резко сократилась.

Правительство и парламент забили тревогу. Франция была кровно заинтересована в том, чтобы ее собственная сельскохозяйственная продукция была в состоянии удовлетворить большую часть потребности в ней населения.

Фермерам был предоставлен целый ряд льгот. Заброшенные фермы охотно сдавались в аренду. Правительство всячески покровительствовало переселению горожан в деревню.

Сюда-то и устремился поток эмигрантских маниловых, Нужно ли говорить, что эта затея кончилась полным провалом. Переселенцам пришлось на собственном горбу убедиться в том, что для занятия земледелием кроме физической силы нужны знания, умение и опыт, которых у них никогда не было. Далее, они узнали, что борьба за существование в деревне не менее бешеная, чем в городе; что кроликов Франция разводит больше, чем может съесть; что средства, выручаемые от продажи ржи и фасоли, не покрывают расходов на их выращивание; что конкуренция в деревне среди фермеров столь же велика, как и в

городе среди торговцев и промышленников.

Арендная плата, налоги, покупка в долг инвентаря раздавили российских маниловых, не сумевших осилить земледельческую премудрость. Последние деньги были проедены, инвентарь описай за долги, не успевшее расцвести хозяйство разорено, а сами маниловы с узелком за спиной были вынуждены пробираться по шпалам обратно в Париж. Новое тяжелое разочарование в жизни, для многих — последнее перед гробовой доской.

Еще хуже сложилась судьба переселенцев в Южную Америку. Лишь очень немногие вернулись оттуда.

В середине 30-х годов в эмигрантской печати появился ряд статей, очерков и информационных сводок о возможности для русских «сесть на землю» в далеком Парагвае. Парагвай описывался в них как рай земной, а возможности для эмигрантов — как неограниченные. Земельные участки предоставлялись якобы даром. Урожаи — диковинные. Климат — превосходный. Сбыт продукции — обеспечен. Переселение — верный путь к богатству. Больше всего около этого дела хлопотал некий эмигрантский генерал Беляев. Он читал специально для русских эмигрантов лекции, давал интервью репортерам эмигрантских газет, делился собственным опытом и впечатлениями — ведь он самолично побывал в этой благословенной стране…

Парагвайская эпопея на некоторое время оттеснила на задний план все другие проблемы, занимавшие внимание «русского Парижа». К Беляеву кинулись тысячи людей. Распродав свой последний жалкий скарб и наделав долгов, они бросились в конторы пароходных компаний, занимавшихся перевозом переселенцев из Европы в Южную Америку, за покупкой билетов. Переполненные людьми океанские гиганты регулярно отходили из Гавра, пересекали оба тропика и экватор и через три недели пришвартовывались в Буэносайресском порту. Оттуда переселенцы направлялись в Парагвай по железной дороге.

Прошло полгода. В Париже были получены первые письма от вчерашних парижан, а ныне новоявленных парагвайцев. За ними последовали десятки, а потом сотни таких писем. Все они представляли собой сплошной крик ужаса и отчаяния и призыв к помощи погибающим людям, жестоко поплатившимся за свое легковерие.

В основе этой парагвайской эпопеи лежали обман и мошенничество. Пароходные компании в погоне за новыми контингентами клиентов и за прибылями бросили большие суммы на пропаганду чудес «парагвайского рая». Все статьи,

заметки и сводки об этом «рае», помещенные в эмигрантских газетах, были щедро ими оплачены. Генерал Беляев, оказавшийся платным агентом этих же компаний, получал от них определенный процент с каждой завербованной им «головы».

Компании заработали на продаже билетов колоссальные суммы. Генерал Беляев потрудился тоже не зря…

К финалу этой трагедии он скрылся из Парижа в неизвестном направлении.

По прибытии в Парагвай переселенцы были брошены на произвол судьбы. Никаких пригодных для земледелия, скотоводства и садоводства участков они не получили.

Инвентаря — тоже. Им предложили отправиться в районы тропических лесов, за многие сотни километров от жилья, и делать там, что им угодно. Парагвайское правительство не собиралось оказывать им какую-либо помощь в чем-либо.

Изнуренные тысячекилометровым переходом по гиблым местам среди лесов и непроходимых зарослей, эти люди ежедневно теряли отставшими и окончательно выбившимися из сил многие десятки своих сотоварищей.

Тропические болезни косили их, как чума былых времен.

Остатки их частью вернулись в столицу Парагвая Асунсьон и перешли на положение безработных, частью погибли на обратном пути, частью добрались до места назначения и там в свою очередь погибли от малярии, кишечных инфекций, голода и истощения.

Так закончилась пресловутая парагвайская эпопея.

Приблизительно в те же годы аналогичная история разыгралась в Республике Перу, куда тем же пароходным компаниям удалось сманить значительную группу бедствовавших в различных странах Европы кубанских казаков. Почти все они погибли в тех же условиях, что и «парагвайцы».

После этого дальнейших попыток «сесть на землю» уже не было.

В настоящих воспоминаниях я неоднократно подчеркивал, что бесправие русских эмигрантов во Франции было для них тяготой не меньшей, чем материальная необеспеченность. Они ежедневно читали на фронтонах правительственных учреждений девиз Французской Республики: «Свобода, равенство, братство» и, читая эти золотые слова, мучительно переживали сознание того, что для них на территории капиталистической Франции не существует ни одного из этих благ.

Вместо свободы — насильственное включение в чуждую для них армию, защищающую чуждые для них интересы.

Вместо равенства — процентная норма при приеме на работу, а для многих — запрещение права на труд.

Вместо братства — презрительная кличка.

Обман в государственном масштабе рабочих, ввозимых во Францию из других стран по контрактам, наметился еще в конце 20-х годов. Всем им была обещана по отбытии срока контракта работа по их свободному выбору в любом учреждении, на заводе, фабрике или руднике.

Когда ударил первый из очередных экономических кризисов, их тотчас же выгнали с этих заводов, шахт и рудников. Об их дальнейшей судьбе никто не беспокоился. Дальше — больше: на всех предприятиях и стройках страны была введена процентная норма при приеме рабочих-иностранцев. Сотни тысяч их были выброшены на улицу и обречены на лишения и муки голода. Это тоже никого не трогало и ничьего внимания не привлекало.

Но и этого оказалось мало. В 30-х годах все иностранцы были поделены на две категории: имеющие право на труд и этого права не имеющие.

Тут советский читатель прервет чтение и в негодовании и изумлении воскликнет: — Что за ерунда! Как можно лишить человека неотъемлемого права трудиться? Тут что-то не так?!

К сожалению, дорогой читатель, именно так. Вы этого не можете себе представить, потому что вы родились и выросли в стране, где труд есть дело чести и где право на этот труд закреплено Конституцией для всех без исключения граждан, находящихся на территории страны.

Страну эту заправилы господствующих классов капиталистических государств окрестили страной, якобы задушившей так называемую «индивидуальную свободу».

А в одном из этих так называемых «свободных» государств — в капиталистической Франции с ее девизом свободы, равенства и братства — труд для нескольких сот тысяч людей оказался преступлением, и не в переносном, а в самом прямом смысле слова. Судите сами: если вы отнесены чиновниками министерства труда к категории не имеющих права трудиться и если на этом основании префектура полиции выдает вам carte d'identite (удостоверение личности) зеленого цвета — для неработающих — вместо вожделенного для вас удостоверения серого цвета, всякая ваша дальнейшая платная работа делается преступлением, за которое ваш работодатель заплатит в административном порядке крупный штраф, а вы предстанете перед исправительным судом в качестве нарушителя законов. Вам грозят в этом случае обычные кары: штраф, тюрьма, высылка.

Среди сотен тысяч иностранных рабочих и служащих, испытавших во Франции все вышеописанное на собственном опыте, были и многие тысячи русских эмигрантов. Допустим,

умирающему с голоду русскому безработному, имеющему зеленое удостоверение, посчастливилось найти какую-то работу. Хозяину предприятия или учреждения иной раз бывает выгодно принять находящегося в безвыходном положении русского эмигранта; он будет платить ему в три раза меньше, чем полноправному французу, а работать русский будет в три раза лучше.

Что же дальше? Он работает одну, две, три недели.

Но вот кто-то донес об этом в префектуру. Дальнейшие события развертываются так, как описано выше.

Начиная с середины 30-х годов полицейские облавы с целью уловления иностранцев, не имеющих права работать, сделались в Париже обычным явлением. Полицейские чиновники врывались в русские «обжорки», гаражи, помещения, где происходили собрания. Однажды к театру Шатле, где шел очередной оперный спектакль «русского сезона», подкатили три или четыре полицейских грузовика. За кулисами во время антракта началась проверка документов. Полтора или два десятка хористов и хористок, не имевших права на труд, в костюмах бояр и путивльских девушек из «Князя Игоря» были посажены в машины и отправлены в префектуру, где им было предъявлено обвинение в нарушении законодательства о труде, то есть в платной работе в театральном предприятии. Тщетно дирекция «русского сезона» доказывала, что работа эта — временная; что никакой конкуренции для французских безработных хористов она не представляет, так как последние не знают русского языка и, следовательно, не могут быть использованы в русской опере; что арест чуть ли не половины хора грозит сорвать не только данный спектакль, но и весь «сезон».

Напрасно!

Дирекция заплатила штраф за прием на платную работу иностранцев с зелеными удостоверениями, а их обладатели предстали перед парижским исправительным судом, на фронтоне здания которого высечены все те же великие слова: «Свобода, равенство, братство».

Одной из самых тяжелых сторон жизни попавших во Францию иностранцев — служащих и рабочих, имевших службу и работу или потерявших ее, — была постоянная угроза высылки по любому поводу или безо всякого повода.

Законы Франции предоставляют право каждому префекту департамента[9] высылать из Франции любого иностранца, проживающего в данном департаменте, коль скоро он, префект, сочтет его «нежелательным иностранцем» (etranger indesirable). Объяснять заинтересованному лицу, в чем эта нежелательность

заключается, он не обязан. Практически высылка осуществляется так: иностранца вызывают в префектуру полиции, отбирают у него carte d'identite (удостоверение личности с фотографией, оттиском пальцев и отметкой о прописке) и вручают ему avis (извещение) с предписанием покинуть Францию в восьмидневный срок.

Для громадного большинства осевших во Франции иностранцев — служащих, рабочих, батраков и безработных — все дороги для переезда в другие страны закрыты, о чем мне уже приходилось упоминать. Волей или неволей такой высылаемый иностранец переходит, начиная с девятого дня, на нелегальное положение. Документов у него нет, права прописки и права работы — тоже. Полицейские агенты рыщут за ним по пятам. Он превращается в затравленного зверя, ночует каждую ночь в новом месте у кого-либо из своих друзей и знакомых. Но долго длиться такое положение не может. Не позже как через несколько недель после вручения ему avis о высылке он попадает в руки агентов полиции. Теперь он уже не просто «нежелательный иностранец», а преступник. Таковы законы Французской Республики. Его судят как правонарушителя, не выполнившего приказа о высылке. Тщетно он пытается доказать судьям, что все пути для переезда в другие страны для него закрыты, а если он эмигрант итальянский, испанский, русский или какой другой, то у него, кроме того, нет даже и обычного паспорта, на котором какое-нибудь консульство могло бы, хотя бы теоретически рассуждая, поставить визу.

Все это хорошо известно судьям. Но они его не слушают.

Приговор — тюрьма. Для начала — короткий срок. По отбытии тюремного заключения этот не совершивший никакого преступления, но утерявший элементарные гражданские права гражданин вновь попадает в руки полиции.

Положение — прежнее: документов, работы и права прописки нет. Avis о высылке сохраняет свою силу. Снова арест, снова суд. Теперь он уже «рецидивист». Приговор — снова тюрьма, но уже на более длительный срок.

По вторичном выходе из тюрьмы все начинается сызнова.

Среди «нежелательных иностранцев» было и несколько сот русских парижан. Один из них, как это было установлено одним из депутатов французского парламента, побывал в тюрьме на протяжении полутора десятков лет свыше 20 раз и обошелся французской казне, как подсчитал тот же депутат, без малого в 30 тысяч франков.

Полиция была вынуждена изменить тактику. Арестованного «нежелательного иностранца» доставляли теперь в полицейском

автокаре на ближайшую границу (для Парижа и его окрестностей — бельгийскую, для других мест — испанскую, итальянскую, швейцарскую или германскую) и заставляли его идти в указанном полицейскими агентами направлении, предупредив, что в случае возвращения его ожидает долгосрочная тюрьма.

Через полчаса или час после этого его арестовывала на своей территории уже бельгийская или испанская полиция и после нескольких дней следствия препровождала на ту же границу, но в обратном направлении с теми же самыми предупреждениями.

Теперь он для Франции — нелегально проникший на ее территорию нарушитель границы. Новый арест, новая высылка. Снова перебрасывание через границу. Снова после этого — швыряние в обратном направлении. Человек с его так называемой в странах капитализма «индивидуальной свободой» превращается в футбольный мяч.

Буржуазная общественность, кричащая на весь мир о ценности так называемой «индивидуальной свободы» для каждой личности в странах «свободного запада», не считает нужным утруждать свой «благородный» мозг размышлениями о судьбе этих рабов капитала, тем паче принадлежащих к категории «метеков»[10].

Небезынтересно отметить, что в любом списке высылавшихся из страны «нежелательных иностранцев» никогда нельзя было встретить ни одного имени, носитель которого принадлежал бы к масонской организации или был бы связан с миром капитала. Эта категория иностранцев имеет прочный «иммунитет» в лице «досточтимых» — руководителей своих масонских лож или в лице влиятельных капиталистов. Полиция, администрация и суд — покорные выполнители воли и тех и других.

Многим русским парижанам памятен трагический случай с одним инженером-эмигрантом, имевшим несчастье попасть в колесо бюрократической полицейской машины и очутиться в списке «нежелательных иностранцев».

Дело началось с того, что инженер перешел улицу в неположенном месте и был остановлен постовым ажаном, сделавшим ему надлежащее внушение. В большом смущении инженер, не владевший французской речью, начал изъясняться на «помеси французского с нижегородским» и на свое горе произнес по-русски такую фразу: — Этот ваш закон мне не был известен.

Ажан, конечно, ничего не понял. Из всей фразы его ухо уловило только одно слово — ваш.

Этого было достаточно, чтобы закрутилось колесо полицейского бюрократизма. Дело в том, что русское слово ваш

означает на французском языке корова. Этим словом во Франции дразнят полицейских, и оно считается среди последних высшим оскорблением. Возникло дело об оскорблении иностранцем французского полицейского агента при исполнении служебных обязанностей. Приговор — высылка. Дальше колесо закрутилось так, как это было только что описано. Не помогли никакие разъяснения и доводы инженера, что в основе всего «дела» лежит роковое трагикомическое недоразумение с неправильно понятой ажаном русской фразой и с этим сакраментальным словом ваш.

«Поганых иностранцев» во Франции не слушают. Инженера постигла участь футбольного мяча. Не выдержав повторных переброс через границу и связанных с ними душевных и физических мытарств, инженер покончил жизнь самоубийством.

В 1938 году, когда международная атмосфера была насыщена электричеством и когда уже слышались глухие раскаты грома приближающейся грозы, французское правительство, испытывая нужду в пушечном мясе, провело закон о включении во французскую армию в случае войны всех иностранцев-мужчин в возрасте от 20 до 48 лет, проживавших на территории Франции и утративших свое первоначальное подданство. Им был присвоен термин «апатриды». Чтобы прикрыть фиговым листком наготу такого вопиющего нарушения международною права, этому включению был придан характер «добровольности».

Каждому «апатриду» предоставлялось право выбора: или подписать свое согласие на включение его во французскую армию, или покинуть пределы Франции.

Подавляющему большинству «апатридов» — итальянцев, испанцев, поляков, русских, армян — все пути для переезда в другие страны были закрыты. Вызванные повестками в полицейские комиссариаты по месту своего жительства, они, не смея проронить ни одного слова протеста, один за другим мрачно подписывали подсунутое им обязательство. Это означало, что в случае возникновения европейского или мирового вооруженного конфликта «апатрид» должен будет сражаться за чуждые ему интересы или еще хуже — стрелять в своих братьев, находящихся по ту сторону фронта.

Читателя, несомненно, заинтересует вопрос: могли ли эти «апатриды», как и другие иностранцы из «стана обездоленных», осевших во Франции, получить французское подданство и этим хотя бы отчасти улучшить свое юридическое и материальное положение?

Этот вопрос разрешался так: капиталистическая Франция нуждалась в пушечном мясе. С этой точки зрения для нее интерес представляют лишь мужчины призывного возраста, а из более

старших возрастных групп — лишь те, у кого имеются сыновья, то есть потенциальные солдаты. Если же ваше потомство состоит из дочерей, то вы не нужны. Не нужны вообще все женщины и девушки.

Но… есть исключения и из этого общего правила. Если вы масон, то получить французское подданство для вас будет нетрудно, к какому бы возрасту и полу вы ни принадлежали. Ваш «досточтимый» (руководитель первичной масонской ложи) адресуется куда следует. Там в свою очередь нажмут все нужные кнопки: ведь в министерствах повсюду сидят свои же «братья»! Через несколько месяцев после этого вы делаетесь полноправным французским гражданином.

Но, как правило, подавляющее большинство русских эмигрантов, осевших во Франции, относились к принятию французского подданства резко отрицательно. Это большинство, как читатель уже знает, считало свое пребывание во Франции временным. Оно жило бреднями о «будущей России». Но и те, которые этих химер не разделяли, смотрели на это принятие с не меньшим недоброжелательством.

Условия жизни и быт русских эмигрантов сложились помимо их воли так, что Франция была и осталась для них чужой страной, к дальнейшим судьбам которой они были совершенно равнодушны. Многие из них смутно предчувствовали, что в сложной международной обстановке обстоятельства могут сложиться так, что капиталистическая Франция окажется в лагере государств, враждебно настроенных к их родине, о которой они, несмотря на свои многочисленные политические заблуждения и ошибки, ни на минуту не забывали. Если же дело дошло бы до вооруженного конфликта, то их положение в случае принятия ими французского гражданства сделалось бы совершенно невыносимым.

Вот почему о принятии французского гражданства для большинства русских эмигрантов не могло быть и речи. Выше было сказано, что это было неосуществимо даже при наличии такого желания. Юридически они оставались «апатридами» — термин, заменивший собою старое понятие «беженцы», а с точки зрения паспортной системы — «нансенистами». У многих из этих «нансенистов» в глубине души теплилась надежда, что рано или поздно кличка «апатрида» отпадет сама собой, а на смену certificat de Nansen придет тот долгожданный паспорт, глядя на который Маяковский воскликнул: «Читайте, завидуйте! Я — гражданин Советского Союза!» Главу о жизни, быте и нравах «русского Парижа» я заканчиваю описанием его умирания, то есть того исторически неизбежного процесса, который был ясно видим

для каждого беспристрастного наблюдателя с первого дня рождения эмиграции, но о котором сама эмиграция не хотела и слышать.

Не думала она и о том, что физической смерти каждого отдельного эмигранта будет предшествовать долголетнее состояние инвалидности и старческой дряхлости. Вот почему среди сотен эмигрантских организаций, союзов, объединений и обществ не было таких, которые вплотную подошли бы к вопросу о том, куда девать многотысячную массу своих членов, что с ней делать, когда людям, ее составляющим, стукнет 70 или 80 лет.

«Отдушиной» явилось открытие под Парижем в конце 20-х годов убежища для престарелых, основанного англо-американкой мисс Пэджет. История этого учреждения, бывшего неразрывной частью «русского Парижа» более 20 лет, небезынтересна с бытовой стороны.

В 1934–1937 годах в течение летних месяцев я замещал в порядке совместительства штатного врача этого учреждения Э. Н. Бакунину по ее личной просьбе, что дало мне возможность близко познакомиться с жизнью этой в своем роде единственной богадельни и с ее обитателями.

После первой мировой войны, когда на международную финансовую арену выступили нувориши, то есть нажившиеся на войне миллионеры и миллиардеры, среди последних был распространен обычай посылать своих подрастающих сыновей и дочерей в Париж для овладения ими безукоризненной великосветской французской речью и для привития им «хороших манер» и «хорошего тона» так называемого «высшего общества».

В их числе оказалась и вышеупомянутая девушка англо-американского происхождения мисс Пэджет. В качестве воспитательницы и одновременно компаньонки для выездов «в свет» родители приставили к ней русскую княгиню М. Княгиня М. не только выезжала с ней «в свет» и учила ее хорошим манерам и великосветскому «тону», она попутно вбивала своей юной питомице-миллиардерше, что будущий расцвет Англии и Америки — где родились ее отец и мать — неразрывно связан с таковым же расцветом «будущей России», и притом, конечно, России царской; что «соль земли», с помощью которой эта Россия возродится, — русская сановная и чиновная знать; что сейчас эта «соль земли» находится в бедственном положении и что ее надо во что бы то ни стало спасти.

На этом поприще княгиня М. преуспела: семена, посеянные в голове ее воспитанницы, дали обильные всходы.

Потеряв вскоре обоих родителей, юная мисс Пэджет сделалась наследницей их миллиардов. Она пожертвовала

несколько миллионов франков на устройство убежища для престарелых представителей «соли земли», где они, находясь в своей великосветской среде, по ее мысли, были бы избавлены от унижений и оскорблений парижской «толпы».

Для этой цели в 50 километрах от Парижа, в местечке Сент-Женевьев де Буа, была куплена громадная усадьба, возведен ряд дополнительных корпусов и арендован ряд подсобных помещений для служебного персонала. В 1928 или 1929 году убежище было открыто. Оно получило название «Русский дом» и существует по сей день, хотя его первоначальный облик с течением времени претерпел большие изменения.

В «Русском доме» призревалось 300 престарелых представителей санкт-петербургской и царскосельской знати.

Пожизненной директрисой его мисс Пэджет назначила свою воспитательницу княгиню М.

«Русский дом» сделался забавой праздной и скучающей от безделья молодой наследницы пэджетовских миллиардов. Она часто бывала в нем, лично обходила все 300 комнат, где оканчивали свои дни превосходительные и сиятельные обитатели. При выходе из этих комнат у нее на глазах были слезы, а ее кошелек все шире и шире раскрывался для оплаты разных затей, которые, как она полагала, должны были скрасить существование клиентов основанной ею богадельни.

Привыкнув обращать ночь в день и день в ночь, она, наплясавшись до изнеможения в парижских ночных дансингах, подкатывала в 3 часа ночи на «роллс-ройсе» к своему детищу, будила администрацию дома, стариков и старух и с помощью дюжины прибывших с нею лакеев устраивала «пир на весь мир». Лакеи разносили сановным клиентам богадельни зернистую икру, балыки, разные закуски-деликатесы, ананасы, бананы, груши, апельсины, виноград, шампанское, кофе, ликеры, торты, конфеты, печенье. 80-летние клиенты заплетающимся языком славословили свою благодетельницу. Эта последняя плакала от умиления и от выпитого шампанского. К 7 часам утра «сиятельные» старцы и старушки еле-еле добирались до своих «келий», а благодетельница отбывала в Париж в сознании выполненного ею долга по отношению к петербургской «соли земли», которой она дала возможность вспомнить старые времена.

Проходило несколько дней, и к воротам «Русского дома» ночью подкатывала уже целая вереница автомобилей во главе с «флагманской» машиной основательницы дома. Часовая стрелка показывала два часа. Ночная тишина мирного местечка оглашалась звуками гитар и хоровым пением, а вековой парк

усадьбы вспыхивал яркими огнями иллюминаций. Скучающая англо-американка привезла с собою на этот раз цыганский хор: надо же, чтобы «соль земли» утешилась и почувствовала себя как бы в Петербурге с его загородными ресторанами, где в одну ночь прокучивались десятки тысяч золотых рублей и где прожигалась молодость и здоровье тех, кто окружал ее сейчас и стоял теперь одной ногой в могиле.

За цыганским хором — все новые и новые миллиардерские забавы: сердобольная мисс привозила с собою оркестры балалаечников, устраивала грандиозные фейерверки и гулянья, а однажды, наняв полсотни легковых машин, повезла все могущее двигаться население дома на скачки — в день розыгрыша президентского приза, когда на ипподроме собирается весь великосветский Париж. Сотни тысяч франков летели направо и налево, слава о благодеяниях бывшей воспитанницы княгини М. разнеслась по всему «русскому Парижу».

Любопытную картину осколков рухнувшего в бездну мира представляло население этого дома. Входя под его своды, вы вступали в царство теней: вот по широкому коридору плетется 94-летняя вдова варшавского генерал-губернатора; за нею — 80-летний флигель-адъютант свиты его величества. Его лицо перекошено от гнева, а беззубый рот шепчет: — И эта старая кляча (при этом он показывает рукою на генерал-губернаторшу) смеет утверждать, что у нее походка молодой альпийской серны!..

Вот комендант царскосельского дворца — свитский генерал-майор — делится с командующим войсками Московского военного округа новостью: население «Русского дома» на днях пополнится новым обитателем — светлейшим князем Голицыным. Они долго спорят о том, кто он: лейб-улан или лейб-гусар, припоминают встречи с ним, перерывают всю его родословную, отпускают на его счет полные яду насмешки. Обоим им — далеко за 80 лет. Весь мир для них сузился до последних пределов. За пределами воспоминаний о лейб-драгунах, кирасирах и кавалергардах их больше ничего не интересует.

Вы шли дальше по зданию и выходили в тенистый вековой парк. Там и сям все новые и новые тени: министры, губернаторы, сенаторы, камергеры, действительные тайные советники, фрейлины ее величества, статс-дамы, начальницы институтов для благородных девиц, светлейшие князья, графы, бароны — все то, что когда-то составляло остов потонувшего мира и что теперь доживало свои дни в маленьких кельях богадельни среди воспоминаний о молодости и о былом могуществе, богатстве, сытой, праздной и роскошной жизни.

Основательница «Русского дома» первоначально

предназначала его лишь для тех, в чьих жилах течет «голубая» кровь. Обитатели его крепко держались за эту привилегию. Стоя перед лицом вечности, они с удесятеренной злобой и бешенством обрушивались на всякого, в ком этой крови не было и кого судьба занесла к ним в качестве временного или постоянного соседа по дому.

Сначала это явление было случайным. Среди их высокопревосходительств и их сиятельств вдруг оказывался старый армейский служака-офицер плебейского происхождения или какой-нибудь сомнительный дворянин, о дворянском происхождении которого никто ничего не слышал.

А однажды в «Русский дом» по личному распоряжению основательницы была принята — о, ужас! — журналистка.

В этих случаях во всех кельях поднималось злобное шипение и бешеная брань. Как! В среду патрициев затесались какой-то сиволапый армейский мужик и какая-то проклятая «слюнявая интеллигентка»!

Но время шло. Обитатели дома один за другим переселялись на расположенное рядом русское кладбище. Подули другие ветры.

Взбалмошной благодетельнице русских патрициев надоела сентженевьевская игрушка. Ее потянуло на яхты, в кругосветные путешествия, к миллионным ставкам в казино Лазурного берега и к другим развлечениям скучающих миллионеров. Она покинула Париж и перестала интересоваться своим детищем. Вскоре она совершенно от него отказалась.

«Русский дом» перешел в ведение французского министерства социального обеспечения и потерял свой сословный характер. Цыганские хоры, скачки, балалаечники и пэджетовские кутежи отошли в область преданий. Новые клиенты дома состояли из эмигрантских «разночинцев». От прежнего петербургского и царскосельского духа в его стенах не осталось и следа.

В конце 30-х годов тихое местечко Сент-Женевьев де Буа все больше заселялось русскими. На его малолюдных улицах все чаще и чаще слышалась русская речь. Первоначально это были близкие родственники призреваемых, потом появились дачники, кое-как сколотившие маленькую сумму, чтобы снять на месяц-полтора комнату в хибарке у кого-либо из местных жителей.

Разрасталось и русское кладбище, расположенное на окраине городка. Муниципалитет отвел для него обширную территорию, быстро покрывавшуюся свежими могилами и крестами. Родственники умерших в Париже эмигрантов отдавали все, что имели, чтобы похоронить прах близкого человека на этом кладбище, которое в их представлении стало чем-то вроде уголка

старой России.

Если вам, читатель, случится быть в Париже, то после того, как вы покончите с осмотром его достопримечательностей и с вашими личными делами, пройдите на площадь Данфер-Рошро, сядьте в автобус, идущий в Сент-Женевьев де Буа и попросите кондуктора (он же и водитель) остановиться около «Русского дома». Вы издалека увидите позолоченный крест кладбищенской церкви, построенной в стиле древних новгородских храмов на средства, пожертвованные Рахманиновым. Прогуляйтесь по посыпанным песком дорожкам кладбища и прочитайте надписи на могильных крестах. Перед вашими глазами пройдет весь канувший в вечность старый мир, о котором вы слышали по рассказам и читали в книгах.

Поминать добрым словом этот мир мы с вами, конечно, не собираемся, но взором туриста и историка его окинем.

Мы увидим много любопытного. Между могилами мы разглядим одинокие сгорбленные фигуры последних представителей умирающего «русского Парижа», когда-то бесплодно и бесцельно бурлившего и шумевшего. Они приехали сюда из Парижа посмотреть на этот уголок столь любезной их сердцу старой России.

Позади у них — бесцельно прожитая жизнь на чужбине, состоявшая из одних ошибок, рабский труд на пользу «ликующим», горе, страдания, унижения среди чуждых и непонятных им людей. Впереди — одинокая горькая старость, беспросветная тьма и бесславная смерть.

О чем они думают, склонившись над могильными крестами и роняя тихо текущие по щекам слезы? Ведь у многих из них среди похороненных здесь нет ни одного близкого и дорогого существа.

Мы едва ли ошибемся, если скажем, что это — слезы позднего и горького раскаяния в том, что, когда после Победы русский народ протянул им руку помощи и простил все ранее ими содеянное, они безрассудно эту руку оттолкнули и обрекли себя на умирание в чужих краях на положении рабов его величества капитала. Глядя на них, невольно вспоминаешь стихи Батюшкова, когда-то вдохновившие великого Чайковского на создание его «Фатума»: Ты знаешь, что изрек, Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?

Рабом родится человек.
Рабом в могилу ляжет…
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез…

IX
Русская церковь за рубежом

В этой главе я хочу поделиться с читателем воспоминаниями о жизни зарубежной русской православной церкви.

Я не буду касаться религиозных убеждений эмигрантов.

Общеизвестно, что это дело совести каждого человека в отдельности. Копаться в них и тем более делать какие-либо выводы и заключения — это значило бы заведомо впасть в ошибку и пойти по ложному пути. Я буду говорить исключительно об организационной структуре церкви и о внешних формах ее жизни.

Самое удивительное в этой структуре — тот трудно понимаемый для стороннего наблюдателя факт, что зарубежная русская церковь в первые же годы после революции раскололась на три части, не избежав общей для всех эмигрантских организаций участи.

Читатель, конечно, подумает, что речь идет о догматических несогласиях на верхах церковного управления.

Ведь когда-то в глубине веков одно слово filioque («…и сына») раскололо бывшую до того единой христианскую церковь на две части: православие и католичество. В последующей жизни православной церкви время от времени также возникали догматические несогласия, приводившие к отделению от нее различных религиозных сект.

В зарубежье догматического разброда не было. Православная церковь оставалась и жила с единым учением — таким, каким оно существовало почти два тысячелетия.

Но было то, без чего не обходилось ни одно проявление эмигрантской жизни: споры, раздоры и скрытая борьба руководителей.

Уже в первые годы после того, как среди многотысячной массы русских, очутившихся за рубежом, оказались и церковные иерархи, между ними возникли острые и резкие разногласия по поводу организационных форм устроения церковной жизни. Волна эмигрантского политиканства захлестнула и эту среду, которая, казалось бы, по своему существу должна быть вне всякой политики.

Во главе одного течения встал митрополит Евлогий.

Ссылаясь на техническую невозможность осуществления постоянной связи с патриархом Московским и всея Руси, он объявил автокефалию, то есть самостоятельность зарубежной

русской православной церкви (церковные законы допускают это), после чего стал официально именоваться митрополитом западноевропейских русских православных церквей, полностью отделившись от Московской патриархии.

Прошлое митрополита Евлогия весьма неприглядно.

В свое время он принадлежал к крайне правому течению политической мысли и на этом поприще стяжал себе в царской России печальную известность. Но, попав в эмиграцию, он порвал с политикой и политиканством и в течение последующих 25 лет вплоть до своей смерти не принимал участия в эмигрантских политических группировках и политических выступлениях, ограничив круг своей деятельности вопросами церковной жизни и благотворительностью. В годы войны он встал на четкую патриотическую позицию, а после Победы, уже в 84-летнем возрасте и будучи прикованным к постели тяжелым недугом, благословил эмиграцию на возвращение на родину. За несколько недель до своей смерти он принял советское гражданство и получил из рук советского посла во Франции А. Е. Богомолова советский паспорт. Символически этот паспорт был ему вручен под номером первым. Митрополит Евлогий пользовался в эмиграции и во французских кругах общим уважением. К возглавляемому им течению принадлежало подавляющее большинство русских зарубежников. Жил он при храме на улице Дарю, о котором мне неоднократно придется упоминать. Храм этот четверть с лишним века был кафедральным собором «евлогиевской» церкви.

Совсем другой вид имела отколовшаяся от евлогиевцев часть русского церковного зарубежья, возглавляемая митрополитом Антонием. В противоположность Евлогию этот последний с головой ушел в эмигрантскую политику, заняв в ней крайне правый фланг. Официально это течение считало своим верховным органом эмигрантский святейший синод, состоявший из сподвижников Антония.

Местопребыванием синода был югославский городок Сремски Карловцы, где в первые годы эмиграции была также резиденция Врангеля. Отсюда все 25 лет раздавались призывы к «священной борьбе против большевизма», благословлялось всякое оружие, направленное против него, возглашались на ектениях[11] специальные просительные молитвы соответствующего содержания и направления.

Отсюда же раздавались слова, благословлявшие белых офицеров и солдат на вступление в ряды гитлеровского вермахта.

Последователей митрополита Антония и святейшего синода — антониевцев — было неизмеримо меньше, чем

евлогиевцев. Это были преимущественно представители вымирающей царскосельской и петербургской знати и высшего чиновничества. В Париже представителем «антониевской» церкви был митрополит Серафим. Его кафедра находилась в церкви на бульваре Экзельманс, перестроенной из барского особняка, купленного кем-то из петербургских аристократов, сохранивших в первые годы после революции кое-какие деньги в заграничных банках.

К митрополиту Евлогию и евлогиевцам антониевцы относились резко агрессивно. Святейший синод, засевший в Сремских Карловцах, объявил Евлогия и подопечное ему духовенство «лишенными благодати», а все церковные акты, выполняемые этими последними, — недействительными.

Третьим течением зарубежной церкви была та часть духовенства, которая осталась верна Московской патриархии и признавала ее юрисдикцию. Деятельность этой части духовенства проходила в трудных условиях. Значительная часть эмиграции, фанатически настроенная и злобствующая, объявила этот филиал патриаршей церкви «большевиствующим» и ежедневно подвергала его бешеной травле, а его прихожан равным образом считала неблагонадежными и весьма «подозрительными по большевизму…».

Следует отметить, что с первых же дней зарождения эмиграции церковные дела играли большую роль в ее повседневной жизни и были предметом бурных споров, взаимного озлобления, словесных потасовок и газетной грызни. Вышеописанные раздоры среди церковных иерархов неизбежно перекинулись и на всю эмиграцию в целом, состоявшую в преобладающем большинстве из верующих. Я не помню ни одного случая, чтобы эмигрант, характеризуя в разговоре с приятелем кого-либо из своих знакомых, не упомянул бы также о принадлежности его к евлогиевцам, или к антониевцам, или к патриаршей церкви.

Иногда дело доходило до курьезов. Поскольку «антониевский» святейший синод объявил «лишенными благодати» всех инакомыслящих священнослужителей, а совершаемые ими обряды крещения, исповеди, причастия, брака и отпевания умерших недействительными, ярые поборники «антониевской» церкви из числа мирян отказывались считать, например, женатыми молодые пары, обвенчанные в «евлогиевских» или патриарших храмах и чуть ли не на всех перекрестках трубили, что такой-то и такая-то «находятся в незаконном сожительстве», что это разврат и «потрясение основ», что приличные люди не должны пускать их на порог своего дома,

что их дети, имеющие появиться на свет, «незаконнорожденные» и т. д.

Всем трем епархиям в Париже принадлежало 12 отдельных церквей.

Кроме них существовало еще одно церковное учреждение — высший богословский институт с программой преподавания, принятой в русских духовных академиях.

Целью его была подготовка духовенства с высшим богословским образованием для многочисленных церковных приходов православного зарубежья. Подчинялся он юрисдикции митрополита Евлогия, а содержался на американские деньги. Помещался богословский институт в зданиях бывшей лютеранской кирки, занимавшей довольно обширный участок в 19-м городском округе, населенном почти исключительно рабочим людом и расположенном на крайнем северо-востоке Парижа, вдалеке от мест расселения русских эмигрантов. Достопримечательностью храма был его многоярусный иконостас, выполненный большим знатоком древней русской живописи художником Стеллецким в стиле иконописи времен Андрея Рублева. Иконостас был предметом особого внимания иностранных искусствоведов, не забывавших при посещении Парижа заглянуть в этот своеобразный «экзотический» уголок. После Победы и незадолго до своей смерти Стеллецкий завещал свои эскизы и остальное художественное наследство Третьяковской галерее в Москве.

Как я уже сказал, богословский институт, или, как его чаще называли, Сергиевское подворье, подчинялся юрисдикции митрополита Евлогия и содержался на американские деньги. Среди эмигрантов ходили слухи, что деньги эти, щедро поступавшие в его кассу, шли из масонских источников. Следует отметить, что масонство, имеющее одной из своих тайных целей борьбу с христианством (но не с прочими религиями), запустило свои щупальца в церковные круги всех христианских вероисповеданий, причем, как это ни парадоксально, оказывало иногда из тактических соображений финансовую поддержку различным церковным и связанным с ними организациям. На каком-то этапе этой борьбы оно считало необходимым завлечь в свои сети церковные круги и возглавлявших их иерархов.

Так, в глухой борьбе друг с другом просуществовали четверть века три течения русской зарубежной церковной жизни. Только пронесшаяся над всем миром буря 40-х годов вновь соединила эти, казалось, несоединимые течения. Миссию объединителя выполнила Московская патриархия в лице митрополита Крутицкого Николая, прибывшего в Париж вскоре после Победы в

качестве посланца патриарха Московского Алексия.

Полный переворот, который произошел в умах и сердцах подавляющего большинства эмигрантов за годы войны, имел одним из своих последствий тот вывод, что церковный раскол в русском зарубежье представляет собой совершенную нелепость. Митрополит Евлогий одним из первых заявил о своем подчинении патриарху Московскому.

За ним последовало все «евлогиевское» духовенство и «евлогиевская» паства.

Антониевцы со своей стороны пошли по тому же пути.

Парижский резидент «антониевской» церкви митрополит Серафим публично признался в своих политических заблуждениях, покаялся во всех грехах, совершенных им против патриаршей церкви и родины в течение двух предшествовавших десятилетий, и также признал патриарха Московского единым носителем высшей церковной власти русской православной церкви.

Казалось, что такое признание церковных заблуждений духовенством и паствой есть первый этап признания эмиграцией и ее политических ошибок. Все прочие проблемы, волновавшие эмиграцию, временно отошли на задний план. Подавляющая часть эмиграции твердо верила, что митрополит Крутицкий Николай, прибывший вскоре в Париж со специальной миссией объединения всех течений православной церкви, привез с собою прощение и отпущение всех ее многочисленных прегрешений, заблуждений и шатаний и что за этим первым шагом по пути забвения тяжелых ошибок прошлого последуют и другие шаги.

Эмиграция не ошиблась.

Взоры большинства русского зарубежья окончательно устремились в сторону улицы Гренель, в посольство Советского Союза. Оттуда ждали решающих постановлений, определяющих пути воссоединения с родиной истомившихся на чужбине сотен тысяч людей.

Это поняли все, даже иностранцы. Но они-то именно и приступили к разрушению этого стихийно вспыхнувшего порыва к единению.

«Холодная война» к тому времени уже началась.

Кое-кому стремление эмиграции к возвращению на родину встало поперек горла. Были пущены в ход все средства, чтобы помешать этому. Начали с только что объединившейся церкви. В нее стали вбивать клин за клином.

Особенно усердствовал в этом направлении богословский институт. Кое-кто из-за кулис далеко из-за океана дирижировал всей этой вакханалией.

Митрополит Евлогий, принявший советское гражданство, к тому времени умер. Это облегчило задачу поборников «холодной войны». Митрополичью кафедру западноевропейских русских православных церквей и кафедральный собор на улице Дарю захватили сторонники епископа Ниццкого Владимира, шедшего на поводу тех церковных и светских кругов во главе с богословским институтом, которые поминутно озирались на палочку заокеанских дирижеров — основателей и содержателей этого института.

Занявший парижскую кафедру епископ Владимир немедленно заявил о своем разрыве с патриаршей церковью.

Вскоре заявили о том же и антониевские иерархи. Но с паствой уже ничего нельзя было сделать. Остановить стихийное стремление к возвращению на родину оказалось невозможным. Как ни старались владимировцы и антониевцы, значительное число прихожан храма на улице Дарю покинуло его, перекочевав в единственную в Париже церковь на улице Петель, оставшуюся верной Московской патриархии так же, как ее прихожане — Москве.

Мне остается сказать еще о той роли, какую играла в «русском Париже» церковная жизнь в 20-х, 30-х и 40-х годах.

Русские храмы существовали за рубежом до революции почти исключительно в европейских и отчасти азиатских столицах, в которых были аккредитованы русские посольства. Несколько храмов было воздвигнуто тогда же вне этих столиц в местах скопления русских туристов и курортных клиентов, как, например, в Женеве, Ницце, Флоренции, Висбадене и других местах. Наконец, некоторые из них были построены как исторические памятники на местах великих битв русской армии (Шипкинская в Болгарии, Лейпцигская в Германии и другие).

С появлением за рубежом русских эмигрантов храмы стали появляться во всех местах сколько-нибудь значительного эмигрантского скопления. Само собой разумеется, что полунищая эмиграция не могла ничего строить в прямом смысле слова. Церкви создавались где придется: в особняках, гаражах, подвалах, иногда палатках. Иконостасы и предметы церковного обихода изготовлялись кустарным способом — «от руки». Внутреннее убранство в большинстве таких импровизированных церквей отличалось своей бедностью. Но повсюду на довольно большой высоте были хоры. Некоторые из них в местах очень большого скопления эмигрантов превратились в ансамбли самого высокого удельного веса и громадной художественной силы. Они приобрели мировую известность, как, например, парижский хор Афонского и софийский хор донских казаков. О них мне придется

еще говорить в главе, посвященной зарубежному русскому музыкальному искусству.

В Париже специально построенных православных церковных зданий было только два: кафедральный собор на улице Дарю и храм Сергиевского подворья (богословского института), переделанный из лютеранской кирки.

Характерной черточкой внешнего вида местности, непосредственно прилегавшей к церкви, были «обжорки», лавки и ларьки. Без этой декорации невозможно представить себе ни одного крупного русского зарубежного храма. Еще более характерным штрихом этого вида были церковные дворы в дни воскресных богослужений. С первых же лет эмигрантского существования эти дворы сами собою превратились в клубы под открытым небом, где сотни или тысячи посетителей обменивались по окончании богослужения новостями, слухами и сплетнями, рожденными в замкнутом эмигрантском мирке, отгородившемся высокой стеной от окружающего его реального мира.

В такие дни церковный двор шумел и гудел. В одном его углу обсуждались перспективы только что заключенного в церкви брака и перебирались все достоинства и недостатки каждого из молодоженов.

В другом припоминали и никак не могли припомнить подробности прохождения службы какого-нибудь штаб-ротмистра Епифанова или Толмачева, от которого вчера было получено письмо из Уругвая или Новой Зеландии.

Ухо ловило названия полков, номера дивизий, даты учений, маневров, походов, боев, в которых принимали участие собеседники.

В третьем шла горячая дискуссия о том, какой из французских ликеров следует поставить на первое место: бенедектин, шартрез или куантро?

В четвертом вполголоса передавали последнюю новость из «совершенно достоверного источника»: «Кремлевские большевики уже упаковывают чемоданы… К весне все будет кончено…» По временам двор оглашался криком радости. Два приятеля бросались друг к другу в объятия. Судьба разлучила их много лет назад, когда оба они были студентами Харьковского или Казанского университета и были взяты в школы прапорщиков для подготовки офицеров военного времени. Потом — фронт, бои, революция, гражданская война, эвакуация. Обычная, хорошо известная эмигрантам история. Одного судьба заносит в Тунис, другого — на остров Яву. Зигзаги дальнейшей судьбы каждого из них приводят их сейчас сюда, на двор парижской церкви.

Поодаль стоит мрачная фигура в поношенном пальто и с давно небритыми щеками и подбородком. Фигура пристально смотрит на вышедшую из церкви даму под руку с каким-то старцем. У дамы — накрашенные губы, подведенные брови и ресницы, размалеванные щеки. Но ни краска, ни тушь, ни пудра не могут скрыть предательских морщин у углов рта и около глаз. Видимо, она видала виды.

Он узнал ее. Двадцать лет назад он встретил ее, девятнадцатилетнюю девушку, в Мелитополе. Она вскоре стала его невестой. Вихрем проносятся воспоминания: лунные ночи, одуряющий запах белой акации, пение соловья, первые сладкие поцелуи…

Потом — все та же грустная история: отступление, разгром, эвакуация, галлиполийский лагерь… Он потерял ее из виду.

Церковный двор вновь скрестил их пути, но былого не вернуть. Он отворачивается и, низко опустив голову, быстрыми шагами выходит на улицу.

Во всех местах русского рассеяния это было место встреч, иногда обусловленных, иногда неожиданных. Здесь вспоминали минувшее и проливали слезы о нем; жадно хватали всякий слух и новость, дававшие надежду на лучшее будущее; завязывали знакомства, ссорились, бранились, ревновали. Здесь часто сталкивались люди, считавшие друг друга давным-давно умершими; затевались горячие политические дискуссии; обсуждались подробные планы грядущих «весенних походов»; сыпались проклятия всему миру за то, что он «позволил большевизму утвердиться в России…».

А после всего этого присутствующие шли в одиночку или скопом в расположенную рядом «обжорку», где, пропуская рюмку за рюмкой «несравненную рябиновую Петра Смирнова» и закусывая соленым огурцом, топили в ней свое горе и тяготу беспросветной эмигрантской жизни.

Так было в Константинополе, Софии, Белграде, Хельсинках, Харбине, Шанхае, Берлине, Париже, Буэнос-Айресе…

Многое могли бы рассказать каменные плиты двора русской церкви на улице Дарю. Через него прошли сотни тысяч посетителей. Отсюда выносили десятки тысяч гробов. Происходили разъезды после великосветских свадеб.

В пасхальную ночь заполнявшая до отказа всю площадку церковного двора тысячная толпа переплескивалась за ограду на прилегающую часть улицы, а жадные до «русской экзотики» иностранные туристы смотрели на диковинный для них крестный ход с балконов окружающих домов, предприимчивые квартиранты которых сдавали их по часам в наем за солидную

плату.

Внутри кафедральный собор на улице Дарю поражал своим великолепием и богатством. Его стены украшали грандиозные по размерам панно на религиозные темы кисти основателя Саратовского художественного музея художника Боголюбова, жившего во Франции в те годы прошлого века, когда создавался храм.

В противоположность ему единственная в Париже церковь, подчинявшаяся юрисдикции Московской патриархии, выделялась своими скромными размерами и была больше похожа на катакомбы эпохи раннего христианства, чем на храм в обычном смысле слова. Она находилась в самом сердце «русского Парижа» — в 15-м городском округе на улице Петель и занимала помещение бывшего подземного гаража. Но внутреннее ее убранство отличалось большим художественным вкусом.

Пел в ней хор под управлением Родионова, состоявший из оперных артистов и квалифицированных концертных певцов. Ходить в эту церковь считалось в глазах так называемой «эмигрантской общественности» признаком «неблагонадежности», а ее духовенство и участники хора третировались ею как люди весьма «подозрительные», с «большевистским душком».

Таковы гримасы жизни «русского Парижа»…

Остальные парижские русские церкви устраивались в брошенных помещениях, сараях, особняках. Внутреннее убранство их было, как я сказал, довольно убогим, но посещались они эмигрантами усердна. Я уже упоминал, что в них пели хоры высоких достоинств. В «антониевской» церкви на бульваре Экзельманс долгие годы пел хор из певцов высокой квалификации под управлением большого знатока древнего русского песнопения Денисова. В одной из «евлогиевских» церквей 15-го округа на улице Лурмель выступал квартет Паторжинского (брата известного украинского певца).

В отделе хроники эмигрантских газет целые столбцы занимало расписание богослужений в церквах Парижа, Лиона, Ниццы, Бордо, Монтаржи и других мест русского рассеяния. Церковная жизнь была неотделимой частью общей жизни эмиграции.

X
«Вольные каменщики»

В предыдущем изложении мне неоднократно приходилось упоминать о масонах и масонских ложах. Эта мировая организация, полуявная, полутайная, с разветвлениями во всех странах мира, вполне естественно, не прошла мимо «русского Парижа», сколь бы ни был ничтожен его удельный вес в окружающей жизни. Я не буду вдаваться в подробности истории масонства, возникшего в Западной Европе несколько веков назад и проникшего в Россию а XVIII веке, это вывело бы меня за рамки поставленной мною в настоящих воспоминаниях цели. Я буду говорить только об эпигонах масонства, о том, с чем мне довелось так или иначе соприкоснуться за годы эмиграции.

Для читателя, несомненно, интересно следующее: что представляет собою масонство в настоящее время и каковы цели этой организации?

Если вы спросите об этом любого масона, будь он рядовым членом «братства вольных каменщиков», как они себя называют, или относящимся к рангу так называемых «досточтимых», то он непременно ответит вам заученной наизусть фразой, которую слышит в своей «ложе» чуть ли не ежедневно: «Цель масонства — моральное совершенствование человечества путем морального совершенствования человеческого индивидуума».

Трудно понять что-либо в этой чепухе. Вы, конечно, продолжите вопросы и дальше: зачем же создавать специальную организацию для «морального совершенствования индивидуума»? Зачем окружать мистическим туманом пути этого «совершенствования»? Зачем скрывать от постороннего взора тайну, окутывающую структуру верховного масонского органа? Зачем разыгрывать фарс анекдотического построения «братьями вольными каменщиками» «Соломонова храма»? К чему эти символические фартуки, молотки, таинственные знаки, черепа, комедийный ритуал посвящения в масоны?

Чем дальше вы станете углублять вопросы, тем менее словоохотливым будет ваш собеседник. Кончится дело тем, что он наберет в рот воды и умолкнет, а перед тем как умолкнуть, честно вам признается, что в его положении масона невысокого «градуса» он должен руководствоваться золотым правилом грибоедовского Молчалина: — В мои лета не должно сметь свое суждение иметь…

Что же это за масонские «градусы»?

Этих «градусов», или ступеней, в масонской организации три десятка с лишним. Если провести параллель с военно-служебной лестницей, то в этих 30 с лишним «градусах» умещаются в последовательном порядке масонские рядовые, сержанты, офицеры, генералы, или, по масонской терминологии, «братья» низших ступеней, «братья» более высокого «градуса» — «достославные», «досточтимые» и т. д. «Видимых» ступеней — 33. Все они связаны беспрекословным повиновением нижестоящих «братьев» вышестоящим.

А кому подчиняется масонский «генералитет» самых высоких ступеней?

На этот вопрос вам не ответит ни один масон — ни рядовой, ни «досточтимый». А не ответит он потому, что это — масонская тайна. Здесь кончается явная часть масонской организации и начинается тайная, о которой в обширной литературе о масонстве не говорится ничего.

Ни один из высших «явных» масонов никогда и ни при каких обстоятельствах не приподнимет края той завесы, которая скрывает от постороннего взора высшую тайну масонского ордена, и не назовет вам путей и способов, коими к нему поступают указания верховного масонского органа. Он только даст вам понять, что «братство вольных каменщиков» всемогуще и что в ваших собственных интересах не проявлять слишком большого любопытства в вопросах, которые вас не касаются.

Но нет ничего тайного, что рано или поздно не сделалось бы явным. Какой бы туман не напускали «вольные каменщики» вокруг истинных целей своего ордена, какую бы бутафорию ни создавали они в своих ложах, шила в мешке не утаишь.

«Масонская тайна» мало-помалу просачивалась в широкие людские массы — те массы, которые не были склонны дать себя одурачить мистической чепухой масонской догмы и масонского ритуала. В настоящее время не является больше секретом, что масонство теснейшим образом связано невидимыми нитями с верхушкой заправил мирового капитала и проводит угодную этой верхушке политику во всех разделах жизни современного капиталистического общества. Само собой разумеется, что эта связь могла появиться и фактически появилась только в эпоху развития капитализма. В предшествующую эпоху развития человеческого общества идеология и сущность масонства, конечно, были несколько иными.

Цель масонства — управлять миром, подчинять своей воле и своему влиянию все проявления государственной и общественной жизни во всех капиталистических странах: управление государством, парламент, торговлю, промышленность,

административный, полицейский и судебный аппараты, науку, литературу, искусство, печать, воспитание молодежи, здравоохранение и т. д.

Для лучшей маскировки своего истинного лица и своих истинных целей создать вокруг своего руководящего исполнительного органа мистическую атмосферу построения некоего «Соломонова храма» (символ «морального совершенствования человечества») и пустить в ход театральную мишуру внешних проявлений этой «постройки».

Тактика масонов заключается в том, чтобы проникать во все высшие органы государственной машины; занимать командные посты во всех отраслях жизни современного капиталистического государства; протаскивать всюду послушное орудие своей воли — «братьев-масонов», поголовно связанных клятвой беспрекословного повиновения «досточтимому» своей ложи, получающему указания свыше. В случае «выхода из повиновения» просто уничтожать «отступников». Последнее не так уж трудно, если администрация, полиция и суд данного государства находятся в руках «братьев». Это в настоящее время тоже не является секретом.

Внешние формы жизни масонских органов более или менее известны всем. «Первичные» мелкие масонские ложи объединяются в более крупные. Масонство, как было выше сказано, имеет разветвления во всех странах мира. Наиболее мощными являются ложи американские, английские, французские и шведские.

— А что же конкретно делают масоны в своих ложах? — спросит читатель.

Замечу, что масонские ложи существуют во всех капиталистических странах вполне легально. Кто же может запретить «моральное совершенствование» и человечества, и индивидуума? Масонские собрания, масонский ритуал, прием в число «братьев» новопосвященных — все это не составляет никакого секрета. Обо всем этом расскажет любой масон.

Мне неоднократно приходилось беседовать с парижскими масонами. Из этих бесед я узнал, что средством поддержания связи между «братьями» являются периодически устраиваемые в ложах доклады на отвлеченные темы, читаемые кем-либо из «братьев», но часто в этих докладах трудно что-либо понять — настолько они беспредметны; что на всех сборищах «братья» надевают масонские ленты, а «досточтимый» ложи — фартук «вольного каменщика»; что время от времени в ложах устраивались «братские» трапезы, за которые с каждого «брата» взималось по 20 франков.

Трудно сдержать улыбку и не рассмеяться при рассказах масонов о принятии в ложу новых «братьев».

Здесь разыгрывается настоящий фарс. На новичка, стоящего перед столом «досточтимого», в присутствии всех «братьев», составляющих данную ложу, направляется прожектор. «Досточтимый» в фартуке и с молотком «вольного каменщика», строителя «Соломонова храма», задает ему ряд вопросов, тот отвечает на них. Все заранее тщательно прорепетировано. На столе, покрытом сукном, лежат бутафорский меч, черепа, значки, эмблемы.

После допроса новопосвящаемый приносит клятву верности масонству, затем его укладывают на заранее приготовленный коврик. «Досточтимый» заносит над ним деревянный меч и напоминает, что в случае нарушения клятвы и неповиновения сей меч поразит его сердце и отсечет ему голову… При посвящении в более высокие «градусы» посвящаемого укладывают в бутафорский гроб.

Фарс окончен. «Братья» окружают вновь посвященного и поздравляют его.

Я неоднократно задавал вопрос масонам, с которыми меня связывали узы длительного знакомства, что заставило их идти добровольно в масонское рабство. Ответ всегда сводился с небольшими вариантами к следующему: — Моя жизнь, жизнь русского эмигранта, бесконечно трудна. Все дороги для меня закрыты. Я — парий среди свободных граждан. Меня, как футбольный мяч, в любую минуту могут швырнуть к бельгийской или испанской границе и перебросить через эту границу, с тем чтобы оттуда в тот же день бельгийцы или испанцы швырнули меня обратно, и так без конца. Принятый в организацию «вольных каменщиков», я получаю какую-то защиту: ведь в префектуре, министерствах, прокуратуре, суде сидят наши «братья». В случае чего они в обиду меня не дадут…

Действительно, весь государственный, полицейский, судебный, финансовый, торговый, промышленный, научный аппарат в стране нафарширован «братьями» всех «градусов». По законам масонской солидарности на сигнал бедствия, случившегося с кем-либо из «братьев», обязаны откликнуться все остальные «братья», принявшие этот сигнал.

Безработным масонам несколько легче наняться на работу, чем немасонам; безработному врачу легче получить какое-то, хотя бы «липовое», право практики; безработному артисту — ангажемент; безработному журналисту — ход в какую-нибудь редакцию и т. д.; каждому безработному вообще — какой-то шанс «выйти в люди».

За пределами «русского Парижа» эти возможности неизмеримо шире. Влияние масонства настолько велико, что общественное мнение не без основания считает: сделать карьеру парламентария, министра, банкира, чиновника высшего ранга трудно, если добивающийся этой карьеры не состоит в масонской ложе.

Рядовые масоны любят говорить, что среди больших лож Франции и Англии якобы существуют трения и несогласия по целому ряду догматических и организационных вопросов. Эти кажущиеся разногласия не имеют никакого практического значения. К ним применима русская поговорка: «Милые бранятся только тешатся». Мировое масонство едино во всех основных вопросах, касающихся завоевания им мирового господства. По вопросу о всемогуществе масонства существует ходячее мнение, которое как будто недалеко от истины, а именно: масонство могуче, но не всемогуще. Дальнейшее изложение этого вопроса вывело бы меня за пределы темы моих воспоминаний.

Вступившему однажды в масонские ряды возврата к исходному состоянию нет. Рядовому масону, правда, «масонская тайна» не открыта. Но все же он слышит в ложах и знает многое такое, что простому смертному знать не полагается. За разглашение этих секретов он наказуется суровыми карами. Масон, вышедший из повиновения, карается прежде всего гражданской смертью. При неограниченной власти капитала и при условии, что капитал находится в масонских руках, сделать это нетрудно: если вы торговец, то вам будет негласно объявлен бойкот — ваше торговое «дело» лопнет; если вы чиновник, журналист, музыкант — будете уволены со службы, выгнаны из редакции или театра; если вы политический деятель и парламентарий — ваша карьера кончена; если вы врач, фармацевт или адвокат — клиентов у вас больше не будет. Если же вышедший из повиновения масон имел высокий «градус» и являлся обладателем тайн, то он физически уничтожался.

Так время от времени уходили из жизни путем убийства или якобы самоубийства «братья», занимавшие в капиталистическом мире довольно высокое положение и обнаружившие признаки «непокорности». Ни одно из этих убийств или лжесамоубийств по понятным причинам раскрыто не было.

Если бы кто-либо попытался раскрыть тайну убийства судьи Прэнса, или мошенника-банкира Стависского, или выпавшего из самолета при перелете через Ламанш бельгийского миллионера Альфреда Левенштейна! На скамье подсудимых могли бы оказаться министры, высшие чиновники, судьи, прокуроры, депутаты, сенаторы… Нити, связывавшие их с убитыми и

таинственно исчезнувшими, привели бы к тому невидимому для глаза простого смертного верховному масонскому центру, который отдал приказ об уничтожении «отступника». Но этого «моральные усовершенствователи человечества» не допустят! Полицейское дознание будут вести сидящие в префектуре «братья», судебное следствие — «братья» из судейских органов, судебно-медицинское вскрытие — «братья» из числа медиков. Им будут даны соответствующие указания.

Чересчур любознательным репортерам и не в меру шумящим редакциям газет рот заткнут чеками на суммы внушительных размеров. Пусть «массы» возмущаются и ропщут, но «масонской тайны» ни один человек не узнает.

Концы будут надежно спрятаны в воду.

Как правило, принадлежность того или иного лица к масонской ложе не является секретом. «Вольный каменщик» не скрывает этого от своих друзей, знакомых и сослуживцев. Тем не менее поднимать какие-либо вопросы, касающиеся масонства, в разговоре с масоном в присутствии третьих лиц не было принято ни во французском обществе, ни в «русском Париже». То же самое и в других странах.

Говоря об организационной структуре масонства, я не могу обойти молчанием тот факт, что если в руководящих кругах государственной машины и общественной жизни некоторых капиталистических стран трудно найти человека, не состоявшего членом «братства вольных каменщиков», то среди так называемых «социальных низов» капиталистического общества, то есть рабочих, фермеров и ремесленников, наоборот, вы не найдете ни одного «брата-масона». «Низы» масонству не нужны.

Захватывать нужно командные посты на «верхах» общества и с высоты этих постов управлять «низами».

Другая характерная черта этой международной организации — определенный космополитизм. Национальность вступающего в масонскую ложу сколько-нибудь существенного значения не имеет. Им может стать и природный житель данной страны, и любой эмигрант. Важно лишь его общественное положение и то, на что он в дальнейшем может быть пригоден.

Среди разношерстной белоэмигрантской массы насчитывалось немало украинцев, белорусов, евреев, грузин, армян. Имелись и представители других народностей.

Многие и многие из них, в частности почти поголовно все эмигранты еврейской национальности, состояли в масонских ложах. Общаясь на протяжении 27 лет, проведенных за рубежом, в своей личной жизни и врачебной деятельности со многими сотнями послереволюционных эмигрантов-евреев, я мог бы

пересчитать по пальцам тех из них, кто не состоял членом всемирной масонской организации.

Какой интерес представлял для масонства «русский Париж», я затрудняюсь сказать. Но влияние его на различные стороны жизни этого центра эмиграции ощущалось повседневно. Масоны крепко держали в своих руках один из двух главных органов эмигрантской печати — газету «Последние новости» и с ее помощью вели обработку эмигрантского общественного мнения в желательном для них направлении.

Все видные эмигрантские масоны высоких «градусов» были наперечет известны «русскому Парижу». Перечислять их здесь не представляет для читателя никакого интереса.

В заключительной главе воспоминаний мне еще придется вернуться к масонам «русского Парижа» и их участию в «холодной войне», начатой верхушкой мировой финансовой олигархии против нашей родины в 1947 году.

XI
Театральная и музыкальная жизнь «Русского Парижа»

К числу очень характерных штрихов жизни «русского Парижа» надо отнести также русское оперное и концертное исполнительство.

Среди разнокалиберной и разношерстной эмигрантской массы, очутившейся за рубежом после разгрома белых армий, музыканты, певцы и артисты были численно очень значительной группой. Нужно заметить, что в подавляющем большинстве эти люди никакого касательства к эмигрантскому политиканству не имели. Они катились вместе с белыми армиями, буржуазией и чиновной интеллигенцией к границам родной страны, как листья во время бури, будучи заражены общей для всех эмигрантов тех времен болезнью — уверенностью, что «большевизм есть явление временное» и что «завтра все придет в норму».

Очутившись за рубежом, они в первые же дни были поставлены перед вопросом о дальнейших способах своего существования. Во всех странах капиталистического мира тогда, как и теперь, было резкое перепроизводство артистических и музыкальных сил. Профессиональные союзы этих стран (или, как их чаще называют, синдикаты) зорко охраняли материальные интересы своих членов, ведя ожесточенную борьбу против чужеземцев, бывших для них только нежелательными и опасными конкурентами и больше ничем. Нужно ли говорить, что победа в этой борьбе всегда оставалась на стороне коренных жителей страны, а не на стороне бесправных, беспаспортных, униженных и полунищих эмигрантов.

Оставался один выход: обратиться в своей деятельности к некой русской специфике, к «русской экзотике», до которой была охоча иностранная публика и которая по своей сути не могла быть предметом конкуренции с артистами, певцами и музыкантами — уроженцами данной страны.

Так возникли за рубежом «русские оперные сезоны», русские хореографические выступления, спектакли русских драматических театров, русские хоровые и балалаечные ансамбли, многочисленные русские театры миниатюр и художественные кабаре, русские вокальные квартеты и сольные на русском языке эстрадные выступления певцов, а также выступления куплетистов, рассказчиков, танцоров, инструменталистов, клоунов и т. д.

Русские артисты и артистки надели шелковые рубахи, сарафаны, плисовые штаны, кокошники и прочие атрибуты «русской экзотики», столь привлекательные для иностранной публики.

Горька, тяжела и безотрадна была зарубежная жизнь артиста, певца, музыканта, танцора! С того момента, как он очутился без всяких средств к существованию на константинопольской мостовой, в порту далекой Александрии, в парижских и берлинских трущобах, на улицах Харбина и Шанхая, и в течение всех последующих лет он был вынужден появляться на эстраде русского ресторана, ночного кабака, кафе и других увеселительных заведений. Имея звание свободного художника пли артиста императорских театров, обладая дипломом консерватории или театрального училища, он был вынужден навсегда распроститься с творческими исканиями и движением вперед. Лишь единицам удалось «зацепиться» за что-то более существенное в художественном смысле. Вся остальная масса была принуждена неумолимой и жестокой действительностью к прозябанию и самой низкопробной халтуре, постоянно прерываемой длительными периодами безработицы.

Свои художественные запросы и устремления они должны были подчинить капризным требованиям ничего не смыслящей в искусстве пресыщенной публики, наполнявшей рестораны и кабаки. Они думали только о том, чтобы не потерять работу в этом ресторане, а если речь шла о гастрольных выступлениях — только о сборах и больше ни о чем. Дирижеры и режиссеры «русских сезонов» были вынуждены заботиться прежде всего о том, чтобы «публике не было скучно» и чтобы сборы не пострадали. Ради этой цели они не останавливались перед кощунственным уродованием партитур Чайковского, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, выбрасывая из них не только отдельные номера и целые сцены, но даже и такты.

Мне пришлось видеть партитуры и клавиры опер «Садко», «Сказание о граде Китеже», «Сорочинская ярмарка», в которых не было почти не одной страницы без зачеркнутых синим карандашом ряда тактов. Художественный руководитель основанного А. И. Бердниковым кружка любителей русской оперной музыки (о котором будет речь ниже) ухитрился при постановке рахманиновской оперы «Франческа да Римини» выбросить на одной из ее страниц полтора такта! А ведь эта музыкальная бессмыслица делалась руками талантливых и образованных русских музыкантов.

Массовое проникновение за границу русской оперы и балета началось еще до революции. О «дягилевских сезонах» в последние

перед первой мировой войной годы до сих пор помнит и говорит весь художественный Париж.

Следует заметить, что если проникновение в западные страны русской симфонической и камерной инструментальной и вокальной музыки шло беспрепятственно начиная еще с конца XIX века, то с постановками русских опер дело обстояло сложнее. При попытках поставить эти оперы иностранного режиссера останавливало незнание русской истории, быта и обилие массовых сцен в большинстве русских опер; театрального художника — незнание русского пейзажа и русских интерьеров; дирижера — та громадная роль, которую Глинка, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков отводили в операх хору.

А хор — это слабое место всех западноевропейских и американских театров. Поэтому до революции русские оперы занимали одно из последних мест в репертуаре театров. Достаточно сказать, что в парижской Grand Opera были поставлены за 25 лет после революции силами французских исполнителей только две русские оперы — «Борис Годунов» и «Золотой петушок».

Положение в корне изменилось, когда в 1920 году за рубежом оказалась многочисленная эмигрантская армия оперных и балетных исполнителей.

Если не считать отдельных изолированных попыток в разных странах ставить русские оперы и балеты по типу любительских спектаклей, не имевших никакого художественного значения, то именно «русскому Парижу» пришлось быть почти четверть века центром оперного исполнительства в довольно широком масштабе.

С начала 20-х и до 40-х годов в Париже действовали два эмигрантских предприятия — «Русская опера» Церетели и «Парижская русская опера» Агренева-Славянского. В 1929 году бывшей примадонной петербургского Мариинского театра М. Н. Кузнецовой-Бенуа было основано третье оперное предприятие, оказавшееся недолговечным, но оставившее глубокий след в парижской художественной жизни.

Тут у читателя снова возникнет вопрос, почему же в одно и то же время в одном и том же городе действовали сразу три эмигрантских оперных предприятия вместо одного объединенного?

Все по той же причине, о которой я упоминал, говоря об эмигрантских политических партиях, группировках, профсоюзах: объединению мешали вечные склоки, раздоры и грызня, царившие среди организаторов, администраторов и руководителей эмигрантского театрального мира.

Собственного постоянного помещения ни у одной из этих трех оперных антреприз, конечно, не было. Непрерывного функционирования — тоже. Их деятельность выражалась в устройстве «русских сезонов» длительностью от нескольких недель до нескольких месяцев каждый — чаще всего в Париже, Монте-Карло, Барселоне, во французской провинции, реже — в Лондоне, городах Италии и других стран. Устраивали их французские и иностранные театральные и концертные предприниматели, изредка — администрация того или иного государственного оперного театра. Внутренней организацией одной из этих антреприз ведал бывший петербургский театральный деятель князь Церетели; другой антрепризы — сын известного в свое время петербургского организатора русского народного хора Кирилл Агренев-Славянский; третьей — М. Н. Кузнецова-Бенуа и ее сын Михаил Бенуа.

В промежутках между «сезонами» артисты, концертмейстеры, режиссеры и кордебалет были предоставлены собственной участи и в тяжелой борьбе за существование «халтурили» кто как умел. Артисты хора сидели за рулем легковых такси, чинили в подворотнях парижских домов самопишущие ручки, сторожили по ночам дворцы парижских богачей; артистки обслуживали в качестве приходящей прислуги французское среднее мещанство, пришивали петли и пуговицы к платьям, сданным на дом парижскими портнихами; кордебалет расходился по парижским ночным дансингам; солисты шли на ресторанную эстраду и в ночные кабаки. Но вот проносился слух о новом «сезоне» где-нибудь в Бордо, Лионе, Антверпене, Неаполе, Мадриде — и вся эта масса устремлялась к Церетели, который и «поставлял» ее уже в готовом виде иностранным антрепренерам.

В 20-х годах в практике странствующих эмигрантских трупп было в большом ходу концертное исполнение опер без костюмов и декораций. Оно носило своеобразное название «оперы во фраках» и имело успех как в Париже, так и за пределами Франции.

Постепенно Церетели обзавелся собственными декорациями и костюмами. Постановки сделались «настоящими» и довольно прочно вошли во французскую театральную жизнь. Наряду с тремя упомянутыми антрепризами два или три раза брались за устройство «русских сезонов» театральные антрепренеры братья Кашук, деятельность которых еще до революции была связана с именем Шаляпина. Ядром этих постановок оставалась труппа, хор и балет все того же Церетели.

Все эти оперные предприятия (за исключением Кузнецовой-Бенуа) не получали никаких субсидий и существовали только за

счет самоокупаемости. Поэтому в трудных условиях зарубежья им приходилось иногда выкраивать оплату труда солистов, хора, оркестра, кордебалета, мимического ансамбля и руководства за счет качества и художественности декораций, костюмов, реквизита, а отчасти и за счет численности хора, оркестра и кордебалета. Костюмы иногда приходилось брать напрокат из французских костюмерных мастерских; тоже бывало иногда и с декорациями, художественно не связанными со всей постановкой в целом; иной раз некоторые постановки давались наполовину «в сукнах». Численность хора снижалась у Агренева-Славянского на некоторых провинциальных спектаклях до анекдотических размеров: так, в конце 30-х годов он гастролировал в маленьких городах Нормандского побережья Франции, имея в своем активе хор из… 14 человек. А ставил там «Князя Игоря»!

Но отдельные неудачи не вредили общему впечатлению от «русских сезонов». Они были исключением.

Мало-помалу оба основных эмигрантских предприятия обросли собственными декорациями и костюмами и побывали, кажется, на всех континентах, во многих странах обоих полушарий. Последнее особенно можно сказать про «Русскую парижскую оперу» Агренева-Славянского. Если предприятие Церетели действовало главным образом в столице и крупных городах Франции, изредка выезжая в Англию, Италию и Испанию, то Агренев-Славянский побывал чуть ли не во всех областях и районных центрах французской провинции, в Италии, Испании, Бельгии, Алжире, на Канарских островах, в республиках Латинской Америки и других государствах.

Он совершенно невероятным образом совмещал в себе функции антрепренера, дирижера и инженерно-технического работника сцены. Как музыкант и блестящий дирижер, он был хорошо известен во французских музыкальных кругах. В начале 20-х годов он неоднократно появлялся перед парижской публикой в качестве дирижера симфонических концертов, так называемых «фестивалей русской музыки», изредка устраиваемых четырьмя главными французскими симфоническими объединениями: Колонна, Падлю, Лямурё и Общества концертов консерватории.

Но ходу ему все же не давали. Ему, как и почти всем русским музыкантам, пришлось обратиться к «русской специфике». Оркестровых музыкантов всех городов, куда он выезжал со своей «оперной труппой» (собственного оркестра ни одно эмигрантское театральное предприятие не имело), он поражал тем, что и на репетициях, и на спектаклях дирижировал «Борисом Годуновым» и «Князем Игорем» наизусть.

Но касса его предприятия еле сводила концы с концами.

Вместе со своей женой первой меццо-сопрано труппы Н. Агреневой-Славянской он перед спектаклем и в антрактах сам забивал на сцене гвозди, заведовал раздачей костюмов, давал исполнителям последние режиссерские указания и после этого садился за дирижерский пульт. А между репетициями и спектаклями обходил рекламные бюро, финансовую инспекцию, управления пожарной охраны… Его солисты, хористы и кордебалет ютились по самым дешевым гостиницам города и варили себе на спиртовках чай и картошку, не имея средств пообедать хотя бы в самой дешевой столовой.

Но как бы ни была бедна, а порой и убога материальная часть его предприятия, он при наличии довольно крупных сил солистов и хора (в периоды расцвета доходившего до 40–45 человек) сделал за 20 лет своей оперной деятельности большое и полезное дело: объехал множество провинциальных «медвежьих углов» Европы, Америки и Африки, познакомил с русской оперной музыкой и приобщил к русскому оперному театру те круги, которые до него этой музыки не знали, а о русском оперном театре не имели никакого представления.

В годы второй мировой войны Агренев-Славянский обосновался в Аргентине. Там он устраивал концерт за концертом, чистую прибыль с которых передавал советскому посольству в фонд помощи больным и раненым воинам Красной Армии. Незадолго до Победы он простудился на одном из этих концертов и умер от воспаления легких, не дождавшись радостного дня воссоединения с родиной.

Предприятие Церетели имело значительно более солидную материальную базу по части декораций, костюмов и реквизита. Но и оно не имело никакой денежной поддержки извне и тоже еле-еле сводило концы с концами. Большинство «парижских сезонов» было осуществлено силами именно этого оперного предприятия, просуществовавшего почти четверть века вплоть до смерти в годы войны его основателя.

Совершенно особое место в эмигрантской театральной жизни заняла «Русская опера Кузнецовой-Бенуа».

История ее возникновения небезынтересна с бытовой точки зрения. Она в свое время наделала много шуму не только в эмигрантской, но и во французской музыкальной и театральной печати и жизни.

Родилась эта опера в 1929 году в Париже. Ее основательница, в прошлом выдающаяся солистка петербургской «Мариинки» М. Н. Кузнецова-Бенуа, на склоне своих лет вышла замуж за престарелого французского миллионера-промышленника Массне (сына известного композитора). Как заявила она облепившим ее

по этому случаю газетным репортерам, муж подарил ей в день свадьбы «русскую оперу» вместо традиционных украшений из драгоценностей. Подарок обошелся «молодожену» в четыре миллиона франков. Но опера эта в противоположность предприятиям Церетели и Агренева-Славянского действительно получилась блестящей. Недостатка в солистах самого крупного калибра в «русском Париже» не было.

Главным дирижером был приглашен Эмиль Купер, один из крупнейших русских дирижеров начала века, бывший дирижер московской частной оперы С. И. Зимина, а затем Большого театра и дирижер симфонических собраний московского отделения Императорского русского музыкального общества. Полный симфонический оркестр был приглашен из самого крупного парижского симфонического предприятия, так называемых «Концертов Страрам». Первоклассный хор состоял из 80 человек.

Кордебалет ни по качеству, ни по количеству не уступал хору. Эскизы и декорации писали И. И. Билибин и К А. Коровин. Костюмы, парики, обувь, бутафория, реквизит были целиком заказаны заново по рисункам тех же художников.

Для спектаклей был снят находящийся в центре аристократического 8-го городского округа театр Елисейских полей. Поставлены были четыре оперы: «Князь Игорь», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка», «Сказание о граде Китеже». «Сезон» длился несколько месяцев. Парижская публика валила валом на все спектакли. Пресса шумела и пела дифирамбы всем участникам «русского сезона» — постановщикам, художникам, музыкальному руководству, хору и балету.

По окончании парижских спектаклей труппа со всей материальной частью четырех постановок и дополнительно разученной «Сорочинской ярмаркой» выехала на гастроли в Южную Америку и Мексику. Главным администратором предприятия сделался 24-летний Михаил Бенуа — сын М. Н. Кузнецовой-Бенуа-Массне.

Увы! Столь блистательное начало этого эмигрантского театрального предприятия не имело продолжения. «Свадебный подарок», сделанный престарелым «молодоженом» своей супруге, через несколько месяцев окончил свое существование. Это был год очередного кризиса в капиталистическом мире с катастрофическим падением покупательской способности населения. Театральные залы Латинской Америки, где в то время подвизалось предприятие, опустели. Сборы были плачевные. А плата за театральные залы, налоги, выплата содержания труппе шли своим чередом. Касса Михаила Бенуа дошла до предельной степени истощения.

Удивительный брак бывшей русской примадонны с французским миллионером-промышленником и колониальным плантатором в свою очередь расползся по швам и закончился разводом. Декорации, костюмы и реквизит были описаны за долги и проданы с молотка на аукционе в Мексике. Труппа, хор и кордебалет остались в чужой стране без копейки в кармане. Сердобольные мексиканские коллеги кое-как собрали им деньги для покупки пароходного билета на обратный путь во Францию.

От «Русской оперы Кузнецовой-Бенуа» осталось одно воспоминание.

Но и несравненно более бедные «сезоны», организованные князем Церетели и братьями Кашук, все же привлекали несметное количество французской и иностранной публики и проходили с большим художественным и материальным успехом.

В чем же был секрет этого успеха? Почему в центрах западноевропейской музыкальной жизни — Париже, Милане, Лондоне, Барселоне — избалованная и видавшая виды публика брала нарасхват билеты на спектакли «русских сезонов»?

Чтобы ответить на этот вопрос, я должен сделать маленькое отступление.

Если по качеству голосов и вокальной технике оперных солистов общепризнанное первое место в мире занимала Италия, то по художественности оперной постановки как синтеза трех видов искусства — пения, сценического действия и красок — первое место в сокровищнице мирового оперно-театрального искусства, вне всякого сомнения, принадлежит русскому реалистическому искусству, корни которого уходят к последним десятилетиям прошлого века и которое расцвело пышным цветом на нашей родине после революции.

Оперных постановок как единого художественного целого, в котором неизбежные сценические условности сведены до минимума, на Западе не существовало. Опера понималась там как концерт в декорациях и костюмах, сопровождаемый традиционными банальными жестами и позами. О постановках массовых сцен западный театральный мир не имел никакого представления. Оперный хор понимался этим миром как вокальный ансамбль в костюмах, который, выстроившись в шеренгу перед рампой, исполнял свой «номер», после чего удалялся за кулисы.

Об «игре» артистов, выходящей за пределы освященных долгими десятилетиями традиций и сценических условностей, этот мир не слыхивал.

Когда Шаляпин, будучи на гастролях в Копенгагене, стал давать на репетициях «Фауста» датским певцам элементарные

указания в духе художественного реализма в мизансценах, участником которых он был, они пришли в ужас и негодование. Великого артиста объявили «бунтовщиком» и «потрясателем основ»… Гастроли были сорваны.

А когда талантливый русский актер и постановщик ученик Станиславского Н. Ф. Колин начал давать такие же указания французским хористам оперного театра в Монте-Карло, те широко раскрыли глаза от изумления и тотчас заявили, что если «мсье Колэн» требует от них еще какой-то «игры» на сцене, о которой они отродясь ничего не слыхивали, то пусть он платит им из своего кармана двойное жалованье.

Поэтому, когда, следуя традициям художественного реализма, перенесенного Станиславским с драматической сцены на сцену оперную, эмигрантские постановщики показали французской и иностранной публике все шедевры русской оперной классики, публика ахнула от изумления. Имя режиссера Санина гремело по всей театральной Европе наряду с именем Шаляпина.

Второй приманкой «русских сезонов» был оперный хор, выступавший почти в неизменном виде на всех спектаклях предприятия Церетели.

На это тоже были свои причины.

Мне уже пришлось отметить, что почти на всех западноевропейских сценах хор был самым слабым звеном оперной постановки. Отчасти это объяснялось тем, что западноевропейские композиторы-классики в большинстве своих оперных произведений отводили хору очень скромную роль. Оперы с обилием хоровых номеров вроде «Кармен» и «Аиды» в творчестве этих классиков немногочисленны.

Совсем другое представляют собою партитуры опер Глинки, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова с грандиозными массовыми сценами и самодовлеющими хоровыми номерами. Если прибавить к этому, что в предприятиях Церетели и Кузнецовой численность хора никогда не спускалась ниже 60 человек и что состоял он из вокалистов высокого класса, то понятно, что его появление на сцене привадило привыкшую к хоровой халтуре публику в неописуемый восторг.

Старшему поколению парижан памятны те невиданные в стенах театра Шатле овации, которые переполнявшая его публика во время «дягилевских сезонов» устроила русскому хору после «Бориса Годунова». Аплодировал ему даже французский оркестр.

То же самое повторялось каждый раз на «русских сезонах». Хоровые номера a capella в «Хованщине», «Граде Китеже», «Князе Игоре» вызывали в зрительном зале бурю восторгов и неизменно

бисировались.

Далее, французский зритель, привыкший к декоративному убожеству оперных постановок в отечественных театрах, приходил в восторг от художественного великолепия русской декоративной «экзотики», выполненной по изумительным эскизам Билибина, Коровина, Шухаева, Добужинского, Лапшина. Сборные и случайные декорации на этих «сезонах» были лишь как исключение.

Глубочайшее впечатление производил также художественный реализм мизансцен, который с блеском осуществляли русские эмигрантские постановщики, следуя заветам школы Станиславского.

Наконец, тому колоссальному впечатлению, которое производили на иностранного зрителя «русские сезоны», способствовал блеск хореографической части оперного спектакля и высокая техника танцоров и балерин.

Я уже неоднократно упоминал, что иностранная публика была необыкновенно падка до всякой «русской экзотики». Во Франции эта «экзотика» понималась довольно примитивно: зритель получал полное удовлетворение только в том случае, если на сцене царили сарафаны, кафтаны, боярские шапки, Крестьянские рубахи и лапти.

Наоборот, он с полным равнодушием относился к «ампирным» сюртукам и пышности «напудренного века», считая их «своими», обычными, а потому малоинтересными. Вот почему оба гениальных творения Чайковского — «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» — никогда не имели во Франции успеха и не делали сборов. Кстати, Франция — единственная в мире страна, где к творчеству Чайковского музыкальные круги и широкая публика всегда относились с равнодушием, считая, что Чайковский слишком «интернационален» и что «русской экзотики» в нем совершенно нет. Недолюбливали они и Глинку. Произведения Чайковского и Глинки не делали сборов.

Зато общественное мнение этих кругов превозносило до небес Бородина, Мусоргского и Римского-Корсакова.

Без «Князя Игоря» и «Бориса Годунова» не обходился ни один «русский сезон». Постоянными постановками в репертуаре эмигрантских оперных предприятий были также «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Сказание о граде Китеже», «Царская невеста», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка», «Русалка».

Реже появлялись на сцене «Псковитянка», «Золотой петушок», «Моцарт и Сальери». «Золотой петушок» перекочевал на французскую сцену, где сделался репертуарной оперой, так же как и «Борис Годунов». Постановка «Садко» не удалась из-за

технических трудностей.

В начале 30-х годов братья Кашук пытались поставить специально для Шаляпина две серовские оперы: «Юдифь» и «Вражью силу». Постановки эти не удалось осуществить по причинам материального характера.

Я не касался до сих пор солистов «русских сезонов».

Но о них надо сказать, так как эмигрантский артистический мир играл большую роль в повседневной жизни и быту «русского Парижа».

Подавляющее большинство русских артистов, певцов и музыкантов жило за рубежом в ужасающей бедности.

Постоянной работы не было почти ни у кого. Лишь единицам удалось попасть каким-то чудом в иностранные театры. В парижской Grand Opera сделал головокружительную карьеру эмигрантский танцовщик Сергей Лифарь. Но сделал он ее, как об этом упорно говорили в эмиграции, весьма своеобразным образом, не имеющим никакого отношения к искусству и тесно связанным со спецификой парижских балетных нравов. Дальнейших подробностей, я Полагаю, касаться не следует.

В брюссельском театре долгие годы состояли в штате меццо-сопрано киевлянка Е. А. Садовень и бас В. А. Резников, в дальнейшем чудесным образом превратившийся в драматического тенора. В итальянских оперных театрах подвизался тенор Веселовский. В Берлине — взошедшая во второй половине 30-х годов звезда первой величины лирико-колоратурное сопрано Чеботарева. В ньюйоркском Metrapolitain-Opera пели Куренко, Сабанеева и молодой баритон Черкасский. Несколько солистов состояло в труппах государственных оперных театров в Белграде, Софии, Бухаресте, Риге. Вся остальная масса первоклассных оперных певцов кормилась «русскими сезонами», а в промежутках «халтурила» по ресторанам, чайным или по салонам парижских богачей, угощавших своих гостей на торжественных приемах все той же «русской экзотикой».

Артисты и артистки балета помимо участия в тех же «русских сезонах» кормились частными уроками в хореографических студиях, главным образом в те годы, когда наплыв иностранных туристов во Францию был велик.

Слава русского балета, распространившаяся по всему миру еще со времен «дягилевских сезонов» в годы перед первой мировой войной, создала своего рода моду — брать уроки хореографии у русских танцовщиц и балерин.

В последний перед моим отъездом из Франции год мне пришлось часто бывать в качестве врача в семье знаменитой в свое время балерины московского Большого театра

А. М. Балашовой, бывшей вместе с Гельцер и Коралли предметом восторженного поклонения балетоманов. Жила она на юго-западной окраине Парижа в отдельной маленькой квартирке, что являлось по эмигрантским масштабам вершиной эмигрантского материального благополучия.

Как-то раз я обратил ее внимание на это обстоятельство как на счастливое исключение из общего правила эмигрантской артистической юдоли и богемного прозябания. Она с горечью воскликнула: — А знаете ли вы, какой ценой дается мне это псевдоблагополучие? Мне, бывшей солистке первого в мире оперного и балетного театра, приходится два десятка лет подряд учить священному для меня искусству каких-то богатеньких дурех, ничего в этом искусстве не смыслящих и плюющих и на хореографию, и на искусство вообще! Они идут ко мне только оттого, что это модно и что сами они бесятся с жиру и не знают, куда девать деньги — свои и своих родителей.

— Для них хореография — очередная забава, способ убить время и чем-то наполнить праздную и сытую жизнь.

Назавтра они бросают ее и находят себе новую игрушку, более модную, чтобы послезавтра оставить и ее в поисках чего-либо более для них интересного и «остренького»…

— Разве подобные уроки не халтура для меня, с юных лет посвятившей себя этому дорогому и святому для меня искусству?!

Голос ее дрожит. Она подводит меня к роялю, берет в руки стоящую на нем и заключенную в рамку фотографию зрительного зала Большого театра и с волнением восклицает: — Вот где я оставила свою душу! Вот место, с которым связаны самые светлые и святые для меня воспоминания!..

Она умолкает. Мы оба долго стоим молча перед этим изображением дорогого и священного для каждого из нас лучшего из всех театров мира. Я вижу, как тихо дрожат пальцы моей собеседницы и как по ее щекам текут слезы.

Я оказался счастливее ее. На мою долю выпала великая радость и великое счастье после 30-летнего перерыва вновь вступить в качестве зрителя под своды этого близкого сердцу и единственного в своем роде театра, вновь вдохнуть воздух его неповторимого по своей красоте красно-золотого зала, вновь наслаждаться прелестью, совершенством и роскошью его постановок и, находясь в партере, вспоминать те далекие годы, когда, сидя в последнем ряду галерки, я и мои сверстники переживали то очарование и те восторги, на которые способны только детство, отрочество и юность…

Мировых имен, кроме Шаляпина, в эмиграции не было. В 20-х годах на сцене появились старые петербуржцы Липковская,

М. Б. Черкасская и Сибиряков; москвичи — знаменитый тенор Д. Смирнов, тенор частной оперы и кумир москвичей былых времен Севостьянов, баритоны Шевелев и Бочаров, драматическое сопрано Ермоленко-Южина, бас Запорожец. Все они постепенно сходили со сцены, и во второй половине 30-х годов из них не осталось в живых почти никого.

О Шаляпине существует обширная литература. Неоднократно описывался в ней и заграничный период его деятельности. Вышедший из толщи русского народа великий волжанин очутился за границей по какому-то роковому недоразумению. А раз очутившись, уже не мог с нею порвать. Заграничная тина засосала его.

Шаляпин умер в 1938 году. Как творец новых образов на сцене и эстраде он умер гораздо раньше — в первый год своего появления за границей. Весь заграничный период его артистической карьеры был только перепевом того, что было создано им на родине. Постоянного театра у него не было. Он весь был во власти алчных театральных и концертных предпринимателей и все долгие годы своего зарубежного пребывания искал ангажементов. Он переживал трагедию стареющего певца, постепенно теряющего свое обаяние и не имеющего перед собой молодежи, которой мог бы передать тайны своего великого искусства.

Иностранную публику Шаляпин глубоко презирал. Ему не хватало пламенной аудитории энтузиастов, перед которой он привык выступать у себя на родине.

Однажды одна из крупных французских певиц сказала ему: — Что вы, мсье Шаляпин, поете какие-то непонятные для нас песни, всякие там «раскудра-кудра»? Вы бы лучше переходили на французские романсы…

Шаляпин с горечью говорил по этому поводу окружающим: — О чем мне с этой особой разговаривать и спорить?

Эх, дали бы мне сейчас аудиторию из русских деревенских и заводских парней и девок! Затянул бы я им «Вниз по матушке по Волге»! Они бы поняли!.. Не чета они этой французской…

Но и старея, Шаляпин продолжал очаровывать и потрясать своих слушателей специфической, одному ему присущей фразировкой исполняемого. Он назвал ее в изданных за рубежом мемуарах «Маска и душа» «интонациями». Но секрета, каким путем он создает эти «интонации», он так никому и не открыл.

В последний год жизни Шаляпина ходили слухи о его тяжелой болезни (он страдал белокровием). И, несмотря на это, для всех русских, находившихся в то время за рубежом, явилось полной неожиданностью большое в траурной рамке объявление

на первой странице эмигрантских газет:

> Сегодня утром после продолжительной и тяжелой болезни скончался Федор Иванович Шаляпин…

Тысячные толпы устремились на авеню д'Эйло, расположенную в аристократической части Парижа, где среди богатых и чопорных домов парижской буржуазии стоял пятиэтажный дом, принадлежавший Шаляпину.

Жил он безбедно. Кроме крупных гонораров за концертные и театральные выступления он имел доход от напетых им пластинок, в великом множестве расходившихся по всему свету. Ему, как говорили в эмиграции, принадлежал кроме упомянутого доходного дома с пятью барскими квартирами, занимавшими каждая целый этаж, еще один доходный дом в Америке и дачи на юге Франции и в Тироле.

Занимал он квартиру в пятом этаже своего дома на упомянутой авеню д'Эйло. За два или три дня после его кончины там побывало несколько тысяч русских парижан и немалое количество людей из французского музыкального и театрального мира. По широкой лестнице посетитель поднимался на пятый этаж, где на стенах обширной площадки висело громадное панно кисти К. А. Коровина, близкого друга великого певца.

Двери квартиры в те дни были раскрыты настежь. Посетитель проходил из холла, заставленного старинной мебелью, в громадную залу, посреди которой стоял длинный и массивный гроб с наглухо забитой крышкой (по французским законам гроб закрывается сейчас же после положения в него тела).

Тяжелое чувство испытывал посетитель, стоя перед гробом великого певца, имя которого навсегда вошло в историю русского и мирового театрального искусства.

Сколько раз этот певец умирал на сцене в «Борисе Годунове», «Дон Кихоте», «Хованщине», приводя в трепет зрительный зал! И какой восторг испытывал зритель, когда после смерти на сцене он возвращался к жизни и выходил на вызовы устраивавшей ему овации публики!

Сейчас — конец всему: больше он уже не встанет и к публике не выйдет…

В полном молчании стояла наполнившая залу толпа, сменявшаяся каждые 5–10 минут. Со стен на посетителей смотрели старинные иконы, которые собирал покойный при жизни, театральные подношения — серебряные венки и лиры. В шкафах и на этажерках — старинный фарфор, бронза, эмаль, серебряные братины и ковши, старинное серебряное оружие.

В день отпевания в церкви на улице Дарю весь церковный

двор и вся улица были запружены тысячами людей, говоривших на русском языке. Движение по ней было приостановлено. В саму церковь распорядители похорон пропускали только лиц, получивших пригласительный билет и принадлежавших к ближайшему окружению покойного.

По окончании заупокойной литургии и отпевания похоронная процессия направилась в центр города к зданию парижской Grand Opera. Был воскресный день. Просторная площадь, в будни запруженная сотнями автомашин и автобусов и оглашаемая ревом автомобильных гудков, в это утро казалась пустынной и тихой. К моменту прибытия похоронной процессии она заполнилась тысячами людей из «русского Парижа».

По решению французского правительства ввиду исключительных заслуг Шаляпина в истории театрального искусства был устроен перед зданием Grand Opera траурный митинг. Выступали на нем и русские, и французы.

По окончании митинга стоявшая с обнаженной головой многотысячная толпа пропела «Вечную память». У многих глаза были полны слез. Хоронили они не только Шаляпина. Хоронили и свою давно ушедшую молодость. Хоронили свой былой энтузиазм, ночные бдения перед московской театральной кассой, восторги и беснования в последнем ряду галерки Большого театра, горячие дискуссии после шаляпинских премьер «Дон Кихота», «Моцарта и Сальери», «Пира во время чумы», бойтовского «Мефистофеля» и многого другого.

После митинга процессия направилась на кладбище Батиньоль, находящееся на северной окраине Парижа.

И тут, при последнем прощании с прахом великого русского артиста, у каждого присутствовавшего сверлила в мозгу одна и та же мысль: «Почему этот дорогой для каждого русского человека прах приходится опускать в чужую землю? Почему покойный при своей жизни не смог исправить или не захотел исправить эту чудовищную нелепость — отрыв от своего народа и родной земли?» Сумрачная и молчаливая толпа постепенно расходилась по улицам, переулкам и трущобам окутанного копотью и дымом Парижа.

Прошло пять лет.

Над Францией и всем миром пронеслась буря. Парижские улицы наполнились фигурами в форме гитлеровского вермахта. Однажды в сумерки я проходил по улице Дарю. Из открытых дверей русской церкви неслись звуки церковного пения. Не стоило большого труда распознать, что там идет панихида и что поет хор Афонского в расширенном составе, как это обычно бывало в дни «больших» панихид или других «больших»

церковных служб.

Я зашел в церковь, она была наполовину пуста. В полумраке стояли одинокие фигуры с зажженными свечами.

Увидев среди них знакомого музыканта, я подошел к нему: — По ком панихида?

— Разве вы не знаете? По Федоре Ивановиче Шаляпине… Ведь сегодня исполнилось пять лет со дня его смерти.

Мне стало больно и горько. Многотысячная аудитория в недалеком прошлом, мировая слаба в течение всей долгой жизни — и почти полное забвение вскоре после смерти.

Прошло еще четыре года. За несколько недель до моего отъезда из Франции в парижской газете «Русские новости» промелькнуло сообщение газетного репортера, посетившего кладбище Батиньоль, о состоянии могилы Шаляпина. Никем не охраняемая и не посещаемая, она поросла травой; крест на ней покосился и был готов рухнуть. Среди массивных мраморных крестов и памятников, ее окружающих, она казалась нищим, стоящим на церковной паперти, рядом с выходящими из церкви разряженными и празднично одетыми богачами. Лишь впоследствии на могиле была установлена гранитная плита.

Я уже упоминал, что среди солистов «русских сезонов» было немало первоклассных вокалистов, частью из старой оперной «гвардии», частью из молодежи, сформировавшейся как оперные певцы и певицы в годы революции и гражданской войны или же за рубежом. Но мировых имен, кроме Шаляпина и преждевременно скончавшейся великой балерины Анны Павловой, среди них не было.

Говоря о «русских сезонах», нельзя обойти молчанием одного выдающегося русского музыканта, без которого не обходился, кажется, ни один «сезон» и формирование и вся деятельность которого проходили за рубежом. Это А. И. Лабинский, бессменный дирижер, он же концертмейстер, он же аккомпаниатор чуть ли ни всех зарубежных русских вокалистов, выступавших на парижской эстраде.

Карьера его как дирижера началась еще в 14-летнем возрасте в Петербурге в последние дореволюционные годы. В Париже он, как и почти все русские музыканты, певцы и артисты, смог проявить свое дарование только в условиях «русской специфики». Он и проявил его. Авторитет его среди русских оперных певцов и камерных вокалистов был безусловным и неограниченным. Я едва ли ошибусь, сказав, что в Париже и французской провинции не было ни одного русского певца, который не пользовался бы его помощью и советами при разучивании оперного и концертного репертуара. Без его фигуры, стоящей за дирижерским пультом,

нельзя представить себе, кажется, ни одного «русского сезона».

Говоря о проникновении русской оперной музыки в толщу французской и иностранной публики, я не могу не упомянуть о существовавшем в Париже в 20-х и 30-х годах эмигрантском кружке любителей оперной и камерно-вокальной музыки. На собраниях кружка мне часто приходилось бывать, и со многими членами его я был в близких личных отношениях.

Большого художественного значения кружок не имел и в летописи парижской музыкальной жизни следа не оставил. Интерес его — чисто бытовой. Основателем его был бывший профессор Саратовского университета по кафедре бактериологии А. И. Бердников — фигура очень характерная для «русского Парижа», одно появление которой где бы то ни было возбуждало добродушные улыбки и иронический смех.

Жил он в бывшем университетском помещении для подопытных собак, расположенном около Порт д'Орлеан в опоясывающей Париж так называемой «зоне», заселенной тряпичниками и состоящей из сооруженных из старых фанерных ящиков и заржавленных листов железа хижин.

Бердников был не только профессионалом-бактериологом, но и страстным любителем пения, вдобавок и фантазером. В возрасте далеко за 50 лет он начал брать уроки пения и вскоре объявил себя оперным баритоном. Голосовых данных у него не было никаких, и его выступления в кругу друзей, знакомых и на эмигрантской эстраде вызывали каждый раз дружный хохот.

Тогда же он основал вышеупомянутый кружок. Все в этом кружке было необыкновенно, начиная с его основателя. Хотя назывался он кружком любителей, но любителей в нем, кроме самого Бердникова, одесского инженера А. И. Игнатьева и комиссионера бриллиантовой биржи Л. Гукасова, не было. Весь остальной его актив состоял из профессиональных оперных и эстрадных певцов, не сумевших втиснуться ни в один из «русских сезонов» и охотно вступивших в кружок, чтобы иметь возможность хотя бы изредка выступать в его оперных спектаклях и концертах за полсотни или сотню франков.

Свою вокальную деятельность кружок начал с квартетных и хоровых выступлений на католических богослужениях во французских церквах. Но вскоре их пришлось прекратить и перейти все на ту же «русскую специфику»: синдикат французских церковных певцов, имея среди своих членов тысячи безработных, наложил вето на эти выступления странствующих русских артистов.

Бердников перешел к оперным постановкам. Денег у него для найма театральной залы, оркестра, кордебалета и для рекламы не

было. Но зато у него был энтузиазм.

Он заразил им и остальных членов кружка. Кружок начал несложные постановки русских одноактных опер, не требовавших ни большого хора, ни балета, ни смены декораций. Оркестра он пригласить не мог. Оперы-миниатюры шли под аккомпанемент фортепьяно. Декорации (обычно одну на весь вечер) писали безработные эмигрантские художники. Костюмы брались напрокат из французских костюмерных мастерских по цене 10 франков за костюм на вечер. Рекламы и афиш не было. Билеты распространяли сами члены кружка среди своих знакомых. Чтобы избежать налогов, цены на них не обозначались: они именовались «пригласительными билетами».

Каждый «приглашенный» вносил в кассу кружка сколько хотел. Для спектаклей нанималась какая-либо зала на 300–400 человек. Чаще других кружок пользовался малой камерной залой Гаво, залой редакции французской газеты «Le Journal» и концертной залой при американской церкви на Кэ д'Орсей.

В этой обстановке и при полном отсутствии крупных средств Бердников в течение долгих лет делал все же очень полезное для русского искусства дело: популяризировал русские оперы-миниатюры, которые и у себя на родине ставятся далеко не часто, а за границей и вовсе не известны, и знакомил с ними парижскую публику. На его редкие спектакли заглядывали иной раз и французские театральные и музыкальные деятели, артисты и музыканты.

Так были поставлены «Каменный гость» Даргомыжского, опера, мало популярная среди нашей широкой публики, но высоко ценимая музыкантами и артистами как родоначальница того оперного речитативно-декламационного стиля, который впоследствии расцвел в гениальных операх Мусоргского.

Далее — «Иоланта» Чайковского, «Рафаэль» Аренского, «Боярыня Вера Шелога» Римского-Корсакова, «Франческа да Римини» Рахманинова, «Сват» Черепнина, «Граф Нулин» Архангельского, «Каморра» мамонтовского дирижера Эспозито и некоторые другие. После них Бердников перешел к постановке крупных опер, выпуская из них хоровые номера, массовые и балетные сцены, невыполнимые на маленькой эстраде и требующие материальных затрат, непосильных для кошелька основателя и распорядителя кружка. Так были поставлены с большими купюрами «Русалка», «Демон», «Евгений Онегин», «Сорочинская ярмарка», «Царская невеста», «Ночь перед Рождеством», «Снегурочка», «Царь Салтан» — частью в костюмах и декорациях, частью в концертном исполнении.

Какой была внешность Бердникова в те годы, когда он

занимал кафедру бактериологии медицинского факультета Саратовского университета, я не знаю. Говорят, он выглядел элегантно, был гладко выбрит, изящно одет.

Парижское прозябание в университетском собачнике около Порт д'Орлеан наложило на его внешность свою печать. К этому влиянию присоединились еще отзвуки далеко канувшего в вечность «хождения в народ», толстовства, российского нигилизма и просто свинства, которым в дореволюционную эпоху щеголяли отдельные представители русской интеллигенции и старого студенчества.

Бердников появлялся на улицах и в местах эмигрантского скопления не иначе как небритый, с грязными руками и ногтями, в старом и просаленном пиджаке без единой пуговицы; на голове у него вместо шляпы был какой-то смятый суконный блин десятилетней давности, на ногах — некое подобие обуви, купленное за три франка на парижской «толкучке», называемой «блошиным рынком». На деликатные намеки окружающих о необходимости привести себя в несколько более приличный вид он отвечал, что это его любимый стиль, и что стиль этот является внешним выражением его внутреннего протеста против сытой и богатой жизни окружающего мира. На него махнули рукой, считая его неисправимым чудаком и сумасбродом, желавшим выделиться из толпы оригинальничанием и нелепостью своего внешнего вида.

Но злобы против него никто не имел, как и он не питал ее против кого бы то ни было. С лица этого человека, одетого хуже парижского нищего, не сходила улыбка. На устах всегда были слова добродушного юмора, а все его интересы за пределами медицинской работы сводились к пению и устройству оперных спектаклей и концертов русской камерной вокальной музыки. Был он совершенно одиноким, сам варил себе в своем собачнике щи и картошку, страстно обожал своего, как он говорил, единственного верного друга — громадного пса Рекса.

В конце 30-х годов Бердников уехал на Дальний Восток, поселился около Шанхая, совершенно отошел от людей, занялся рыбной ловлей и через два или три года умер в полном одиночестве и нищете.

Еще больше, чем «русские оперные сезоны», французская публика ценила русский балет, но судьба этого балета, или, как говорят во Франции, «балетов», была несколько менее счастлива, чем судьба оперы.

Когда-то до революции, в эпоху «дягилевских сезонов», русский балет прогремел на всю Европу.

В эмиграции не было недостатка в различных балетных

группировках: они создавались, распадались, вновь соединялись и вновь распадались. Но ничего прочного в этой отрасли искусства эмиграции создать не удалось.

Были «русские балеты Монте-Карло», балетный ансамбль Князева, ансамбль Войцеховского и другие. Все они были недолговечны и умирали от одной и той же болезни — недостатка материальных средств. Но и в качестве подсобного элемента при постановке опер русский балет пользовался во Франции громкой славой. О половецких плясках «Князя Игоря», персидских танцах «Хованщины», танцах чародейств Наины в «Руслане», танцах птиц в прологе «Снегурочки» в постановках Фокина, Нижинской и других балетмейстеров многие помнят в художественных кругах Парижа.

Симфонических предприятий в эмиграции не было. Но русская музыка часто фигурировала в программах «фестивалей русской музыки» в качестве очередных абонементных концертов французских симфонических предприятий Парижа, Лиона и Бордо. Это свидетельствует о том интересе, который французский музыкальный мир проявлял и проявляет к русской симфонической музыке.

Однако интерес этот был и остается до сих пор очень своеобразным и однобоким: программы «фестивалей русской музыки» из года в год оставались одними и теми же.

И в симфонической музыке, как и в оперной, французский музыкальный мир ищет прежде всего русскую или восточную «экзотику». Из Глинки в программы включалась только одна «Камаринская», как произведение с французской точки зрения «истинно русское» и вполне «экзотическое». К Чайковскому французский музыкальный мир, как я уже заметил, совершенно равнодушен.

— Ваш Чайковский вроде нашего Массне, ничего гениального в его музыке нет — таково было ходячее мнение о великом композиторе у французских музыкантов и публики. Часто исполнялись лишь 4-я симфония, почти исключительно из-за «подгулявших мужичков» третьей части (скерцо) и народного веселья («Во поле береза стояла») четвертой части (финал), а также 6-я («Патетическая») симфония. Но патетическую надрывность и беспросветный пессимизм ее финала французская публика принимала очень неодобрительно. Вместе с 1-ми фортепьянным и скрипичным концертами это было все из творчества великого гения, что попадало на французскую симфоническую эстраду.

Бородин был представлен на ней 2-й («Богатырской») симфонией, симфонической картиной «В степях Средней Азии» и

неизбежными для каждого «фестиваля русской музыки» «Половецкими плясками» из «Князя Игоря», то есть опять-таки чистейшей «экзотикой».

Мусоргский — «Ночью на Лысой горе» и «Картинками с выставки» в инструментовке Равеля.

Римский-Корсаков — «Шехерезадой», «Испанским каприччио», «Пасхальной увертюрой» и сюитами из «Золотого петушка» и «Царя Салтана».

Балакирев лишь «экзотической» Тамарой. Обе его симфонии, на моей памяти, не исполнялись в Париже ни разу.

Лядов — «Восемью русскими песнями для оркестра», «Кикиморой» и «Бабой-ягой».

Из всех многочисленных произведений величайшего симфониста Глазунова в программы «фестивалей» включались только «Стенька Разин» да скрипичный концерт.

Другие крупные русские симфонисты — Танеев, Калинников, Спендиаров, Скрябин, Ляпунов, Рахманинов — никогда не фигурировали в этих программах (исключение составляли лишь изредка исполнявшаяся скрябинская «Поэма экстаза» и более часто — 2-й фортепьянный концерт Рахманинова).

Советская симфоническая музыка в 20–30-х годах почти совершенно не проникала на французские эстрады.

Имена Василенко, Глиэра, Мясковского, Шапорина, Шостаковича, Хачатуряна для подавляющего большинства заполняющей французские концертные залы публики долгое время практически оставались неизвестными. Исключение представлял лишь Прокофьев, который и сам неоднократно лично появлялся на этих эстрадах в качестве исполнителя своих фортепьянных концертов.

Только после Победы к «фестивалям русской музыки» присоединились и «фестивали советской музыки».

Говоря о том вкладе в пропаганду русской и советской музыки, который русские артисты, певцы и музыканты сделали, находясь за рубежом, я должен поделиться с читателем воспоминаниями о зарубежных русских хоровых коллективах, объехавших, кажется, все страны земного шара, избороздивших все моря и океаны обоих полушарий.

Родились эти коллективы в разных местах русского зарубежья — в Берлине, Париже, Праге, Белграде, Софии, Риге, Галлиполи, на острове Лемнос Эгейского моря и на Принцевых островах Мраморного моря, но родились в неоформленном виде.

Некогда Пушкин сказал: — Мы все от ямщика до первого поэта поем уныло.

Если отбросить последнее слово, совершенно несозвучное

нашим дням, то изречение великого поэта сохраняет свою жизненную правду и для нашей эпохи. Действительно, поют у нас все.

Русский народ не принадлежит к числу «молчаливых» народов. Русская песня звучит по родной земле во всех случаях жизни. Она раздается в детском саду, в школе, университете, воинской части, на встрече и проводах друзей, товарищеской вечеринке, свадьбе, праздниках, в поле, на работе и на прогулке в лесу, на речных просторах, на горных пастбищах.

Зазвучала она и за рубежом, лишь только там послышалась русская речь.

В 1921 году в Софии в русской церкви на главном проспекте города, называвшемся тогда улицей Царя-освободителя, сорганизовался и пел хор донских казаков, только что перевезенных на работы в Болгарию с острова Лемнос. Церковное пение не могло служить единственным источником существования этих певцов. Они начали попутно давать концерты в софийских залах, сначала робко и только на эмигрантских сборищах, потом более смело для болгарской публики и бывавших в Софии иностранцев.

Через два или три года хор настолько окреп, что решился на «вылазку» в Европу — поехал в свою первую гастрольную поездку в Вену.

Широкие круги так называемой «эмигрантской общественности» в ту пору не допускали мысли о всепобеждающей силе русской песни и недооценивали мастерство отечественного хорового исполнительства.

Эмигрантские «пророки» брюзжали: — Вот дурачье! Нашли куда ехать — в Вену, мировой музыкальный центр, город Моцарта и Шуберта! Полный провал этому сиволапому донскому мужичью, вне всякого сомнения, обеспечен. И правильно! Не суй своего суконного рыла в калашный ряд! Кому, спрашивается, нужны эти «Вниз по матушке по Волге», да «Во поле береза стояла»?

Оказалось, что нужны всему миру. И «Волга», и «Береза» нашли доступ к глубинам души всех людей под всеми географическими широтами и меридианами и растопили самые ледяные сердца. Русскую песню с благоговением и восторгом слушали и молчаливый скандинав, и житель субтропиков и тропиков Азии и Африки, и сдержанный англичанин, и пламенный испанец, и далекий аргентинец, и житель Гавайских островов.

Донской хор имел в Вене головокружительный успех.

Австрийская пресса писала о его выступлениях как о

выдающемся событии музыкальной жизни столицы. За него ухватились концертные антрепренеры всех стран. Предложения выгодных контрактов на гастрольные поездки сыпались со всех сторон.

Через несколько лет он сделался знаменитостью, побывал во всех странах Европы, в Северной Африке, в обеих Америках, на Ближнем и Дальнем Востоке, в Австралии.

Но параллельно росту его славы шло снижение его художественного потенциала. Творческие искания первых лет его существования сменились погоней за выгодой и легкой наживой. В исполнение вклинились трюкачество и сомнительной ценности эффекты, имевшие целью потакать вкусам не слишком взыскательной аудитории.

В хоре начались обычные эмигрантские склоки, раздоры, «подсиживания», борьба самолюбий и тщеславий.

Он раскололся на две части, из которых каждая считала себя «настоящим» хором, а своего соперника и конкурента «эрзацем». Одна часть под управлением Жарова продолжала поездки по странам Европы, Азии и Америки, другая под управлением Кострюкова концертировала преимущественно в Германии и государствах Центральной Европы. Обе называли себя в афишах и программах «знаменитым хором донских казаков», хотя с течением времени казаков в обоих хорах осталось очень мало: в оба хора стали принимать и неказаков. Но сохранить название «казаки», равно как и форму — белые гимнастерки, шаровары с лампасами, сапоги, было необходимо из-за коммерческих соображений. Все это ведь тоже «русская экзотика»! А за нее иностранец платит большие деньги…

Не меньшей славой во Франции и за ее пределами, особенно в Америке, пользовался хор под управлением Н. П. Афонского. Ядро его составлял ансамбль из 13 певцов с законченным музыкальным образованием, певший бессменно в течение почти 25 лет в Париже на клиросе православной церкви на улице Дарю. В дни «больших» выступлений его пополняло такое же количество временных участников. Художественность исполнения, которым этот хор выделялся среди аналогичных ансамблей, привлекала в церковь большое количество французов, англичан, американцев и иных иностранцев.

Но только церковными песнопениями хору было трудно существовать. Как и софийский хор донских казаков, он силою обстоятельств был вынужден перейти на светское пение и на русские народные песни. Не помню, в каком году и в каком составе он сделал свою первую «вылазку» из Парижа, но с первой же гастрольной поездки и на него, как и на софийский хор,

посыпались предложения контрактов на дальнейшие гастроли в странах Европы и Америки. Расширенный состав хора был невелик — около 30 человек. Но художественность исполнения, по мнению самых строгих критиков, была изумительная. Передачи по радио его концертов в Париже и других европейских и американских столицах сделались правилом.

Гастроли в США устраивал американский концертный антрепренер Юрок. Предприимчивый делец выжимал из хора все, что только возможно выжать. В поездках по американской провинции хору часто приходилось, давши утренник, сразу садиться в автокар и, глотая на ходу бутерброды, ехать за 100–150 километров в следующий город, чтобы попасть к очередному вечернему выступлению. Все концерты проходили с аншлагом, во многих городах приходилось давать повторения. Львиную долю вырученных сумм антрепренер забирал себе — картина обычная и, так сказать, «нормальная» для артистического мира всех капиталистических стран.

Но сколь ни велика была слава описанных мною зарубежных русских хоровых ансамблей, она померкла, когда в 1937 году, во время всемирной выставки, в Париж приехал из Советского Союза Ансамбль песни и пляски Красной Армии под управлением Александрова.

Я не запомню ни одного выступления в Париже какого либо хорового коллектива, который имел бы столь оглушительный успех, какой выпал на долю этого грандиозного и единственного в своем роде ансамбля. В течение нескольких недель весь Париж, можно сказать, бредил этим хором. Даже эмигрантская пресса и так называемая «эмигрантская общественность», обычно поливавшие грязью все советское, на этот раз были вынуждены признать, что прославленным эмигрантским хорам далеко до приехавшего из СССР ансамбля.

Один из участников донского хора в беседе со мной сказал: — После выступления хора Красной Армии нам в Париже больше нечего делать…

В противоположность русским зарубежным хоровым коллективам попытки создать за рубежом большой оркестр народных инструментов кончились ничем. В Париже и во французской провинции долгие годы функционировали маленькие оркестры балалаечников, но никакого художественного значения они не имели. Некоторые из них, вроде оркестров под управлением Черноярова и Скрябина, были довольно живучи и долгие годы играли на эстрадах дорогих и модных парижских кафе и пивных, развлекая их посетителей.

Публику привлекала и оригинальная звучность балалайки, и

ее форма, а также шелковые рубахи, плисовые шаровары и лакированные сапоги балалаечников. На всем этом хозяева кафе и пивных опустили в свои карманы многие сотни тысяч франков.

Мне уже неоднократно приходилось отмечать, что основная масса осевших в Париже и французской провинции русских артистов, певцов и музыкантов влачила жалкое существование и в течение долгих лет лавировала между безработицей и ресторанной халтурой. Я не буду утомлять читателя перечислением артистов, певцов, куплетистов и рассказчиков, имена которых ежедневно мелькали на страницах эмигрантских газет в отделе объявлений. Тут были и старые имена, раньше гремевшие на всю Россию, вроде Вари Паниной, Нюры Масальской, А. Вертинского (впоследствии вернувшегося на родину), и артисты более молодого поколения, стяжавшие популярность в годы первой мировой войны, революции, гражданской войны и эмиграции, вроде, например, рассказчика Павла Троицкого.

Тяжела и безотрадна была их жизнь — жизнь дрожавших за завтрашний день бродячих актеров, удел которых — развлекать и услаждать тупую, аморальную свору бездельников и прожигателей жизни, заполнявших залы парижских ночных притонов. Некоторым из них удавалось объединиться в маленькие ансамбли, вырваться из удушающей кабацкой обстановки и приступить к решению чисто художественных задач и к популяризации русской музыки и песни среди иностранцев. Таковыми были время от времени возникавшие вокальные квартеты, мужские, женские и смешанные, как, например, просуществовавший долгие годы и стяжавший громкую популярность во Франции, Англии и других странах мужской квартет, основанный профессором русской парижской консерватории Кедровым. После его распада возник и просуществовал много лет мужской квартет, организованный большим знатоком русской народной песни и народного эпоса тенором Денисовым. Он в свою очередь распался в послевоенные годы. Из женских вокальных ансамблей некоторой популярностью пользовался квартет «Лель», тоже распавшийся.

«Распался…» Опять распадение, спросит читатель. Даже среди всего-навсего четырех человек, говорящих на одном и том же языке, с одинаковой судьбой, одинакового культурного уровня и с одними и теми же художественными задачами, притом старавшихся держаться в стороне от всякой эмигрантской политики?

Да, именно так.

Среди эмигрантов была в большом ходу ироническая

поговорка: «Один русский эмигрант — это без пяти минут гений. Два эмигранта — склока. Три — драка. Четыре — развал…» Но полезное дело эти маленькие ансамбли все же делали в народные массы Франции, Германии, Англии, Америки, Балканских стран и других государств влилась русская народная, а напоследок и советская массовая песня. Особенно много для пропаганды последней сделал денисовский квартет. С его легкой руки некоторые советские песни зазвучали на французском, итальянском, немецком, английском и других языках во многих странах Европы.

Я говорил о русской опере, балете, симфонической, камерно-вокальной и инструментальной музыке как об отдельных штрихах жизни «русского Парижа». Говоря об этой жизни, нельзя не упомянуть и о русском драматическом театре, о русских театрах миниатюр и театрах-кабаре, хотя почти все они родились вне Парижа.

В первые годы после революции за границей очутилась большая группа артистов Московского Художественного театра. Вместе с молодежью из студии этого театра и начинающими артистами, сформировавшимися в годы гражданской войны, она составила численно довольно внушительный коллектив.

Существование этого коллектива не укрылось от внимания правительства Чехословакии. В Праге был основан постоянный русский драматический театр. Этим театром и стал тот коллектив, о котором я только что говорил. Он официально называл себя «Пражской группой Московского Художественного театра» и давал почти два десятилетия подряд спектакли под прославленной эмблемой чайки.

Театр субсидировался чехословацкой казной. Дела его шли хорошо. Он выезжал на гастроли в Болгарию, Югославию и в «русский Париж».

Мне пришлось побывать на его гастрольных спектаклях в Софии в первой половине 20-х годов. Увы! От прежнего очарования театра, созданного Немировичем-Данченко и Станиславским, осталось немного. На все спектакли легла печать провинциализма недоброго старого времени. Начинались они с опозданием на 30–45 минут в ожидании, когда публика соберется. Статистов набирали из местных русских театральных энтузиастов, наскоро подучивали их на двух-трех репетициях и выпускали на сцену. Реквизит и бутафорию частично пополняли также из местных ресурсов. На актерское исполнительство легла тень трафарета и недоработки мизансцен. В таком виде спектакли «Пражской группы» едва ли порадовали бы сердце создателей Художественного театра. Видно, и «пражанам» при всей их

эрудиции и сценическом мастерстве был нужен воздух Москвы и ощущение родной почвы под ногами!

В Париж «пражане» приезжали почти ежегодно. На их спектаклях зрительный зал заполняли русские эмигранты и небольшое количество иностранцев, владеющих русским языком. Эмигранты плакали — не столько от исполнения, сколько от воспоминаний об утраченном счастье пребывания на родной земле, о канувшей в вечность молодости, о навсегда ушедших образах прошлого.

«Пражский» период зарубежного русского драматического театра продолжался долгие годы. Но всему приходит конец. С течением времени правительство Чехословакии устало от субсидий и от поддержки этого отнюдь не рентабельного дела. Русские эмигранты начали приедаться даже и славянофильским кругам.

Субсидии прекратились. «Пражской группе Московского Художественного театра» грозил бесславный конец, но о ней вспомнила общественность Югославии, а больше всего — коронованный глава государства сербов, хорватов и словенцев король Александр, воспитанник петербургского Пажеского корпуса и большой поклонник русской культуры.

«Пражская группа» перекочевала в Белград. Начался югославский период ее жизни и деятельности. Но ее удельный вес падал все ниже и ниже. Ряды старой театральной «гвардии», состоявшие из сподвижников Станиславского, Качалова, Москвина, Вишневского, редели. Пополнить их было трудно.

Вскоре прекратились и субсидии. Король Александр был убит в Марселе в день прибытия с визитом к президенту Французской Республики.

«Югославский» период «пражан» в свою очередь окончился. Начались случайные гастроли, редкие спектакли, паспортные мытарства, частные уроки, халтура, безработица.

Редкие и случайные спектакли давались остатками бывшей «Пражской группы» в маленьких парижских залах, совершенно не приспособленных для театра. Из «стариков» не осталось почти никого. «Смена» больше походила на любительскую труппу. Зарубежный русский драматический театр умер естественной смертью.

Большой переполох среди «эмигрантской общественности» вызвало появление в Париже все на той же всемирной выставке 1937 года истинного и подлинного Московского Художественного академического театра. Он был встречен этой «общественностью» в штыки. Все в нем никуда будто бы не годилось… Статьи, заметки, фельетоны «Возрождения» и «Последних новостей»

дышали ядом и были полны издевательств и по адресу режиссуры, и по адресу артистов. Сравнивалась старое и новое. Новое, конечно, «не стоило ни гроша…». Известная писательница-юмористка Тэффи оплакивала «гибель» старого Художественного театра, предавала анафеме Аллу Тарасову с ее партнерами и закончила свой фельетон так:

> «Высоко взвилась в поднебесье и долго парила в нем казавшаяся нам бессмертной чайка из Камергерского переулка… Ее больше нет… Она на наших глазах в театре Елисейских полей стремглав рухнула на землю. Художественный театр был. Художественного театра нет. Он умер. Аминь».

Французская критика и французская публика отнеслись к этим гастролям, конечно, иначе. Высказывания театральных критиков виднейших французских газет независимо от их политического профиля касались больше всего режиссуры. Если не считать немногих сдержанных и даже более чем сдержанных отзывов, большинство рецензий было полно похвалами режиссерскому мастерству В. И. Немировича-Данченко. Для большинства французских театралов (кроме старшего поколения, помнившего первую заграничную поездку Художественного театра в начале нашего века) это была первая встреча с художественным реализмом русского драматического театра.

Большое впечатление произвело на французского зрителя также внешнее оформление спектаклей. Хорошо помню, сколько разговоров вызвал во французском театральном мире сценический эффект приближающегося поезда в последней картине «Анны Карениной» и как ломали голову французские постановщики над «секретом» этого действительно потрясающего эффекта.

Чтобы закончить мои воспоминания о зарубежных русских театрах, упомяну также о многочисленных театрах-кабаре. Этот вид театра расплодился в великом множестве в предреволюционные годы в Москве, Петербурге и русской провинции. Отзвуки этого увлечения русской публики долгие годы существовали и в эмиграции. Эти маленькие театрики возникали как грибы, существовали недолгое время, прогорали, вновь возникали, вновь прогорали, пока наконец не умирали окончательно.

Никита Балиев со своей «Летучей мышью» существовал дольше других, но и ему приходилось туго. Тем не менее он как-то сводил концы с концами, умея выпрашивать у иностранных богачей небольшие субсидии. Кроме эмигрантской аудитории он

собирал в зрительном зале некоторое количество иностранцев. Не владея как следует ни одним иностранным языком, этот талантливый конферансье умел смешить иностранную публику своим нарочито исковерканным языком — «помесью французского с нижегородским». После его смерти «Летучая мышь» пыталась несколько раз взмахнуть своими крыльями, но жизни ее эти взмахи не продлили: она скончалась естественной смертью от отсутствия сборов и безденежья.

Дуван Торцов основал «Маски», Южный — «Синюю птицу», престарелый Долинов — «Золотого петушка», талантливый постановщик Евреинов — «Привал комедианта». Два последних кабаре давали свои постановки в Париже.

Основной частью программ этих театров миниатюр были перепевы старого, значительно выцветшие и поблекшие. Иностранную публику они, конечно, привлечь не могли. Их аудитория состояла почти исключительно из эмигрантов, которых неодолимой силой влекло ко всему поблекшему и канувшему в вечность. Каждое посещение эмигрантом такого театрика — это поток воспоминаний о Москве, Харькове, Ростове-на-Дону.

Но эмигрантский кошелек всегда был тощим. Продлить жизнь этих театриков он не мог.

XII
Русские врачи в зарубежных странах

С момента моего появления на родной земле после 27-летнего отсутствия и до настоящего момента, когда пишутся эти строки, мне приходилось бессчетное число раз отвечать моим собеседникам на вопросы, касающиеся положения русских врачей за границей.

Тут для советского человека много неясного и непонятного. Человек этот родился, вырос и живет в том мире, в котором медицина во всех ее разделах и проявлениях есть медицина бесплатная. В его голове с трудом умещается мысль, что где-то может существовать и существует другое положение вещей. А между тем это именно так.

Во всех без исключения странах капиталистического мира основным сектором практической медицины является медицина платная. Касается это не только частнопрактикующих врачей, но и государственных, коммунальных и общественных больниц, амбулаторий, санаториев и т. д.

Платными (и в большинстве стран дорогостоящими) являются абсолютно все виды практической медицины: амбулаторный прием, вызов врача на дом, операции, манипуляции, пребывание в больнице и в санаториях, курортное лечение, выдача медицинских документов и справок, лабораторные анализы, перевозка больных и т. д. В некоторых государствах исключение из этой всеобщей платежное медицинской повинности допускается только для больных, существование которых вне лечебного учреждения представляет значительную опасность для окружающих (заразные болезни).

Далее, основную массу врачей подавляющего большинства стран капиталистического мира составляют врачи частнопрактикующие, а основным сектором платной медицины является сектор частный.

Прием студентов на медицинские факультеты и выпуск молодых врачей во всех странах этого мира не регулируются никаким планом. Отсюда перепроизводство врачей, превышение предложения платной медицинской помощи над спросом и как следствие — врачебная конкуренция и врачебная безработица. Это уродливое явление в свою очередь порождает еще более уродливое — коммерциализацию врачебной профессии и гешефтмахерство.

А отсюда рукой подать до шарлатанства и полного падения

нравов морально неустойчивых элементов, имеющих звание врача.

Врач любой страны капиталистического мира есть прежде всего коммерсант. Весь вопрос лишь в том, какой он коммерсант: так называемый «честный», «не вполне честный» или отъявленный мошенник и спекулянт от медицины. Общность материальных интересов этих «честных», «не вполне честных» и совсем нечестных торговцев от здравоохранения заставляет их объединяться в мощные врачебные синдикаты, регламентирующие всю практическую деятельность врачей путем издания в интересах синдикатов законов и постановлений, проводимых через законодательные учреждения той или иной страны. Отсюда существующие почти во всех странах мира законы, запрещающие врачам-иностранцам не только занимать врачебные должности или заниматься частной практикой, но даже именоваться врачом.

В этот чуждый для русского понимания мир попали полторы или две тысячи русских врачей, по тем или иным причинам очутившиеся за рубежом в первые послереволюционные годы.

Двери врачебной профессии во всех европейских странах были тогда, как и теперь, наглухо закрыты для всех иностранцев, не имевших врачебного диплома данной страны. Некоторую «отдушину» для русских врачей, очутившихся за рубежом, составили три славянских страны: Болгария, Югославия и Чехословакия. Об этом — несколько ниже.

Среди прочих стран в описываемые годы только Марокко, Египет и Маньчжурия и два города — Константинополь (ныне — Стамбул), а также иностранная концессия Шанхая — давали право врачебной практики всем иностранцам, независимо от места получения ими диплома. Константинополь, как и вся Турция, отнял у них это право уже в 1923 году, Египет — в середине 30-х годов, Марокко — в 30-х годах. Но кто это право уже получил, тот сохранял его пожизненно.

Некоторые южноамериканские республики, в частности Аргентина, давали это право с большими ограничениями, а именно: иностранным врачам разрешалось селиться и практиковать в самых глухих деревенских районах, где нет врача-аргентинца в окружности радиусом 15 километров. Но если врач-аргентинец в этой окружности появлялся и оседал на постоянное жительство, то право практики у пришельца автоматически отнималось.

Незнание арабского языка препятствовало проникновению русских врачей в Египет и Марокко, где, как было сказано выше, они могли бы в течение известного времени продолжать свою

врачебную деятельность. Кроме того, в первые годы после революции у беспаспортных и полунищих русских эмигрантов свободного выбора страны не было и не могло быть.

Вихрем событий, а частично по роковой собственной ошибке вместе с эвакуированными больными и ранеными офицерами и солдатами разбитой деникинской армии в начале 1920 года занесло из Новороссийска в Александрию и Каир около 40 русских врачей. Вместе с шанхайскими и харбинскими врачами дальневосточной эмиграции эти «египтяне» являлись единственной группой зарубежных русских врачей, не знавшей мытарств в поисках врачебной работы и заработка. В смысле материальном эта группа жила очень хорошо. Некоторые из них достигли большой славы и популярности. Громадную известность на всем Арабском Востоке приобрел в те годы осевший в Каире один из моих бывших учителей (в годы студенчества) профессор кафедры врачебной диагностики и пропедевтической клиники медицинского факультета Московского университета К. Э. Вагнер.

В далекое Марокко при тех же обстоятельствах занесло только очень немногих врачей.

В 1920 году после разгрома врангелевской армии около сотни русских врачей пытались «зацепиться» за Константинополь. Только двадцати или тридцати из них это удалось. А через три года турецкие власти выслали и их вместе с остальной эмигрантской массой.

Иначе обстояло дело в Болгарии, Югославии и Чехословакии. Мне уже приходилось говорить, что в этих государствах при решении вопроса о расселении русских эмигрантов принимались во внимание не только политические соображения правящих кругов и руководящих партий, но и идеи славянофильства, хотя и превратно понимаемого.

Среди многих десятков тысяч эмигрантов на территории Болгарии оказалось около 200 врачей, в Югославии — около 350.

Согласно проведенному через Народное собрание закону, осевшим в Болгарии русским врачам предоставлялось право занятия врачебных должностей на государственной, общественной и коммунальной службе и право частной практики — в последнем случае только до тех пор, пока тот или иной русский врач какую-либо должность занимал.

Для последней оговорки были свои причины, а именно: до первой мировой войны Болгария не имела собственного медицинского факультета. Болгарские врачи получали образование в университетах Германии, Австрии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Италии, России.

Во время войны, принесшей Болгарии поражение, и в первые

годы после нее врачебного пополнения не было.

К моменту прибытия в Болгарию эмигрантских масс в 1920–1924 годах во всем государстве с 7-миллионным населением имелось в общей сложности только 800 врачей.

Большинство врачебных участков в селах были вакантными. В сельский сектор учреждений болгарского здравоохранения и были направлены русские врачи. Общность славянского происхождения, родственная близость языка, некоторые черты сходства условий жизни болгарского и русского дореволюционного крестьянства — все это облегчило решение задачи. Болгарское государство в те годы было заинтересовано в государственной службе врачей-эмигрантов на селе не менее самих этих врачей. Так на болгарскую службу было принято свыше 100 врачей. В эти же годы в Софии был открыт первый в Болгарии медицинский факультет. Подготовленных кадров собственной профессуры, особенно по разделу теоретических дисциплин, в Болгарии не было. Около десятка кафедр занимали русские профессора: патологической анатомии — Д. Д. Крылов, физиологии — Завьялов, бактериологии — С. С. Абрамов, акушерства — Г. Е. Рейн, нейрологии — Янишевский, психиатрии — Попов.

Начиная с середины 20-х годов Софийский университет стал выпускать болгарских врачей. С каждым годом острота нужды во врачах на болгарском селе сглаживалась. Профессиональный союз болгарских врачей вел открытую борьбу за лишение русских врачей права заниматься своей профессией. Они были для этого союза самыми опасными конкурентами. Но авторитет, приобретенный русскими врачами среди всех слоев населения за семи-, восьмилетнее пребывание их в стране, был настолько велик, что по инициативе и под натиском болгарского общественного мнения Народное собрание провело в 1928 году закон, даровавший персонально поименованным в нем 144 русским врачам пожизненное право врачебной службы и врачебной практики.

Условия, весьма близкие к описанным, создались и в Югославии. Иначе обстояло дело в Чехословакии. Чешские врачебные синдикаты крепко держались за запрещение врачебной работы врачам-иностранцам. Русским они исключения не делали. И только в областях Прикарпатской Руси (ныне — Западной Украины), которую чешские правящие круги никогда всерьез не считали чешской землей, русским врачам было разрешено занимать должности сельских участковых врачей.

К середине 20-х годов, когда «русский Париж» окончательно сформировался, в него устремилось большое число врачей-

эмигрантов. По данным эмигрантского Общества русских врачей имени Мечникова во Франции, за первые 20 послереволюционных лет через Париж прошло в общей сложности свыше 400 врачей, состоявших членами этого общества.

Но ситуация во Франции была совершенно непохожей на ту, что имела место в Болгарии и Югославии.

Французские законы запрещают заниматься врачебной профессией всем врачам, не имеющим французского диплома. За выполнением этого закона зорко следят французские врачебные синдикаты, объединенные во всефранцузский союз врачей.

Но появление на французской земле сотни тысяч русских эмигрантов, среди которых оказались 400 врачей, было фактом, от которого нельзя было отмахнуться. К тому же бесправный, полунищий и часто безработный русский эмигрант — это, с точки зрения французского врача, вообще не пациент. Из него ничего существенного не выжмешь. Далее, в силу все той же психологической стены взаимоотчуждения, о которой я неоднократно упоминал выше, пациент этот в кабинет французского врача не шел.

Любой ценой он искал врача, говорящего на родном языке и живущего одной с ним жизнью. А болеть общественно опасными болезнями — туберкулезом, сифилисом, трахомой, гонореей и другими — он болел. Значит, надо было искать какой-то выход из положения.

Выход был найден. Путем долголетних переговоров между правлением союза французских врачей и Обществом русских врачей имени Мечникова было заключено устное соглашение, в силу которого французский синдикат обязался не чинить препятствий русским врачам-эмигрантам лечить население «русского Парижа». Но боже упаси, если хоть один из них посмеет выдать рецепт пациенту французскому! Пощады ему не будет, и вся административно-судебная машина Французской Республики немедленно будет пущена в ход, чтобы покарать нарушителя законов.

Так, примерно с 1926–1927 годов в жизни врачей «русского Парижа» установилось состояние некоторого равновесия, правда весьма неустойчивого.

«Русский Париж» получил негласное и молчаливое разрешение лечиться у русских врачей в русских поликлиниках и зубоврачебных кабинетах, сдавать анализы в русские лаборатории, ложиться на операции в русские частные стационары. Последняя страница парижских эмигрантских газет стала после этого заполняться индивидуальными врачебными объявлениями и общим списком практикующих русских врачей,

адресами русских стационаров, поликлиник, зубоврачебных кабинетов и лабораторий.

Но, как я только что сказал, это равновесие было неустойчивым. Реальная жизнь ежедневно ставила русского врача в условия, при которых он не мог отказать французскому пациенту в медицинской помощи, часто неотложной.

Достаточно было очутиться в руках любого французского врача какому-нибудь маловажному рецепту, выданному русским врачом французскому пациенту, как рецепт этот препровождался сначала в правление синдиката французских врачей, оттуда в префектуру полиции, затем к судебному следователю.

Дальше в подобных случаях на протяжении всех 20 лет, проведенных мною во Франции, происходило следующее: звонок у входной двери квартиры или комнаты, занимаемой русским врачом. Дверь открывается. Перед врачом — фигура в штатском, с каменным, ничего не выражающим лицом.

— Что вам угодно?

— Префектура полиции. И одновременно с этими словами фигура с каменным лицом отворачивает лацкан своего пиджака, в который с внутренней стороны вшито клеймо с номером чиновника парижской префектуры.

Полицейский чиновник входит в квартиру.

— Ваши документы?

Документы предъявлены. Личность хозяина квартиры установлена.

— Мы имеем сведения, — продолжает чиновник, не меняя выражения своего лица и не повышая и не понижая голоса, — что вы занимаетесь врачебной практикой…

— Совершенно верно.

— Вам известно, что законы Франции не разрешают этого лицам, не имеющим французского врачебного диплома?

— Известно.

— И тем не менее вы этим занимаетесь…

— И тем не менее занимаюсь…

Чиновник оглядывается по сторонам. Кругом обстановка такой бедности и такого убожества, какой он не встречает, когда ему приходится бывать в жилище французского врача.

В лице его вдруг появляется что-то человеческое, а в голосе начинают звучать какие-то мягкие нотки: — Послушайте, господин доктор, мы ведь отлично понимаем ваше бедственное положение и мы, префектура полиции, говоря откровенно, ничего против вас не имеем и не стали бы сами беспокоиться и вас беспокоить. Но видите ли…

Тут чиновник вынимает из кармана лист бумаги с текстом,

напечатанным на машинке, и, не показывая этого текста своему собеседнику, продолжает: — Видите ли, к нам поступило заявление от ваших же коллег в лице французского синдиката врачей с требованием принять меры к прекращению нарушения законов, воспрещающих иностранцам, не имеющим французского диплома, заниматься врачебной профессией. Как ни неприятно, но мы должны поставить вас в известность, что за нарушение законов вы понесете ответственность.

Оставаться бездеятельными перед лицом поступившего к нам заявления мы не можем…

Визит чиновника окончен. Он удаляется. Часом или двумя позже врач узнает по телефону, что подобный же визит был нанесен еще нескольким его сотоварищам. Полицейско-судебные преследования русских врачей во Франции редко бывали одиночными. Они почти всегда были групповыми. В год моего приезда во Францию описанным выше путем возникло «дело 56 русских врачей».

Потом было «дело 22-х», еще позже — «дело 30-ти» и т. д. «Дела» эти заключались в том, что русских врачей преследовали за оказание медицинской помощи французским больным — такой помощи, которую не оказать при данных обстоятельствах в каждом отдельном случае было нельзя.

А преследовали потому, что с точки зрения неписаных законов, регулирующих практическую врачебную деятельность во всех странах капиталистического мира, больной человек есть прежде всего «клиент», а потом уже «больной». И если кто-то другой, а не данный французский confrere (собрат по профессии) остановил у него кровотечение, угрожавшее его жизни, или вывел его из состояния тяжелейшего приступа грудной жабы, то confrere, потерявший на этом 20 франков, готов перегрызть горло этому «другому» и, опираясь на закон, посадить его на скамью подсудимых.

Такова мораль врачебного мира капиталистических стран.

— Ну, а как же развертывались события после вышеописанного полицейского визита? — спросит читатель.

События эти протекали двояко.

В одних случаях, к счастью для этих «56-ти» или «22-х», дело кончалось ничем. «56» или «22» без устали обивали пороги и ходили к лицам, имевшим какой-то доступ к «сильным мира сего», от которых зависело очень многое, в том числе и дальнейший ход «дела».

Кое-кто из этих просителей, ожидавших дальнейших полицейских и судебных ударов на свою голову, состоял в масонской организации. Это очень существенно. Они обращались

к «досточтимому» своей ложи. «Досточтимый», приняв от потерпевших «братьев» масонский сигнал бедствия, устанавливал связь с «братьями» других лож и с другими «досточтимыми». Эти последние адресовались к еще более высоким масонским инстанциям.

На префектуру полиции за кулисами производился сильный нажим. В результате «дело» дальше полицейского расследования не шло и клалось под сукно.

Но бывало и по-другому: среди очередной группы врачей, преследуемых за выполнение своего врачебного долга, не было никого, кто имел бы «ход» или «руку» у «сильных мира сего». Не было среди них и ни одного масона. В этом случае вслед за описанным первым действием полицейско-судебной драмы следовало второе, гораздо более тяжелое.

Снова звонок. Снова вы открываете дверь. На этот раз перед вами не молчаливый чиновник из префектуры с каменным лицом, а двое представителей так называемой «судебной полиции». В кармане у них — ордер судебного следователя на производство обыска. Лацканов они не отворачивают, своего звания вам не сообщают, а, оттолкнув вас, врываются в вашу квартиру и орут на вас и на всех, кто в этот момент в комнате находится.

— Ни с места! Не двигаться! К дверям не подходить!

Затем из кармана вынимается ордер следователя и начинается обыск.

Вы, не совершивший никакого преступления и нигде, никогда и никем не осужденный, в их глазах уже преступник. Они и обращаются с вами как с таковым. Ваше «дело» находится у судебного следователя. Два явившихся к вам агента имеют задание добыть «вещественные доказательства» вашего «преступления». Если вы зубной врач, или окулист, или гинеколог, то в саквояж, который один из них держит в руках, летят в хаотическом беспорядке ваши шприцы, пинцеты, медицинские зеркала…

Они будут фигурировать на суде в качестве corpus delicti (вещественное доказательство преступления).

Но иногда положение блюстителей правосудия становилось затруднительным: вы терапевт, или педиатр, или невропатолог. Никакого инструмента у себя не держите.

Единственные инструменты — стетоскоп, молоточек и плессиметр — находятся в кармане вашего пиджака. Личного обыска сыщики не производят. Но вернуться к следователю с пустыми руками нельзя из-за карьерных соображений. Они ищут долго и упорно: перерывают все ящики стола, шкаф и буфет, идут в кухню, заглядывают в ванную и уборную, развязывают узел с

грязным бельем, который вы завтра понесете к прачке. Нигде и ничего!

Как быть?

Выход найден: на столе — телефонный аппарат, а рядом с ним справочник с фамилиями и адресами всех абонентов. Вот и ваша фамилия, а рядом с ней только одно слово: «Врач». Вот он — corpus delicti: доказательство того, что вы преступник и занимаетесь профессией, которой не имеете права заниматься.

Не обходилось дело и без курьезов, конечно не для того лица, которого курьезы эти непосредственно касались. У русского врача О., в свое время широко известного среди населения Южного берега Крыма, телефона не имелось. Судебно-полицейских агентов после трехчасового бесплодного обыска выручил «пустячок»: среди вороха бумаг, расшвырянных ими по всей комнате, им попалась на глаза маленькая бумажка прошлогодней давности.

Доктор О. в прошлом году выдавал замуж свою дочь.

Следуя распространенному во Франции обычаю, он в свое время разослал с полсотни отпечатанных на меловой бумаге пригласительных билетов на французском языке с обычным в таких случаях содержанием: «Врач О. и мадам О. просят Вас пожаловать на бракосочетание их дочери с мсье таким-то, имеющее быть во столько-то часов такого-то числа там-то».

Одно из приглашений осталось у него на руках. Для следователя этого достаточно: иностранец О. называет себя врачом, значит, он занимается врачебной деятельностью.

Через три недели после этого О. занял место на скамье подсудимых парижского исправительного суда. Эту скамью до него занимали многие десятки русских врачей, профессоров.

Удивительную картину представляли собою некоторые заседания суда. Секретарь монотонным голосом читает изложение того или иного «дела», коих за день рассматриваются многие десятки: проститутка, учинившая на улице скандал; хулиган, устроивший пьяный дебош в ресторане; прохожий, перешедший улицу в неположенном месте и обругавший полицейского, сделавшего ему замечание; пассажир, не уплативший за проезд в автобусе и толкнувший в грудь кондуктора. И среди них в порядке очередности «некто В. Н. Сиротинин, незаконно занимавшийся врачебной деятельностью», или «некто Иванов, Петров, Сидоров», тоже занимавшиеся той же деятельностью…

Адвокат «некоего Сиротинина» пускает в ход все свое красноречие в целях оправдания своего подзащитного. Он потрясает в воздухе переведенным на французский язык

дипломом клиента; читает длинный список его научных работ; указывает на то, что имя профессора Военно-медицинской академии В. Н. Сиротинина известно врачам-терапевтам всего мира; напоминает, что его клиент имел звание лейб-медика его величества русского императора; что он пользовал президента Французской Республики Пуанкаре, когда тот приезжал в Петербург и когда у него заболел живот от обильного русского угощения и русской водки; наконец, что его подзащитный действовал из самых гуманных побуждений и никому не нанес какого-либо ущерба.

Судьи с застывшей миной холодно выслушивают адвоката. Председатель суда, обращаясь к нему, говорит бесстрастным голосом: — Все это так, дорогой адвокат, но мы — рабы закона.

Установлено, что ваш подзащитный занимался врачебной деятельностью незаконно. Это — все. Остальное нас не интересует. Статья такая-то… Штраф полторы тысячи франков. Следующий!

В обстановке постоянного ожидания стука в дверь прошло 20 с лишним лет. О возвращении на родину думали лишь единицы из всей массы врачей, занесенных вихрем бури во Францию. Некоторые из них поставили целью упрочить свое положение во Франции. Лишь немногим это удалось. Я должен отметить, что французские законы запрещали заниматься врачебной деятельностью не иностранцам, как таковым, а врачам, не имеющим французского диплома. С получением его и выполнением некоторых финансовых формальностей иностранцы это право получали.

Как же врачу-иностранцу, имеющему врачебный диплом своей страны, получить французский диплом?

Для этого он должен, согласно французским законам, прежде всего сдать на протяжении двух лет на двух весенних сессиях bachot (экзамен на аттестат зрелости), чтобы получить степень бакалавра. После этого поступить на третий курс медицинского факультета одного из французских университетов и пройти полностью все три года студенческого обучения в клинике.

Короче говоря, с момента, когда вы решили легализовать ваше положение как полноправного врача, до момента, когда вы достигнете вашей цели, пройдет пять лет.

И это при условии, что у вас нет провала ни на одном экзамене. С провалами вам придется ждать желанного момента гораздо дольше. Нужно было очень много для того, чтобы этого момента достичь. Этого «многого» у бедствующих врачей-эмигрантов как раз и не было. Имя этому «многому» — деньги.

Чтобы выдержать экзамен на аттестат зрелости, вы

вынуждены пользоваться в частном порядке в течение двух лет уроками, советами и указаниями педагога из любого парижского лицея (средней школы). По некоторым соображениям, о которых будет сказано ниже, вы будете платить ему за эти уроки упятеренный или удесятеренный гонорар.

После получения степени бакалавра вы поступаете в университет на третий курс медицинского факультета (ваш русский диплом врача дает право на зачет первых двух курсов). В течение последующих трех лет вы на положении студента должны посещать лекции и практические занятия, предусмотренные программами. На работу, связанную с добыванием хлеба насущного, времени не останется. Вы сможете просуществовать все эти пять лет только в том случае, если обладаете большими средствами.

Нужно ли говорить, что среди массы бедствующих русских парижских врачей этими средствами обладали лишь единицы?

Достаточно сказать, что из 400 с лишним врачей, состоявших членами Общества русских врачей имени Мечникова, на этот шаг отважилось только 14 или 16.

Удивительную картину представляла подготовка к bachot и студенческие занятия 50- или 60-летних «студентов», имевших дипломы российских медицинских факультетов, 30 или 40 лет врачебного стажа и звание доктора медицины, профессора университета или Петербургской военно-медицинской академии.

«Провалов» у этих седовласых экзаменующихся при сдаче ими bachot никогда не бывало. На это имелась очень веская причина.

Все педагоги средних учебных заведений города Парижа объединены в профессиональный союз. Один из этих педагогов, приглашенный частным образом, является вашим «репетитором». Вы платите такой гонорар, какой в обычных условиях ему и не снится. За два года занятий с вами его кошелек пополнится несколькими тысячами франков. Против вашей фамилии в правлении союза в списке будущих бакалавров, пришедших на экзаменационную сессию «со стороны», делается отметка. Как же ее не сделать, если вы облагодетельствовали одного из членов союза, а принцип союза — «один за всех, все за одного»?

Накануне экзамена фамилии ваших экзаменаторов уже известны правлению союза. Им даются соответствующие указания. Остальное ясно: «провала» у вас не будет…

Иначе дело обстоит со сдачей государственных экзаменов. Тут ваши экзаменаторы — профессора и крупные ученые с именами, подчас известными всему миру. Никого они не репетируют и никаких гонораров с экзаменующихся не получают.

Они — люди влиятельные, независимые и богатые. В профсоюзах не состоят и поблажек делать вам не собираются.

Но… большинство из них принадлежит к масонской организации. Большинство экзаменующихся — тоже. Иначе они на старости лет и не взялись бы за учение. Экзаменующийся «брат-масон» адресуется накануне экзамена к «досточтимому» своей ложи. Рычаги масонской солидарности немедленно приводятся в движение. «Досточтимые» звонят друг другу по телефону, пишут письма, подписываясь своей фамилией, коей предшествуют расположенные треугольником три точки. «Брат-масон», у которого вы завтра будете экзаменоваться, делает в своей записной книжке отметку. Ослушаться «досточтимого» он не может: масонство строго карает «братьев», вышедших из повиновения. Этого достаточно. Если вы масон, то за исход экзамена можно не бояться — провала не будет.

Но не все профессора, как и не все экзаменующиеся, масоны. Поэтому иной раз дело проходит не столь гладко. Бывали и провалы… 60-летний бывший профессор медицинского факультета Ростовского-на-Дону университета и бывший ассистент знаменитого русского невропатолога и психиатра Бехтерева К. С. Агаджанян вытягивает на экзамене по неврологии билет «Поражения центральной нервной системы при сахарном диабете» — тема более чем хорошо ему известная: ведь именно она и была в свое время предметом его докторской диссертации.

Профессор-француз молча слушает бойкий ответ убеленного сединами «студента». Не дожидаясь окончания ответа, он обрывает его: — Вы ничего не знаете.

Оценка — «единица». Сорван не только экзамен по неврологии, но и все остальные: таковы французские университетские правила. Следующая сессия будет через несколько месяцев.

Вторичное в течение жизни изучение в 50-летнем возрасте синусов и тангенсов, бинома Ньютона и таблицы логарифмов, пунических войн и состояния государственных финансов при Людовике XIV, экономической географии Бразилии или Японии и многого другого не могло не отразиться на здоровье великовозрастных «студентов»: время от времени члены Общества русских врачей имени Мечникова провожали в последний путь на кладбище одного за другим тех смельчаков, которые отважились на погоню за французским дипломом. Большинство из них, не выдержав перенапряжения нервной и сердечно-сосудистой системы, связанного со вторичной в их жизни сдачей школьных и университетских экзаменов, умерли через один-два года после достижения поставленной ими цели.

Некоторую «отдушину» для русских врачей представляла служба в колониях Западной и Экваториальной Африки.

Законы метрополии распространяются и на колонии.

И там врач, не имеющий французского диплома, не может заниматься врачебной деятельностью. Но врачи в колониях до зарезу нужны: французские врачи дальше столицы той или иной колонии или окружного центра не ехали. На плантациях, рудниках и разработках тропического леса не было ни одного врача. А тут свалились с неба несколько сот безработных врачей из далекой России. Молва о них идет хорошая. Надо их использовать. Надо найти выход из положения.

Выход быстро находят: провести их формально в качестве hygieniste adjoint,[12] платить им пониженное жалованье, а фактически использовать как врачей на отдаленных участках, затерянных в глуши тропических лесов.

В 1925–1926 годах в этом направлении были сделаны первые шаги. Несколько русских врачей уехали под экватор и тропики. Опыт оказался удачным. Губернатор Французской Западной Африки письменно рапортовал министру колоний, что русские врачи зарекомендовали себя с самой лучшей стороны: они, по его словам, отличаются изумительной работоспособностью, добросовестностью, рвением и обладают широкими знаниями и большим опытом. Свой рапорт он закончил крылатой фразой, быстро облетевшей русские парижские медицинские круги: «За десять французских врачей на подведомственной мне территории я не отдам даже и одного русского врача».

После этого двери колониальной службы широко распахнулись для зарубежных врачей. По сведениям Общества русских врачей имени Мечникова, игравшего в поступлении на эту службу роль посредника между врачами-эмигрантами и министерством колоний, через Французскую Западную и Экваториальную Африку за 1925–1940 годы прошло около сотни русских врачей. Специфические и исключительно тяжелые для европейца климатические условия службы под тропиками не позволили увеличить это число. Для многих из этих «африканцев» Африка оказалась могилой. Но большинство выжило и полюбило Черный континент самой нежной любовью.

Что привлекло очутившихся в Париже уроженцев Москвы, Поволжья, Урала, донских и кубанских степей к жизни в негритянской деревне среди окружавшего ее непроходимого тропического леса? Одна ли только материальная сторона дела, кстати сказать не слишком завидная?

Нет! Покидая Европу для двухлетнего пребывания в дебрях Тропической Африки и чувствуя под ногами почву Черного

континента, русский зарубежный врач прежде всего переставал быть «поганым иностранцем» и «славянской свиньей». Французский полицейский администратор, португальский или греческий купец, польский топограф — все они жмутся друг к другу, коль скоро судьба свела их на земле Черного континента. Кличка «поганого иностранца» остается позади них в Бордо и Марселе при посадке на пароход, отвозящий их в Африку.

К этому надо прибавить внешние условия жизни русского эмигранта под тропиками. Вместо парижских трущоб — отдельный коттедж, выстроенный по последнему слову техники и жилищного комфорта; вместо скученности, дворов-колодцев, копоти, дыма и смрада городов — африканские просторы, приволье, пение тропических птиц, охота, рыбная ловля; вместо подбирания по дешевке на базаре залежавшегося и непроданного торговками третьесортного продовольственного товара — льющееся через край обилие дичи, рыбы, диковинных овощей, фруктов.

Попавший из Парижа под тропики русский врач-эмигрант первое время находится в восторженном состоянии. Постепенно он начинает осматриваться, наблюдать, и постепенно его энтузиазм начинает тускнеть.

Ежедневно он слышит хвастливые речи своего прямого начальника — французского администратора, фактического царька того района, населенного десятками и сотнями тысяч черных людей, к которому он в качестве врача прикреплен. По словам администратора, колониализм, особенно французский, — истинное благодеяние для природных жителей страны. Прекрасная и благородная Франция строит в Африке шоссейные дороги, воздвигает амбулатории и школы; лечит и учит этих темных и невежественных людей, которые без ее великодушной помощи давно вымерли бы; самоотверженные католические миссионеры сеют среди них семена духовного просвещения…

Русский врач слушает эту казенную словесную трескотню, но глаза его видят другое. Да, шоссейные дороги в Африке прекрасные. Без них ведь не вывезешь продукцию рудников и плантаций, приносящую предпринимателям миллионные доходы… По ним же в случае чего легко двинуть бронированные машины Иностранного легиона, если в них появится необходимость.

Да, в амбулаториях лечат и оперируют природных жителей Черного континента. А как же не строить амбулатории, если европейскому плантатору и промышленнику нужна рабочая сила, физически здоровая, способная выдержать 12–14 часов ежедневной каторжной работы? Малярия, оспа и трахома

плантаторов не устраивают. Да, школы воздвигаются одна за другой. Без них тоже нельзя: нужно подготовить кадры черных пособников капитала, проникшего в самое сердце Тропической Африки. Это — будущие десятники и бригадиры на тех же плантациях и рудниках.

Любой европеец, оказавшийся в колониальной стране, быстро постигает господствующие там нравы. Он узнает, что каждый белый обязан иметь при себе огнестрельное оружие, а каждый черный, у которого будет обнаружено оружие, подлежит расстрелу. Он слышит, что в соседнем районе в какой-то негритянской деревне было восстание; что вся немногочисленная администрация была перебита восставшими; что через 24 часа после этого в деревню прибыл отряд бронированных машин и все мужское население было поголовно расстреляно, а деревня сожжена целиком и без остатка.

Человек, которому не чужды демократические воззрения, не может остаться равнодушным; он продолжает любить африканские просторы, но в его уме пока еще смутно и неоформленно растет протест против дикой морали окружающего его колониального мира.

Горе ему, если кто-либо догадается об этих бродящих в его голове мыслях! Из всех смертных грехов самым тяжким в колониях считается хотя бы попытка высказать идеи братства и равенства народов.

Следующий случай, хотя и не с врачом, весьма типичен. Поляк-топограф, приглашенный к администратору района на торжественный банкет в день французского национального праздника 14 июля, после нескольких выпитых им бокалов шампанского неосторожно поделился обрывками своих мыслей с соседкой по банкетному столу. Через 48 часов после этого он был уволен по телеграфному распоряжению министра колоний, а по возвращении в метрополию получил приказание префектуры полиции в восьмидневный срок покинуть пределы Франции…

Нужда заставляла русских врачей, попавших в Тропическую Африку, дорожить предоставленной им возможностью безбедного существования. Скрепя сердце, они подписывали каждые два года, разделенные шестью месяцами отпуска в Европу, новый контракт на новый двухлетний sejour (срок пребывания) в дебрях Западной или Экваториальной Африки. Я встречал в Париже своих сотоварищей по профессии, которые проделали шесть или семь этих двухлетних sejour, тогда как обычно непривычный к африканскому климату европеец с трудом одолевал только один.

Как ни тяжело было юридическое и материальное положение русских врачей за рубежом, в них никогда не угасало стремление

к научному совершенствованию и научно-литературной работе. В первые после революции годы в Берлине выходил русский научный журнал «Врачебное обозрение», в котором помещались статьи, обзоры и рефераты по всем отраслям практической медицины.

Журнал этот просуществовал не более трех-четырех лет и умер естественной смертью от безденежья, как умирали от той же болезни и многие другие эмигрантские предприятия.

В 30-х годах в Париже выходил научно-медицинский журнал «Врачебный вестник», основанный бывшим профессором Московского университета патологоанатомом и бактериологом С. С. Абрамовым. Никаких средств на его издание не было. Но было среди его сотрудников непреодолимое желание иметь собственный журнал и пропагандировать за рубежом русскую медицинскую мысль.

Все сотрудники его, начиная от редактора и кончая корректором, работали бесплатно. Но больше трех лет существования он выдержать не мог. Подписчиками были только русские зарубежные врачи и несколько владеющих русским языком врачей славянских стран. Подписная плата не могла покрыть расходов даже на бумагу и печатание. К тому же в те времена в ряде стран было введено запрещение перевода валюты за границу. Это еще более сузило круг подписчиков.

Наконец, было еще одно обстоятельство, которое отшатнуло от журнала целый ряд его подписчиков: его редактор С. С. Абрамов, ученый с крупным именем, с первых лет своей зарубежной деятельности заразился болезнью политиканства. В научном журнале стали появляться в отделе хроники заметки, подписанные его именем, ничего общего с наукой не имевшие. Абрамов, в молодости занимавшийся кроме науки еще газетным репортерством, перешел на политическую халтуру: он «специализировался» в издевательствах над советскими учеными, не щадя даже таких авторитетов, как ученый с мировым именем патологоанатом А. И. Абрикосов. Ему не нравилось решительно все, что происходило из Советского Союза, будь то крупная научная работа, вновь выпущенный советской фармацевтической промышленностью препарат или реформа медицинского образования.

Хорошее начинание было в корне испорчено. Дух истинной научной мысли отлетел от страниц «Врачебного вестника». В 1933 году журнал прекратил свое существование.

Я не был бы объективным, говоря о жизни русских врачей за рубежом, если бы обошел молчанием те возможности научного и практического усовершенствования, которые Франция

предоставляла врачам-иностранцам.

Двери всех парижских клиник и больниц были всегда широко открыты для врачей всех стран. Все они встречали со стороны их руководителей самое предупредительное отношение. За 13 лет моих хождений по парижским клиникам и больницам я не запомню ни одного случая, чтобы врач-иностранец почувствовал в их стенах какое-либо недоброжелательство по отношению к себе.

Кличка «поганого иностранца» оставалась позади — за дверями больниц и клиник. Экспансия французской научной медицинской мысли за пределами Франции давно уже стала традицией верхушки французского клинического мира. Посещавшие парижские медицинские учреждения иностранные врачи автоматически становились проводниками этой экспансии. Само собой разумеется, что ни один из них не мог получить никакого штатного места и никакой заработной платы по причинам, о которых я говорил выше. Наоборот, за некоторые виды клинического усовершенствования в виде курсов лекций и семинаров по какому-либо узкому вопросу он сам платил определенную сумму. Но ему беспрепятственно предоставлялось право участвовать во всей повседневной больничной и клинической работе, в профессорских обходах и разборе больных, следить за течением болезни госпитализированных, принимать активное участие в операциях и т. д. Для выполнения всего этого не требовалось никаких формальностей: достаточно было лично представиться профессору или заведующему отделением, назвать себя, свою национальность, место получения диплома и сообщить ему, какой раздел данной медицинской специальности вас интересует больше всего и в каком направлении вы хотели бы работать.

Читателю, возможно, будет немного непонятно, каким образом эту повышенную любезность и предупредительность верхушки французского медицинского мира можно сочетать с теми драконовскими мерами, которые синдикат французских врачей применял по отношению к иностранцам в их практической врачебной деятельности?

Причина этого явления заключается в следующем: врачи университетских клиник и крупных больниц Франции представляют собою научную аристократию медицинского мира. Их клиническая карьера многоступенчатая: каждая ступень достигается путем сдачи особых конкурсных экзаменов. Квалификация врачей, занимающих низшие ступени этой лестницы, — повышенная по сравнению со всей остальной врачебной массой; занимающих высшие — исключительно высокая.

Клинические и больничные врачи Парижа и других крупных медицинских центров Франции, как правило, не состоят членами врачебных синдикатов. На всю основную массу французских врачей они смотрят свысока. Присутствие иностранцев в стенах государственных лечебных учреждений никакой опасности для их кошелька не представляет. Иностранцы эти работают в клиниках бесплатно и никаких штатных мест не занимают. А проработав месяцы и годы во французских клиниках, они, хотят того или не хотят, разносят по всем странам мира славу французской медицинской науки, а попутно пропагандируют продукцию французской фармацевтической и медико-инструментальной промышленности. Это ведь тоже немаловажно!

Но если объективность заставила меня отдать должное в моих воспоминаниях тем возможностям, которые корифеи французской медицинской мысли предоставляют врачам-иностранцам, совершенствующимся во французских клиниках, и которыми лично я пользовался долгие годы, то эта же объективность не позволяет мне умолчать о том горьком осадке, который остался у меня на душе после долголетних хождений по этим клиникам. Осадок этот остается у каждого русского врача, близко знакомого с жизнью государственных и общественных лечебных учреждений Франции.

Суть дела в том, что больной человек, лежащий на больничной койке государственной французской больницы, есть только отчасти человек. В значительной степени он морская свинка или кролик, над которым врачебная мораль капиталистического общества разрешает производить кое-какие эксперименты, испытывать действие вновь изобретенных и еще не проверенных на практике лечебных препаратов и т. д. Поскольку больной не представляет для лечащего врача никакого материального интереса, он не пациент в обычном смысле слова и церемониться с ним нечего. Больничный врач не считает даже нужным давать ему какие-либо объяснения по части установленного диагноза его болезни, происшедших перемен в состоянии здоровья и дальнейшего лечения. Хочешь разговаривать с врачом и получать ответы на интересующие тебя вопросы — иди в частную лечебницу и ложись в частный стационар. Их во Франции — тысячи. Места всем хватит.

Тяжелое впечатление на посетителя производит также материальная база парижских больниц. Это грандиозные учреждения с числом коек часто больше тысячи в каждом. Но размещены они в зданиях, построенных в XVIII и XVII веках. За 21 год моего пребывания в Париже там была построена только одна больница вполне современного типа — это так называемый

«Новый Божон».

Я никогда не забуду того гнетущего впечатления, какое произвела на меня в 1926 году всемирно известная парижская больница святого Людовика, первое по счету место моих парижских врачебных занятий: черные от вековой копоти здания, мрачные казематы вместо обычных палат, с полсотней коек в каждом, железные печки в палатах… В дальнейшем я убедился, что и остальные не лучше.

В одной из больниц, расположенной в 14-м городском округе, несколько зданий построены на сваях. В грандиозной больнице святого Антония стены некоторых корпусов были укреплены массивными деревянными подпорками, без которых они грозили рухнуть.

Совершенно другую картину представляют частные лечебницы с постоянными койками. Все, кто не принадлежит к числу людей совершенно обездоленных, в случае болезни ложатся именно сюда. Казенные больницы всегда были пугалом для французского населения.

Чтобы закончить мои воспоминаний о жизни и деятельности русских врачей во Франции, я остановлю внимание читателя на нескольких картинках, иллюстрирующих их беспросветную и безотрадную жизнь.

Общеизвестно, что самоубийства в странах капиталистического мира есть явление повседневное и вполне обычное. Не мудрено, что в длинном списке самоубийц города Парижа вы ежеминутно натыкались на русские фамилии. В одном из отчетов парижского префекта полиции в описываемые годы говорилось: «Среди всех проживающих в Париже иностранцев русские занимают последнее место в рубрике уголовных преступлений и первое — в рубрике самоубийств».

Возьмите на себя труд, читатель, перелистать этот длинный список. Я помогу вам в этом.

Врач Т-ва, 48 лет, психиатр с 25-летним стажем. Долгие годы была ежедневной посетительницей парижской психиатрической больницы святой Анны. Оказывала в ней существенную помощь персоналу больницы. Работала бесплатно в отделении известного французского психиатра М., который в виде вознаграждения за труд отвел ей каморку на чердаке помещения, в котором были свалены архивы Общества невропатологов и психиатров.

На кипах связанных протоколов заседаний Общества за предыдущую сотню лет она и спала. Была совершенно одинокой. Питалась хлебом и чаем без сахара. Однажды она не явилась в больницу. Прошел другой, третий, четвертый день… Никаких признаков жизни… Проходит еще несколько дней… На десятый

день консьержка — блюстительница порядка, имеющаяся в каждом парижском доме, — стучится в дверь. Ответа нет. Звонок в полицейский комиссариат квартала. Дверь взламывают. На кипах связанных бумаг — труп врача Т-ой с изъеденным крысами лицом. Рядом — порожний пузырек с этикеткой яда и записка карандашом: «Прошу в моей смерти никого не винить. Не могу больше выносить мук нищеты и безработицы».

Врач В., 50 лет, жена одного из моих учителей, бывшего профессора Московского университета по кафедре частной патологии и терапии внутренних болезней. Мать четверых детей. Найдена мертвой в Булонском лесу при утреннем обходе парка сторожами. Рядом на скамейке — тюбики из-под яда и записка того же содержания.

Врач Т-в, 42 лет, уроженец Кавказа. Безработный, затем шофер легкового такси. Снова безработный. Потом мойщик машин в одном из гаражей 15-го городского округа. Однажды является в гараж рано утром в обычный час.

На этот раз он без рабочего комбинезона и без резиновых бот. Несмотря на холодный осенний день, ворот его рубашки открыт, как в жаркую погоду. К удивлению всех, он не проверяет краны водонапорной установки и не берет в руки резиновую кишку. Вместо этого он вынимает из кармана бритву, сбрасывает пиджак и перерезает себе сонную артерию. Остолбеневший от ужаса персонал гаража видит его через полминуты мертвым, лежащим в луже крови. В кармане сброшенного пиджака записка: «В жизни больше ничего не осталось. Лучше умереть, чем дальше терпеть муки и страдания».

Не буду утомлять внимания читателя этими трагическими штрихами жизни русских врачей за рубежом. Перейду к другим хотя и не столь трагическим, но по своему существу мало чем отличающимся от предыдущих.

Врач Г-н, бывший младший врач минной дивизии Черноморского флота. В течение 20 с лишним лет — парижский шофер легкового такси. Одинокая жизнь. Каморка на восьмом этаже захудалых «меблирашек». На комоде — эмблема профессии, которой он когда-то собирался посвятить свою жизнь: стетоскоп и нагрудный врачебный значок. Днем — ненавистное такси. Вечером — стакан терпкого бордоского вина в кругу таких же «бывших людей», с одними и теми же каждый день воспоминаниями о молодости и невозвратном прошлом.

Врач П-н. В 20-х годах — чернорабочий на каменоломнях острова Корсика, потом чернорабочий на автомобильном заводе Рено в Париже. Одинокий, мрачный, отчаявшийся и разочарованный в жизни и людях.

Врач В-й, фтизиатр с 30-летним стажем. Одинокая жизнь. Безработица. Игра на виолончели в камерном ансамбле русского ресторана в Париже. Снова безработица.

Душевная болезнь. Койка и смерть в доме умалишенных.

Врач С-ч, бывший ассистент госпитальной терапевтической клиники Военно-медицинской академии, свободно владевший тремя иностранными языками и получивший до революции трехгодичную командировку за границу для усовершенствования в клиниках Берлина, Вены, Парижа и Цюриха. Перманентная безработица в Париже на протяжении двух десятков лет. Предельная степень нищеты. Ночевки в ночлежном доме благотворительной организации «Армия спасения». Подачки на пропитание из кассы Общества русских врачей имени Мечникова.

Смерть в полном одиночестве и тяжелых муках — душевных и телесных на чердаке одного из домов 14-го городского округа.

Можно было бы продолжить перечень выброшенных за борт жизни людей с русским врачебным дипломом в кармане, подававших в свое время большие надежды. Но я думаю, что и приведенного достаточно, чтобы составить себе некоторое представление о существовании русских врачей в капиталистических странах.

Закончу свои воспоминания о врачах маленькой статистикой: из 400 с лишним человек, состоявших членами Общества русских врачей имени Мечникова, только 150 удержались на поверхности жизни и не потеряли своей квалификации, кое-кто из них даже значительно повысил ее. Остальные 250 быстро или медленно пошли ко дну.

XIII
Зарубежные русские композиторы, писатели, художники

Кроме промелькнувших перед моими глазами за 27 лет пребывания за рубежом многих тысяч эмигрантских политиканов, «активистов», неистовых «рыцарей белой мечты», разного рода авантюристов, о которых шла речь в предыдущих главах, в моей памяти оставили яркий след имена людей, отмежевавшихся от всякой эмигрантской политики. Они сделали в свое время бесценный вклад в сокровищницу мирового искусства и литературы и прославили нашу родину и наш народ.

Это — русские композиторы, артисты, музыканты, писатели и художники. Однако, упоминая о них, я испытываю чувство горечи, и эту горечь, несомненно, разделит со мною и каждый советский читатель. Перед ним, как и передо мною, встанет один и тот же мучительный вопрос: зачем эти люди оторвались от родной страны и родного народа и, прожив долгие годы на чужбине и окончив на ней свой жизненный путь, зарыли в землю задолго до своей смерти свой бесценный талант? Ведь громадное большинство их ясно сознавало, что пребывание за рубежом — это конец их долгого и славного творческого пути и что только в воссоединении с родной землей и родным народом они снова обретут неиссякаемый источник вдохновения.

Я не беру на себя смелости и дерзости бросить в них камень упрека и в какой-то мере осуждать их, но пройти мимо факта бесславного их конца в зарубежье тоже не могу. Многих из них я знал лично. Деятельность других протекала перед моими глазами. Рассказы о них я слышал ежедневно. Всем виденным и слышанным я и хотел бы поделиться с читателем. Быть может, историк русского искусства и литературы найдет в этом рассказе что-либо могущее представить для него какой-то, хотя бы малый, интерес.

Начну с композиторов.

В эмиграции прожил последние восемь лет своей жизни и умер А, К. Глазунов — гениальный и всемирно признанный композитор, дирижер, педагог, живой мост между «Могучей кучкой»[13] и поколением музыкантов, вступивших на творческий путь накануне и после Октябрьской революции. Как и при каких обстоятельствах он покинул родину, мне неизвестно. В Париже он появился в конце 20-х годов. Поселился в парижском предместье Булонь-на-Сене.

Хотя эмигрантской бедности Глазунов и не знал, но жил скромно. Его грузную фигуру с типичным чисто русским лицом и чертами, дорогими сердцу каждого русского, причастного к музыкальной культуре, часто можно было видеть в Булонском лесу[14] на длительных ежедневных прогулках. В последние годы его жизни мне пришлось неоднократно встречаться с ним в поликлинике на улице Винь, куда он ходил на электропроцедуры и где я тогда состоял ассистентом. Было ему в то время под 70 лет. Во внешнем его облике появились какие-то новые черты, которых не было раньше: неряшливая одежда, потертое пальто, стоптанная обувь.

Личного знакомства с А. К. Глазуновым у меня не было (кроме вышеупомянутых нескольких случайных и кратковременных встреч). Но от одного из его близких знакомых, бывшего воспитанника Петербургской консерватории пианиста К. А. Лишке, постоянно бывавшего в семье Глазуновых и связанного со мною долголетними приятельскими отношениями, я часто слышал, в какой скромной обстановке и как уединенно он жил и как болезненно переживал свой отрыв от родины. Формально он не был эмигрантом. Из опубликованных у нас его писем мы знаем, что он не терял советского гражданства и числился в длительном отпуску, время от времени получавшем продление. Из них же мы знаем, что незадолго до смерти он намеревался вернуться на родину и вел переписку с одним из своих ленинградских друзей о выбранном им месте для своего постоянного пребывания неподалеку от Ленинграда.

Бывший директор Петербургской консерватории и блестящий педагог, воспитавший многие сотни музыкантов, Глазунов, перейдя в зарубежье, похоронил прежде всего этот вид своей многогранной и многообразной деятельности. Ведь нельзя же считать продолжением этой деятельности отдельные консультации, советы, редкие изолированные и кратковременные частные уроки, которыми он время от времени заполнял свой досуг. Вслед за исчезновением его лика как музыкального педагога он умер и как дирижер. Дав несколько симфонических концертов в первые один-два года пребывания за рубежом, он, будучи в расцвете своего выдающегося дирижерского таланта, за последние семь-восемь лет, проведенных в Париже, не дал, на моей памяти, ни одного концерта. Но самым горьким и тяжелым ударом для многочисленных почитателей было почти полное прекращение его творческой деятельности.

Каждый раз, встречая его на улице, или в поликлинике, или на церковном дворе, или еще где-либо, я при виде его характерной грузной фигуры неизменно вспоминал, какой

восторженный прием оказывала ему Москва, когда он появлялся в качестве гастролера за дирижерским пультом в Большом зале консерватории на симфонических собраниях ИРМО[15], дирижируя произведениями русской и иностранной классики и всегда привозя с собой новинки — свои собственные, своих учеников и последователей.

Всем сколько-нибудь причастным к русской музыкальной культуре известно, что Глазунов начал свою композиторскую карьеру 16-летним юношей. Это было в тот памятный в истории этой культуры вечер, когда он в гимназической курточке вышел по требованию устроившей ему овацию петербургской публики на эстраду Дворянского собрания после исполнения его 1-й симфонии, поразившей всех музыкантов безупречностью формы и зрелостью музыкальной мысли. Далее плоды его творческого вдохновения стали появляться один за другим. За четверть века, к тому дню, когда ему исполнился 41 год, он сочинил уже восемь симфоний, несколько симфонических сюит, около двух десятков симфонических поэм, картин, фантазий, увертюр, три балета, ряд сольных инструментальных произведений, струнных квартетов и романсов.

Потом этот длинный список пополнился еще двумя фортепьянными и скрипичным концертами, произведениями для хора, пьесами для виолончели, фортепьяно и другими сочинениями.

И что же сталось с этим мощным творческим потоком за рубежом?

За восемь лет, проведенных Глазуновым за границей, он написал только квартет для саксофонов, струнный квартет и балладу для виолончели. И это все, что дал музыкальному миру величайший русский симфонист в последний период своей жизни. Это композиторское молчание в свое время плодовитого музыканта, конечно, привлекло всеобщее внимание. Друзья, знакомые, бывшие сослуживцы и репортеры без конца интересовались: — Чем объяснить, что неисчерпаемый родник его творческого вдохновения иссяк? Почему он больше ничего не пишет, находясь в расцвете своих творческих сил и возможностей?

Глазунов словоохотливостью не отличался. Он всегда говорил мало и с длинными паузами, но когда начинал говорить, то говорил веско. Вот каким был его ответ, быстро облетевший весь музыкальный мир и перепечатанный десятками журналов и газет: — Для того чтобы написать что-нибудь, есть только одно средство: вернуться на берега родной Невы, коснуться родной земли и вдохнуть воздух родного города. Вновь вступить под

своды консерватории и Мариинского театра, встретиться с русскими артистами, музыкантами и русской публикой, встать за дирижерский пульт и взмахнуть палочкой. Тогда, и только тогда на меня вновь снизойдет вдохновение. Тогда, и только тогда я вновь буду способен к творчеству…

В этих словах как в зеркале отразилась переживавшаяся Глазуновым трагедия. Такую же трагедию в той или иной степени переживали и Рахманинов, и Шаляпин, и Куприн, и Билибин, и многие другие представители русской музыкальной, исполнительской, письменной и художественной культуры. Только некоторые из них дожили до счастливой минуты воссоединения с родиной. Остальные бесславно окончили свои дни на чужбине.

А. К. Глазунов умер в 1936 году от тяжелой болезни почек, горько оплакиваемый всеми своими бесчисленными почитателями — советскими и зарубежными. Похоронен он на одном из парижских кладбищ.

В Париже после революции жил, работал и умер другой великий русский музыкант — С. М. Ляпунов, современник и сослуживец Глазунова, композитор и пианист, так же как и последний, преемственно связанный с «великими пятью», составлявшими «Могучую кучку».

Умер он в 1924 году. Это было до моего переезда в Париж. О нем я слышал много рассказов из уст его близкого друга Александра Александровича Бернарди, бывшего дирижера Мариинского театра, к личности которого мне еще придется вернуться. В его квартире Ляпунов и умер.

В Париже Ляпунов внес кое-какие изменения в свою 2-ю симфонию, написанную в 1917 году и оставшуюся в описываемые мною годы неизданной. После его смерти Бернарди передал находившиеся у него на квартире и принадлежавшие покойному композитору вещи и рукописи заместителю редактора милюковской газеты «Последние новости» Демидову, приходившемуся Ляпунову свойственником по жене. Среди этих рукописей находилась созданная Ляпуновым в последние годы жизни фортепьянная сюита «Скоморохи» и оркестровое переложение «Полководца» Мусоргского.

Ящик с нотными рукописями покойного композитора пролежал в погребе парижской квартиры Демидова два десятка лет. Бернарди перед смертью, последовавшей в 1942 году, неоднократно говорил мне о необходимости во что бы то ни стало спасти эти драгоценные для русской музыкальной культуры рукописи никому не известных и неизданных сочинений Ляпунова, среди которых находилась и вышеупомянутая

приготовленная для печати исправленная партитура 2-й симфонии. Лично он выполнить это свое желание не успел, будучи прикован к постели тяжелым недугом.

Его дочь Л. А. Раппопорт и я неоднократно предпринимали энергичные шаги, чтобы спасти от гибели в демидовском погребе рукописное наследие покойного композитора. С этой целью мы связались с семьей Демидова (сам он в то время в свою очередь был тяжело болен).

Наши усилия оказались тщетными. Молодой Демидов (сын соредактора «Последних новостей») каждый раз придумывал различные отговорки и оттяжки, чтобы воспрепятствовать извлечению из своего погреба драгоценных рукописей.

В 1943 году мы привлекли к этому делу композитора Н. Н. Черепнина, одного из сподвижников С. М. Ляпунова. Черепнин, состоявший бессменным председателем совета, ведавшего делами известного беляевского нотоиздательства в Лейпциге (издавшего в свое время подавляющее большинство сочинений Римского-Корсакова, Бородина, Глазунова, Ляпунова и других русских композиторов), горячо взялся за это дело и со своей стороны вошел в связь с семьей Демидовых, апеллируя к ним как к людям, претендующим на представительство за рубежом старой русской интеллигенции, считавшей одной из своих традиций охрану памятников русской культуры.

Увы! И эта попытка кончилась ничем. Ответ дал Демидов-сын, сославшийся на невозможность для Демидова-отца ответить лично из-за тяжелой болезни. Ответ гласил, что «сейчас не время заниматься симфониями»; далее, что среди многочисленных ящиков, хранившихся в погребе, невозможно разыскать ящик с ляпуновскими нотными рукописями, так как погреб завален запасами картофеля на всю зиму, и, что, «прежде чем картофель не будет съеден, невозможно даже и подойти к этим ящикам…».

Вскоре после этого умер и Н. Н. Черепнин. Дело с нотным наследием Ляпунова окончательно заглохло.

По своем возвращении на родину я сразу поставил в известность редакцию журнала «Советская музыка» о существовании этого наследия и указал точные координаты его местонахождения. Я получил ответ от редакции, что путем переговоров с наследниками покойного композитора при посредстве атташе по делам культуры при посольстве СССР во Франции будет сделано все возможное, чтобы выяснить судьбу рукописей и спасти их от гибели, если они еще не погибли. К сожалению, в дальнейшем эта гибель подтвердилась.[16]

Как педагог, С. М. Ляпунов, очутившись за рубежом, перестал существовать, как это случилось и с А. К. Глазуновым. Как

пианист, он изредка выступал в парижских симфонических концертах. Готовясь к одному из них, он за несколько часов до своего выступления внезапно скончался. Похоронен он на парижском кладбище Батиньоль.

Его могила, в то время всеми забытая и запущенная, являлась безмолвным свидетелем печального конца на чужой земле большого таланта, увядшего тотчас после того, как он оторвался от вечного и неиссякаемого источника творчества — родной земли.

Из всех русских композиторов, проживших за границей долгие годы и десятилетия и окончивших там свои дни, наибольшей популярностью среди эмигрантов пользовался С. В. Рахманинов. Знали это имя буквально все, включая и людей, никакого касательства к музыке не имевших. Причина популярности крылась в том, что послереволюционная эмиграция, не имевшая в западноевропейской жизни никакого веса и занимавшая последнюю ступень в многоступенчатой капиталистической лестнице, с гордостью произносила имя каждого русского, добравшегося до более или менее высоких ступеней этой лестницы. Она козыряла и Шаляпиным, и Рахманиновым, и Буниным, которые были известны культурным слоям общества во всем мире и которые, по мнению эмигрантов, придавали некий вес и всей эмиграции в целом.

Рахманинова действительно знал весь мир. Общественное мнение музыкальных кругов всех стран присвоило ему титул «короля пианистов». Концерты его всюду и везде превращались в исключительное событие музыкальной жизни данной страны. Разъезжал он по всему свету и в некоторые годы даже давал за сезон до шестидесяти концертов. Билеты на них брались с бою. Рахманинова приходили не только слушать, но и смотреть: о кистях его рук, в своем роде неповторимых и исключительных, ходили целые легенды. Их рассматривали и в театральные, и в полевые бинокли. На одном из концертов я видел 12-летнего мальчугана-энтузиаста, просидевшего весь вечер на галерке с морской подзорной трубой былых времен, извлеченной из дедовских коллекций.

В Париже Рахманинов появлялся как гастролер. В эмиграции мало кто знал, какой город и какая страна являются местом его постоянного жительства. Среди эмигрантов ходила поговорка: «Рахманиновское постоянное местожительство — железнодорожный вагон, пароход и самолет».

Рахманинов слыл в эмиграции богатым человеком. Говорили, что в годы так называемых «экономических подъемов» концертные предприниматели платили ему по 4 тысячи долларов

за концерт. Досужие люди подсчитали даже, что годовой его доход от одних концертов равнялся 200 тысячам долларов, не считая других источников дохода, например гонораров за наигранные им граммофонные пластинки, за радиопередачи и т. д. Имя его как щедрого жертвователя постоянно мелькало в заграничных газетах в разделе отчетов о благотворительных сборах на нужды эмигрантов — больных, бездомных, безработных, детей, престарелых. Одно из последних его пожертвований незадолго до начала второй мировой войны — крупная сумма на постройку церкви в стиле древних новгородских храмов на русском кладбище в местечке Сент-Женевьев де Буа под Парижем.

Если имя Рахманинова как «короля пианистов» гремело во всем мире безраздельно на протяжении почти четверти века после революции, то Рахманинов-дирижер умер в первый же год своего зарубежного пребывания.

И в этом большая и невознаградимая утрата для мирового искусства. В начале нашего века он был кумиром музыкальной Москвы не только как композитор и пианист, но и как выдающийся оперный и симфонический дирижер. Люди старшего поколения, жившие в Москве или наезжавшие туда, помнят его характерную, гигантского роста, чуть сутулую фигуру, сидящую за дирижерским пультом Большого театра или стоящую во весь рост перед этим пультом в Колонном зале Дворянского собрания и в Большом зале консерватории. Почему он променял дирижерскую палочку на фортепьянную клавиатуру целиком и без остатка — это осталось его секретом. До революции он совмещал и то и другое, притом совмещал оба этих вида исполнительского творчества с одинаковым величием и блеском своего несравненного таланта.

О зарубежной смерти Рахманинова как композитора говорить, пожалуй, нельзя. Ведь он за 20 лет пребывания за рубежом все же что-то написал: 3-ю симфонию, вариации на тему Паганини для фортепьяно с оркестром и еще два-три небольших опуса. Оба первых произведения хорошо известны у нас, часто исполняются, ценятся и музыкантами, и публикой. Но не будет ошибкой сказать, что в этих сочинениях не осталось и следа от прежней специфики рахманиновской патетики эпохи первых трех концертов для фортепьяно с оркестром, сольных фортепьянных произведений и романсов. Очевидно, что для этой патетики ему не хватало за рубежом самого главного: веяния родного ветерка, полного вдоха грудью родного воздуха, картин родной Новгородской губернии и ставшей ему родной Москвы. Только повседневное ощущение родной земли и создало неповторимую

красоту рахманиновской фортепьянной я вокальной музыки и принесло ему славу всероссийскую, вскоре ставшую всемирной.

Рахманинов до последней минуты остался русским, но порвать с заграничной жизнью, всецело его засосавшей, он, как и многие другие выдающиеся таланты, не смог.

Он болел за несчастья, обрушивавшиеся на нашу родину в годы вражеского нашествия. С именем этой далекой и горячо любимой родины он и сошел в могилу незадолго до победного окончания войны.

Долгие годы в Париже жил другой всем хорошо известный композитор-москвич — А. Т. Гречанинов. Всероссийскую популярность создали ему главным образом камерные произведения — трио для фортепьяно, скрипки и виолончели, романсы, многие из которых получили мировое распространение, а также знаменитая литургия, отдельные номера которой звучат на концертных эстрадах всего мира. Наоборот, его симфонии и обе оперы («Добрыня Никитич» и «Сестра Беатриса») не получили сколько-нибудь большого распространения ни у себя на родине, ни за рубежом.

Жил Гречанинов в 15-м городском округе, в самой гуще «русского Парижа», более чем скромно. Мне пришлось с ним встретиться, когда ему было уже 80 лет. Но и в этом солидном возрасте он поражал своей бодростью, энергией, совсем не старческой фигурой. Творил он сравнительно мало: в середине 30-х годов он создал 2-е трио для фортепьяно, скрипки и виолончели, премированное на конкурсе, организованном на средства, оставленные в свое время известным петербургским меценатом и основателем лейпцигского нотного издательства Беляевым. В последние годы своего пребывания в Париже он уделял много внимания музыкальному творчеству для детей. Если я не ошибаюсь, приблизительно в те же годы или немного раньше он создал 5-ю симфонию, исполнявшуюся в Америке под управлением Кусевицкого.

Материальное положение Гречанинова, надо полагать, было незавидным. В 30-х годах читателям «Возрождения» и «Последних новостей» неоднократно попадались в отделе объявлений такие строки, помещенные ищущим заработка большим музыкантом: Композитор А. Т. ГРЕЧАНИНОВ Уроки фортепьянной игры. Сольфеджио. Аккомпанемент.

Прохождение оперных партий.

Адрес (такой-то). Часы приема (такие-то).

Приблизительно в то же время он опубликовал в «Последних новостях» свои мемуары, вскоре вышедшие отдельным изданием. Они представляют большой исторический интерес, так как

хорошо отражают музыкальную жизнь Москвы конца прошлого и начала нынешнего столетия.

В годы второй мировой войны или сейчас же после Победы Гречанинов переехал в Америку и занял там пост регента церковного хора одного из православных русских храмов. Хорошо помню, какую горечь вызвало это известие в кругах почитателей его композиторского таланта.

Создатель целого цикла несравненных по красоте и выразительности романсов и ряда других произведений, он не смог в конце своей долголетней карьеры найти в капиталистическом мире ничего другого, кроме должности регента церковного хора!

Невольно напрашивается вопрос: такой ли была бы судьба Гречанинова, если бы он не порвал с родной землей?

Еще одна потеря для русского музыкального искусства и еще одно свидетельство, куда ведет отрыв от родины!

Он умер в Америке через несколько лет, перешагнув за 90-летний возраст.

Из русских композиторов зарубежья более других творил Н. Н. Черепнин, но и в его творчестве потеря контакта с родной землей оставила глубокие следы.

Почти два десятка лет он прожил в Париже, в одном из ближайших к городу предместий. Женат он был на М. А. Бенуа, происходившей из семьи, многие представители которой были теснейшим образом связаны с искусством и художественной деятельностью. Бенуа были потомками французских эмигрантов; может быть, это обстоятельство сыграло некоторую роль в том, что во Франции они не чувствовали себя чужими. Это в свою очередь, возможно, оказало влияние на творчество Н. Н. Черепнина, который, больше чем другие русские композиторы (кроме Стравинского, о котором речь будет ниже), «вошел» во французскую жизнь и испытал влияние современной ему французской музыкальной культуры.

Помимо творческой деятельности он еще занимался делами Беляевского нотоиздательства в Лейпциге и состоял председателем попечительского комитета этого предприятия.

В середине и конце 30-х годов мне пришлось неоднократно встречаться с ним и беседовать. Он уже далеко перешагнул за 60-летний возраст, но полностью сохранил свое обаяние блестящего музыканта, композитора и дирижера, человека громадной общей культуры, интереснейшего собеседника, хранившего в своей памяти много воспоминаний о живой для него истории русской музыки конца прошлого и начала настоящего столетия.

Старые петербуржцы хорошо помнят его как балетного

дирижера и создателя музыки для целого ряда балетов, вошедших в золотой фонд хореографического искусства. Но его зарубежные дирижерские выступления носили эпизодический характер (я имею в виду послереволюционную эпоху, так как в последние годы перед первой мировой войной он принимал деятельное участие в организации зарубежных «дягилевских сезонов» русской оперы и балета, в которых выступал в качестве дирижера).

Однако творил он, как я уже сказал, и после революции, и творил сравнительно много. Сам он отлично сознавал, что для композиторской деятельности в зарубежье ему не хватает «чего-то». Окружающим он часто говорил: — Когда я жил и работал на берегах Невы, источником моего творчества были и западноевропейский мир, и классика древнего мира, и восточная экзотика… Меня тянуло и на Шекспира, и на Ростана, и на древнюю мифологию… Сейчас, когда я нахожусь на берегах Сены, меня тянет только в одном направлении — туда, где дуют родные ветры и где слышится родное слово…

В последние годы своей жизни Н. Н. Черепнин интересовался русским музыкальным наследием древнего периода и разрабатывал древнерусские церковные напевы.

По этим мотивам он создал два крупных произведения: ораторию в нескольких частях — «Хождение Богородицы по мукам» и «Церковную сюиту» для оркестра. Продолжал он также писать фортепьянные сочинения, балетную музыку и романсы, значительная часть которых осталась неизданной. Но едва ли не самым интересным сочинением зарубежного периода его композиторской деятельности является двухактная опера «Сват», представляющая собой музыкальное переложение знаменитой пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок», притом такое переложение, в котором текст Островского почти не подвергся изменениям. Задумана она им была значительно раньше.

Возможно, что эскизы ее также существовали раньше.

При одной из моих встреч с ним он сказал: — Со времени моей молодости в моих ушах звучит этот своеобразный, неповторимый и изумительный язык Островского — язык Замоскворечья старых времен… Никто еще не решался по-настоящему положить на музыку эту особенную речь. А я вот решился… Долго колебался в выборе пьесы. Остановился на «Бедности…». Какая красочность! Какие типы! Я иду в ней по стопам Мусоргского и задался целью передать в моей опере нормальные интонации человеческой речи. Кажется, получилось неплохо…

В этом новом для него виде искусства Черепнин не порвал с традициями русской музыкальной мысли оперных композиторов

«Могучей кучки». По духу эта опера стоит ближе всего, конечно, к Мусоргскому, перед гением которого он преклонялся больше, чем перед кем-нибудь другим из почитаемых им русских классиков. Но влияние окружавшей его французской музыкальной среды сказалось и на этом произведении. Кое-где, особенно во втором акте, Черепнин отдал (в окончательной редакции) неизбежную дань так называемому «западному модернизму» со всеми присущими этому направлению музыкальными абсурдами. Но и с этой оговоркой нельзя не признать того выдающегося интереса, который представляет эта смелая попытка большого русского музыканта передать в оперной форме одно из лучших творений гениального русского драматурга.

Единственное исполнение «Свата» в концертной обстановке состоялось в Париже во второй половине 30-х годов. Оно было осуществлено силами кружка художественной самодеятельности, организованного бывшим профессором Саратовского университета А. И. Бердниковым (о котором я уже упоминал в одной из предыдущих глав), под руководством самого автора. Партитура, оркестровые голоса и клавир были изданы Беляевским нотоиздательством.

Вторая его опера — «Ванька-ключник» (на сюжет Ф. Сологуба) — в значительно большей степени носит черты модернистских извращений и в противоположность «Свату» едва ли сможет когда-либо завоевать симпатии наших искусствоведов, музыкантов и публики.

В сюжете «Ваньки-ключника» есть кое-какие общие черты с лесковской повестью, давшей жизнь опере Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». С известными оговорками эту аналогию можно было бы провести и дальше: с точки зрения музыкальной структуры в обеих операх есть кое-что общее.

«Ванька-ключник» был поставлен в последние годы перед войной одним из чешских оперных театров и имел у публики некоторый успех. Опера эта состоит из девяти картин, идущих без перерыва. Продолжительность ее — 1 час 45 минут. При ее постановке руководящие указания давал сам автор, специально приехавший для этого из Парижа в Чехию. Она издана также в Беляевском нотоиздательстве.

Н. Н. Черепнин умер в Париже в годы фашистской оккупации.

Его сын А. Н. Черепнин пошел по стопам отца, стал довольно плодовитым композитором и первоклассным пианистом. Однако если Черепнин-отец в подавляющем большинстве своих зарубежных произведений не порывал с классицизмом, хотя бы и несколько «модернизированным», то Черепнин-сын с самого начала своей композиторской деятельности круто повернул

«влево» и сразу забрался в такие дебри ультрамодернизма, из которых потом уже не сумел выбраться. Сам он причислял себя к той группе композиторов, которые, по его выражению, «объявили войну мелодии».

Мне остается сказать еще о двух русских композиторах, оказавшихся за рубежом: Н. К. Метнере и И. Ф. Стравинском, однако отнести их в разряд «великих» довольно трудно. Я сделать этого не решаюсь.

Звезда Н. К. Метнера вспыхнула в Москве ярким светом в первое десятилетие нашего века. Его фортепьянные сочинения и романсы не потеряли своего значения и до настоящего времени. Они входят в репертуар современных пианистов и вокалистов и время от времени звучат на эстрадах и в радиопередачах.

В эмиграции о нем почти не говорили. В середине 20-х годов в газетах промелькнуло сообщение о том, что ему после долгих хлопот удалось получить разрешение на въезд в Англию для постоянного жительства (до этого он жил, кажется, в одной из стран Средней Европы).

С тех пор и до моего отъезда из Франции я о нем больше ничего не слышал и не читал.

Об И. Ф. Стравинском заговорили как о восходящей звезде первой величины после создания им в 1910–1911 годах балетов «Жар-птица» и «Петрушка».

В эмиграции он находился с 1910 года, писал много, но ценность его творчества, шедшего в ногу с веком модернистских западноевропейских музыкальных тенденций, очень спорна. Характерно, что даже самые горячие его поклонники не отрицали того, что после двух вышеназванных балетов он ничем больше мир не удивил и даже не написал ничего такого, что можно было бы поставить вровень с этими двумя опусами, принесшими ему мировую известность.

Упоминаю я о Стравинском еще и по другой причине: в первой половине 20-х годов в эмигрантских газетах промелькнуло сообщение о том, что он выразил желание вернуться на родину и что будто бы возбудил об этом соответствующее ходатайство перед высшим государственным органом СССР. Тотчас же в эмигрантской прессе поднялся страшный гвалт: «Как? Возвращение? Измена родным знаменам? Ужасно!» Под «родными» знаменами подразумевались, конечно, белоэмигрантские знамена… «Король русского зарубежного фельетона» Александр Яблоновский рвал и метал. Весь бешеный яд своего остро отточенного пера он обрушил на голову русского композитора, виновного лишь в том, что тот осознал всю нелепость своего зарубежного существования и заявил вслух о

своем желании вернуться в родные края.

Возвращение Стравинского на родину по каким-то причинам не состоялось. Эмигрантские борзописцы угомонились.

Несколько лет спустя Стравинский принял французское подданство. Во французской музыкальной жизни его творчество вполне «пришлось ко двору». Буржуазная пресса захлебывалась от восторга, описывая исполнение в том или ином концерте или на какой-либо балетной сцене произведений «французского композитора мсье Стравэнски».

Восторги эти, впрочем, были не особенно долговечны.

Перед войною Стравинский покинул Францию и переехал в Америку. Прожив там несколько лет, он, как передавали в эмиграции, переменил французское подданство на американское. Теперь настала очередь американской прессы захлебываться от восторга и считать его «американским композитором».

В эмиграции некоторой популярностью пользовался его коротенький балет «Свадебка», идущий в сопровождении не только оркестра, но и солистов-вокалистов и хора. Балет имел большой успех у французской публики благодаря своей сценической красочности. Не меньший успех в Америке и во Франции имел также созданный им в зарубежье балет «Карточная игра».

В эмигрантских музыкальных кругах много толков вызвал в свое время передававшийся из уст в уста слух, что Стравинский будто бы приходит в негодование всякий раз, когда в его присутствии его называют «русским композитором», а его произведения «русской музыкой».

Сам он, по-видимому, считал себя интернационалистом какого-то совершенно особенного склада, а свою музыку — сверхгениальной и не умещающейся ни в какие национальные рамки.

Среди других крупных деятелей музыкального искусства, пользовавшихся в свое время всероссийской популярностью и очутившихся за рубежом, я назову имена дирижеров С. А. Кусевицкого, А. А. Бернарди, пианистов Н. А. Орлова и Ирину Э. — людей громадного таланта, но с совершенно различной судьбой.

С Кусевицким мне лично встречаться не приходилось.

Его деятельность за все 30 лет зарубежного пребывания протекала в Америке, где он бессменно стоял во главе одного из лучших в мире симфонических оркестров — Бостонского. В Париже он появлялся редко и как дирижер почти не выступал. Бывший контрабасист в одном из дореволюционных московских оркестров, он благодаря браку с представительницей одного из

именитых московских купеческих родов сделался миллионером и из скромного оркестрового музыканта превратился в начале нашего века в дирижера, создателя симфонического оркестра, и мецената, основавшего музыкальное предприятие под названием «Симфонические концерты Кусевицкого», просуществовавшие с 1909 года до революции и стяжавшие ему всероссийскую известность.

На руководимых им концертах собиралась «вся Москва» (а также «весь Петербург», куда он систематически выезжал на гастроли). Он первый в истории русской музыки организовал перед первой мировой войной поездку своего оркестра по Волге и дал в ее городах десятки концертов, которые надолго запомнили волжане.

Не довольствуясь концертами обычного профиля, он в последний перед первой мировой войной год организовал в Москве общедоступные симфонические концерты с избранной программой, состоявшей из лучших образцов русской и мировой классики. Концерты пользовались громадной популярностью и привлекали тысячи слушателей из тех слоев населения, которые до того времени не были приобщены к этого вида музыке: мелких служащих, учащихся-подростков, рабочих. С именем Кусевицкого связано и возникновение в Москве нового нотного издательства — Российского музыкального издательства.

Что заставило его покинуть родину и крепко держаться за пульт руководителя Бостонского оркестра, я не знаю. Но, заняв этот пост, он не потерял духовной связи с родным ему миром русской музыки и был, кажется, единственным на Западе дирижером, который систематически и последовательно на протяжении трех десятков лет пропагандировал советскую симфоническую музыку.

Он умер в Америке несколько лет назад.

Судьба А. А. Бернарди была совсем иной. Его имя, совершенно неизвестное поколению, родившемуся после революции, в свое время было весьма популярным в музыкальных кругах обеих русских столиц и в провинции.

С ним меня связывали узы близкой дружбы, несмотря на разницу в возрасте (он был старше меня на 25 лет). К категории эмигрантов политических его причислить нельзя, так как он покинул родину за год до начала первой мировой войны по семейным обстоятельствам (тяжелая болезнь жены, лечившейся и умершей в Швейцарии).

Я познакомился с ним в тот период его жизни, когда он под влиянием тяжелой депрессии в связи с неудачами в личной жизни совершенно отошел от публичной музыкальной

деятельности. А деятельность эта в дореволюционные годы была многообразна и многогранна.

Уроженец Одессы, он еще в юные годы был знаком с Петром Ильичом Чайковским и Антоном Григорьевичем Рубинштейном. В архиве, хранящемся у его дочери Л. А. Раппопорт, есть автографы Чайковского, относящиеся к той поре.

Много образов, встреч и сцен повседневной музыкальной жизни былых времен хранила память Александра Александровича. Он был изумительным рассказчиком, умевшим воскресить образы прошлого и передать в лицах свои частые встречи с Чайковским, Рубинштейном, Римским-Корсаковым, Балакиревым, Кюи, Глазуновым, Лядовым, Ляпуновым и другими композиторами, музыкантами, артистами. С большим юмором он рассказывал о первых шагах Шаляпина, с которым его связывала тесная дружба.

В молодые годы он был дирижером частной оперы в Москве, основанной Мамонтовым, и был тогда сподвижником Шаляпина, дирижируя операми, доставившими впоследствии этому последнему мировую славу.

В середине 90-х годов прошлого столетия вместе с Шаляпиным и известным в свое время тенором Секар-Рожанским он совершил в качестве аккомпаниатора первое в истории русской музыки большое концертное турне по провинции, организованное Мамонтовым для пропаганды русского камерно-вокального искусства.

В те годы имя Шаляпина русской провинции было совершенно незнакомо. Случалось и так, что объявленные в том или ином городе концерты двух певцов и их аккомпаниатора приходилось отменять за отсутствием публики, а на следующий день местные газеты помещали иронические заметки о приезде в город трех странствующих музыкантов, в том числе «какого-то никому не известного баса Шаляпина», и о том, что желающих слушать это трио в городе не нашлось.

После закрытия мамонтовского оперного театра Бернарди почти 10 лет подвизался как оперный и симфонический дирижер в Одессе, Харькове и Варшаве, а перед первой мировой войной — в качестве одного из штатных дирижеров Мариинского оперного театра в Петербурге.

Вместе с Дягилевым, Н. Н. Черепниным, Кузнецовой-Бенуа и Шаляпиным он незадолго до первой мировой войны выехал в Париж и Монте-Карло для участия в так называемых «дягилевских сезонах» русской оперы и балета.

После окончания первой мировой войны Бернарди поселился в Париже. Жил он в тот период своей жизни довольно широко.

Его квартира в 17-м городском округе, заселенном зажиточными парижанами, была местом встреч многих выдающихся представителей зарубежного русского и французского музыкального мира. Но найти во Франции применение своему дарованию дирижера он не смог. Постепенно им овладело сознание бессмысленности дальнейшего существования без возможности возобновить исполнительскую деятельность. Вскоре дали себя знать и большие материальные затруднения. Им овладела глубокая депрессия, он потерял веру в людей и их дружеские к нему чувства. Бернарди покинул Париж и поселился в маленьком городке Эрмон, в получасе езды от французской столицы, в крохотном домике в две комнатушки, приобретенном на последние оставшиеся у него средства.

Здесь в полном уединении он прожил отшельником полтора десятка лет вплоть до своей смерти.

Душевный надлом отразился и на его облике. Он перестал заботиться о себе и своем внешнем виде. В неряшливо и бедно одетом сгорбленном старике с густой бородой и заросшими щеками трудно было узнать блестящую некогда фигуру дирижера петербургского Мариинского театра.

Я часто ездил к нему в Эрмон. В этом городке, больше похожем на поселок, заселенном мелкими железнодорожными служащими, приказчиками парижских магазинов, машинистками парижских контор и состоящем из тесно прижатых друг к другу одноэтажных домиков, только у старого Бернарди звучала русская речь.

Две его комнаты представляли собой настоящий музей русской музыкальной жизни 80–90-х годов прошлого столетия и начала настоящего. В громадных шкафах и на полках, доходивших до потолка, помещалось уникальное собрание партитур и клавиров русских и иностранных опер. Далее шли партитуры и четырехручные переложения для фортепьяно русской симфонической музыки, русская камерная и вокальная музыка. На рояле были нагромождены кипы дореволюционных русских газет с рецензиями об оперных спектаклях, концертах и гастрольных поездках хозяина дома, театральные и концертные программы, афиши, вырезки из журналов, фотографии, дирижерские палочки и другие реликвии. На письменном столе и во всех уголках — портреты в рамках с подписями Римского-Корсакова, Балакирева, Глазунова, Лядова, Ляпунова, Шаляпина, Дягилева и многих других представителей русского музыкального и театрального искусства.

Среди нот — рукописи собственных сочинений Бернарди, большинство которых остались неизданными и которые еще ждут

своего издателя. Лишь несколько салонных фортепьянных мелочей юношеского периода и несколько романсов увидели в свое время свет. На одном из них — салонном вальсе, написанном юнцом Бернарди и показанном П. И. Чайковскому во время посещения последним Одессы, — имеется надпись: Нахожу автора весьма талантливым, но, к сожалению, попа совершенно лишенным музыкальной культуры.

Петр Чайковский.

Почти все находившиеся в нотной библиотеке Бернарди сочинения Балакирева и Ляпунова имели задушевные и теплые надписи их авторов. С обоими его связывала самая тесная и сердечная дружба, несмотря на то что первый из них был старше его на три десятка лет. Перед ними Бернарди преклонялся более, чем перед кем-либо другим.

Это преклонение переходило в настоящий культ их памяти. Старый Бернарди не терпел, когда о ком-либо из них как о композиторах отзывались не особенно почтительно. Однажды я высказал мнение, что обе симфонии Балакирева при всем совершенстве их формы страдают некоторой сухостью и академичностью. Хозяин дома после этого дулся на меня несколько дней.

А. А. Бернарди был большим любителем кур. Разводил он их на своем крошечном дворе не из коммерческих соображений и не для еды, а из какой-то особенной нежной любви к ним. Каждая курочка и петушок имели свое имя. Обращался он с ними ласково и любовно. Резать их строго воспрещалось, они умирали естественной смертью от куриной старости. Зимой они перекочевывали со двора в дом. Тогда этот домик-музей принимал изумительный вид: куры кудахтали по углам, петухи важно расхаживали по верхней деке мюльбаховского рояля и грудам покрытых пылью нот. Выражать им за это порицание воспрещалось. Во что превращался пол домика в зимнее время — легко себе представить.

Годы второй мировой войны доставили престарелому Бернарди много неприятностей. Формально он числился итальянским подданным еще со времен своей юности (его отец, известный некогда одесский нотоиздатель, был выходцем из Италии, обрусевшим за долгие годы пребывания в Одессе). Со вступлением Италии в войну против Франции А. А. Бернарди подлежал аресту и заключению в концлагерь как подданный неприятельской державы.

Преклонный возраст и тяжелая болезнь спасли его: арест был заменен еженедельной явкой в полицию.

До конца своих дней, несмотря на тяжелый недуг, он

сохранил ясность ума и присущий ему юмор в разговоре с друзьями. Скончался он в 1942 году.

Такова различная в зарубежье судьба двух дирижеров равного таланта и равной в свое время популярности в дореволюционной России.

А вот еще один пример на первый взгляд парадоксального различия зарубежной судьбы двух громадных талантов. Это Н. А. Орлов и Ирина Э. — представители более молодого поколения по сравнению с предыдущими.

Оба пианисты самой высокой квалификации. Оба бывшие вундеркинды.

Орлова я хорошо знал и часто встречал в детские и юношеские годы в Москве и во время летних каникул на берегах Оки в Тарусе. В 1911 году при окончании московской 8-й (Шелапутинской) гимназии 18-летний Николай Орлов уже имел в кармане диплом Московской консерватории (в которой он по специальному разрешению тогдашнего педагогического начальства занимался параллельно с гимназией).

В возрасте 22 лет он был профессором по классу фортепьяно в так называемой «второй московской консерватории» — в музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества. Когда и каким образом он попал за границу, я не знаю, но его блестящая карьера, начавшаяся в Москве в юном возрасте, продолжалась с тем же блеском и за рубежом.

Как пианист, Н. А. Орлов пользовался во всех странах мира славой не меньшей, чем Рахманинов. Про него, так же как и про последнего, можно было сказать, что его постоянным местопребыванием были железнодорожный вагон, каюта океанского парохода и самолет. Билеты на его концерты во всех столицах мира, избалованных первоклассными гастролерами, брались с бою. Этой славе мог бы позавидовать любой прославленный музыкант любой страны.

И рядом с этой славой — тяжелая и безотрадная участь русской пианистки не меньшего размаха и не меньшего таланта Ирины Э. Она появилась на концертной эстраде еще более юной, чем Орлов. В 1909 году, в 11-летнем возрасте, она впервые концертировала в Петербурге.

«Открыл» ее Глазунов. Он же и благословил ее на столь раннюю концертную деятельность. В дальнейшем параллельно возрасту росла и ее всероссийская слава.

И что же осталось от этой славы за рубежом, несмотря на цветущий возраст выдающейся пианистки и ее пышно развернувшийся талант?

Случайные грошовые уроки, мансарда в 15-м парижском округе, закрытые за невзнос платы газ, вода и электричество, невозможность иметь рояль или пианино и как результат всего этого — гибель фортепьянной техники и полная деквалификация.

С Ириной Э. мне неоднократно приходилось встречаться в Париже в доме одного из моих учителей студенческих лет, профессора С. С. Абрамова, жена которого, Л. И. Абрамова, состояла тогда профессором Русской народной консерватории по классу пения. Абрамовы в течение второй половины 20-х и в 30-х годах устраивали у себя еженедельно музыкальные встречи и вечера, на которых за 15 лет перебывало великое множество эмигрантских певцов и музыкантов, среди которых изредка появлялась и Э.

В этой маленькой, хрупкой женщине, тогда 32–37-летнего возраста, мое внимание всегда привлекала внешнеделанная и неестественная веселость и даже некоторая экзальтированность, за которой чувствовалась глубоко скрытая тяжелая душевная драма. Она никогда не подходила к роялю, как другие многочисленные гости семьи Абрамовых. Лишь однажды, когда кроме хозяев и двух-трех гостей никого не было, она обратилась к присутствовавшему в комнате пианисту К. А. Лишке, о котором я вскользь упоминал выше: — А ну, Костя, давай тряхнем стариной и сыграем что-нибудь в четыре руки!

Тотчас же на пюпитре появилось переложение для четырех рук одного из оркестровых сочинений Глазунова.

Игра получилась совсем нескладная. Общеизвестно, что многие пианисты даже высокого полета испытывают иногда некоторые затруднения, когда им приходится читать с листа оркестровую музыку. Но в игре Э. была не эта понятная и легко объяснимая шероховатость, а такие дефекты техники, которые нельзя было не заметить даже и непрофессионалу.

По окончании игры в комнате воцарилась минута неловкого молчания. Э. быстро встала из-за рояля, захлопнула крышку и со своей обычной напускной веселостью, сквозь которую были слышны еле сдерживаемые слезы и надрыв, заговорила: — Ну что же, друзья, я ведь знаю, о чем вы все сейчас думаете! Вот была она еще недавно прославленной пианисткой, а теперь страницы сыграть не может, не наложив кучи фальши и не смазав десятка пассажей! Ведь так, не правда ли? А известно ли вам, что прославленная пианистка взять себе пианино даже напрокат не может? А известно ли вам еще, что прославленная пианистка обедает не каждый день и что живет она на подачки своих сердобольных друзей и товарищей юных лет, которые изредка присылают ей на пропитание по 300–400 франков?

И она назвала несколько имен музыкантов, ее бывших сотоварищей по консерватории, переселившихся за границу еще до революции и «вышедших в люди» в те времена, когда подобное продвижение еще не было такой трудноосуществимой, а чаще недостижимой задачей, как в описываемую мною пору.

Советский читатель будет, конечно, в недоумении и задаст вопрос: да как же все это могло случиться?

Очень просто.

В нескольких местах настоящего моего повествования я говорил, что в многоступенчатой лестнице капиталистического общества порядковый номер той ступени, на которую вы встали, очутившись за рубежом, определяется не вашим умом, талантом, знаниями, эрудицией, а исключительно материальными средствами, которыми вы располагаете, связями и знакомствами с сильными мира сего, если эти знакомства имеются.

В предыдущей главе я упоминал о печальной судьбе большинства русских зарубежных оперных и драматических артистов и камерных вокалистов. Почти все сказанное о них можно распространить и на инструменталистов — пианистов, скрипачей, виолончелистов, даже если они обладают недюжинными способностями.

Какие возможности имелись у квалифицированного русского музыканта за рубежом?

Не будет большой ошибкой ответить: почти никаких.

Для того чтобы иметь средства к существованию, пианисты, скрипачи должны выступать в качестве солистов перед публикой. Другого пути нет, так как профессорские и преподавательские должности любой консерватории любой страны мира для иностранцев полностью, или почти полностью, закрыты.

Для устройства собственных концертов нет другого пути, как идти на поклон к тузам — владельцам частных концертно-организационных предприятий. Консерватории и филармонии каждой данной страны устройством таких концертов не занимаются.

Концертный предприниматель, к которому вы пришли на поклон, взвесит все особенности данного случая исключительно с точки зрения интересов собственного кармана.

Допустим, что вы талант выдающийся. Но во-первых, выдающихся музыкальных талантов развелось во всем мире столько, что ими хоть пруд пруди. Во-вторых, ваше имя, пользующееся громкой славой на вашей родине, может оказаться неизвестным для зарубежной публики. Значит, нужна реклама и нужен в условиях капиталистического мира классический способ создания этой рекламы — подкуп прессы, долженствующей

объявить во всеуслышание о появлении на местном горизонте вас — сверхгениального музыканта и невиданной квалификации пианиста, скрипача или певца.

Предприниматель подсчитывает расходы, которые придется произвести, устраивая ваш концерт, и определит условно предполагаемую сумму, которую выручит от продажи билетов. После этого он почешет у себя за ухом и раскинет мозгами, стоит ли игра свеч и нужны ли вы ему с вашей сверхгениальностью и с вашим непревзойденным техническим совершенством. Легко может оказаться, что не нужны. А если и нужны, то, угадав зорким оком дельца и коммерсанта ваши денежные затруднения, предложит вам гроши, а сам заработает на вашем таланте десятки и сотни тысяч франков, крон, гульденов или другой крепкой валюты. Вам не останется ничего другого, как подписать с ним контракт, и с этого момента вы у него в кабале.

Это — общее правило. Исключения, конечно, бывают повсюду. Я называл имена Рахманинова, Орлова, Кусевицкого, Шаляпина. Можно было бы назвать десятка полтора-два таких же исключений. Но эти немногие зарубежные русские музыканты и артисты, по целому ряду обстоятельств попавшие в «стан ликующих», в количественном отношении совершенно отступают на задний план перед многими десятками их собратьев подчас не меньшего таланта, имевшими несчастье очутиться в «стане обездоленных», откуда до самой смерти они выбраться уже не могли.

Если так обстояло дело с выдающимися представителями музыкального исполнительства, то что же можно сказать о многих сотнях других квалифицированных русских артистов, певцов и музыкантов, оторвавшихся в силу тех или иных причин от своей родины?

Их участь — это участь Ирины Э. Они делили время между случайными частными уроками, редким аккомпанементом, таперством в танцевальных студиях, игрой и пением в парижских ночных кабаках и… безработицей или, чтобы не умереть с голоду, разрисовкой каких-нибудь шелковых платочков, когда на эти платочки вдруг появлялся спрос.

Если бы они не оторвались от родины, то заняли бы у себя дома почетное место среди советских музыкальных педагогов, концертмейстеров, участников камерных ансамблей, аккомпаниаторов. Увы! Большинство из них нашло конец на чужой земле, преждевременно сойдя в могилу. Только немногие дождались давно желанного часа возвращения в родные края. А были и такие, которые, изверившись в жизнь, духовно разбитые и разочарованные, с надломленной волей и опустошенной душой,

униженные и деквалифицировавшиеся, не нашли уже в себе сил порвать с засосавшей их зарубежной тиной.

На экране моей памяти возникает еще один образ — талантливого пианиста и композитора К., ученика Н. К. Метнера и известного французского музыкального педагога Филиппа. Принадлежал он к молодому поколению эмиграции и имел судьбу весьма причудливую и едва ли менее драматическую, чем судьба Ирины Э., по крайней мере в тот отрезок времени, когда оба они прошли в поле моего зрения (это было в последние годы перед второй мировой войной). Речь идет о молодом отпрыске широко известной в дореволюционной музыкальной Москве славной музыкальной династии.

Мое знакомство с ним состоялось в местечке Сент-Женевьев де Буа, в доме нашего общего знакомого. Этот последний предупредил меня, что общественное положение К. не совсем обыкновенное, а именно что он — монах.

Было ему в то время 25 лет. Хозяин дома посвятил меня в подробности зигзагов его действительно необычной судьбы. Склонный с самых юных лет к богоискательству, мистицизму и религиозному экстазу, он, едва закончив высшее музыкальное образование, отрекся от мира и постригся в монахи в одном из отдаленных православных монастырей в Болгарии. К моменту нашего знакомства К. имел звание иеродиакона. Во Францию он попал, как мне объяснил хозяин дома, якобы для свидания с родными. Хорошо помню, что наше знакомство состоялось в день церковного праздника преображения, когда происходит освящение яблок нового урожая. Он пришел в дом моего приятеля сразу после обедни, которую служил в церкви при «Русском доме», и держал в руках румяное яблоко. После обычных кратких приветствий и взаимных представлений он быстро направился к роялю, проговорив: — Ну, тут, кажется, можно поиграть всласть!

Признаюсь, более удивительного зрелища в обстановке музыкального исполнительства мне никогда не приходилось видеть. За роялем сидел молодой, белокурый, с русой бородкой монашек, маленького роста, румяный, как то яблоко, которое он только что держал в руках, по-юношески задорный, отпускавший шутку за шуткой во время коротких перерывов между исполняемыми пьесами.

Играл он Рахманинова, Скрябина, своего учителя Метнера и свои собственные сочинения. Играл превосходно, безукоризненно. Игра продолжалась около трех часов. В заключение он сыграл несколько собственных романсов, подпевая «авторским голосом» вокальную партию.

После еще одной встречи я потерял его из виду. В начале войны мне пришлось вновь о нем услышать, и эти новые вести были столь же неожиданны и необычны, как и первые, относившиеся ко времени нашего знакомства: он пережил период душевного разлада и мучительной борьбы между долгом аскета и неукротимой жаждой полнокровной жизни. Победила жизнь: он расстригся, снял монашескую рясу, перешел на положение мирянина, остался во Франции и был вынужден, как и многочисленные его собратья по профессии, зарабатывать хлеб насущный таперством не то в ресторане, не то в частной танцевальной студии с неизбежной в таких случаях деквалификацией.

Пребывание в «стане обездоленных» не является чем-либо необычным и для уроженцев капиталистических государств, принадлежащих к артистическому и музыкальному миру.

Сколько тысяч квалифицированных французских музыкантов вынуждено было ходить по улицам и дворам городов своей страны и развлекать своим пением и игрой жителей домов и прохожих, протягивая им пустую шляпу, в которую сердобольные люди бросают медяки и никелевые монетки с дырочкой посередине! А сколько из них грузили на вокзалах и в крытых рынках ящики и тюки, или сидели за шоферским рулем, или подметали улицы!

Печальная судьба многих сотен зарубежных русских музыкантов, певцов и артистов не представляет собою какого-либо исключительного явления на общем фоне. Только их тяжелое правовое и материальное положение усугублялось еще тем, что они были иностранцами в любой стране своего пребывания. Для ищущего труда иностранца двери многих учреждений в каждой из этих стран наглухо закрыты, а местные профсоюзы ведут беспощадную борьбу с «иностранным засильем», как они называют этот вид конкуренции, представляющей собой язву жизни капиталистического общества.

В 30-х годах в эмигрантских газетах промелькнуло сообщение о том, что в Париже возрождается Дом песни — концертное предприятие известной в дореволюционные годы исполнительницы русской камерной вокальной музыки М. Олениной-д'Альгейм. В свое время этой талантливой камерной певицей, прославившейся исполнением вокальных сочинений Мусоргского, бредила вся музыкальная Москва.

Увы! Дальше репортерской заметки и газетного объявления дело не пошло. Дом песни по каким-то причинам не возродился, о его основательнице я больше никогда и ничего не слышал.

Долгие годы в Париже подвизался композитор

А. А. Архангельский, имя которого было тесно связано с «Летучей мышью», для спектаклей которой он составлял музыкальное оформление. Им, кроме того, написана одноактная опера «Граф Нулин» на пушкинский сюжет.

Опера эта была поставлена силами бердниковского кружка художественной самодеятельности и получила высокую оценку Н. Н. Черепнина. А. А. Архангельский умер во время войны.

Еще тяжелее сложилась на чужбине судьба зарубежных русских писателей.

Единственным средством существования для писателя является издание его сочинений. В первые годы эмиграции потребителем писательской продукции была та часть эмиграции, у которой еще оставались кое-какие личные средства и ценности.

В 1921–1924 годах, когда в Берлине была сосредоточена основная масса этих потребителей, главным образом из числа русской интеллигенции, последние страницы номеров берлинского «Руля» пестрели объявлениями различных мелких русских зарубежных книгоиздательств, предлагавших свой «товар» эмигрантской публике. Но этот сумбурный «берлинский» период разбазаривания последних эмигрантских ценностей быстро кончился. С середины 20-х годов начался беспросветный «парижский» период — период эмигрантского материального оскудения, бедности и нищеты. Почти все русские книгоиздательства прогорели и перестали существовать. Немногие оставшиеся не рисковали издавать малоходкий «товар», так как массовый потребитель исчез. Исключения делались только для очень крупных имен вроде Бунина или Шмелева да для таких бульварных писак, как Брешко-Брешковский и Краснов, халтурные романы которых находили сбыт среди невзыскательной и малограмотной части зарубежной читательской публики.

Об издании книг за свой счет писателю в большинстве случаев нечего было и думать, так как стоимость бумаги и газетной рекламы, типографские расходы и отчисления в пользу книготорговца превышали то, что можно было выручить от продажи книг.

Большим подспорьем для писателя могло бы служить издание переводов его сочинений на иностранные языки.

Но тут новое и еще более серьезное затруднение. Иностранному книгоиздателю нет никакого дела до художественной ценности того или иного произведения и до таланта его автора. Он хватается только за «ходкий товар», который будет иметь сбыт и на котором можно хорошо заработать. А вкусы широкой читающей публики часто бывают

очень своеобразны, капризны, а иногда и примитивны. Поэтому случается, что издатель легко отбрасывает произведения большой художественной ценности и охотно принимает литературную халтуру, потакающую самым низменным вкусам читателя — изобилующую порнографией, полицейско-детективными эпизодами и т. д.

Другое затруднение, возникающее у писателя еще ранее, чем предыдущее, — это вопрос самого перевода. Кто оплатит труд переводчика? Ведь не писатель же, у которого большей частью в кармане нет ни гроша и который никогда не может с уверенностью сказать, будет или не будет принят перевод его сочинения тем или иным иностранным издателем.

Так создается заколдованный круг около творчества любого русского зарубежного писателя. Лишь немногим удалось его разорвать.

Начну с И. А. Бунина. Я не собираюсь здесь анализировать творчество этого большого писателя. Но я не могу пройти мимо того обстоятельства, что и друзья его, и недоброжелатели одинаково пришли к выводу: очутившись за рубежом, он, как писатель и поэт, разменялся на мелочи и не создал ничего такого, что можно было бы поставить на один уровень с его литературным наследием дореволюционной эпохи.

О Бунине в эмиграции говорили очень много, особенно после того как он получил Нобелевскую премию по литературе. «Левый» сектор во главе с милюковской газетой «Последние новости», тесно связанной с масонскими кругами, считал его «своим». Правый относился к нему несколько более сдержанно как к писателю, а к его зарубежной карьере — очень холодно, чтобы не сказать отрицательно.

Горячие дискуссии вызвало среди эмигрантов получение им Нобелевской премии. «Последние новости» ликовали. Когда Бунин отправился в Стокгольм, чтобы получить из рук короля Швеции при соблюдении установленного торжественного церемониала присужденную ему премию, эта газета послала туда специального корреспондента, на обязанности которого было описание каждого шага нового лауреата.

Правые недолюбливали Бунина за его близость к масонским кругам. В эмиграции было много разговоров о том, что комитет по распределению Нобелевских премий якобы руководствовался в ряде случаев не столько объективной оценкой художественного таланта того или иного писателя или научным вкладом того или иного ученого, сколько совершенно иными соображениями. В эмигрантских кругах часто говорили, что большие права на получение этой премии имели Куприн и даже Шмелев.

Имя А. И. Куприна дорого каждому советскому читателю. Его любят и ценят не только как выдающегося художника и несравненного бытописателя беспросветных будней мелкого армейского офицерства царской армии, но и как подлинного советского патриота, порвавшего с зарубежьем и гордо заявившего всем, что, если у него не хватит средств на покупку железнодорожного билета для возвращения на родину, он пойдет туда пешком по шпалам, пойдет непременно и во что бы то ни стало.

Он ясно понимал, как понимали и другие крупные мастера культуры, что пребывание за рубежом есть творческая смерть или в лучшем случае полный творческий застой. Но он не ограничился одним сознанием этого уродливого положения. Он сделал из него выводы и осуществил эти выводы на деле.

Я хорошо помню тот взрыв бешенства и бурю негодования, которые поднялись в эмиграции, как только газеты оповестили своих читателей о том, что Куприн уехал в Москву.

До последней минуты отъезда он не делился ни с кем своими мыслями и намерением теперь же и не откладывая вернуться на горячо любимую им родину.

На следующий после отъезда день эмигрантские газеты вышли с заголовком во всю ширину первой страницы: «Бегство Куприна».

Для так называемой «общественности» этот патриотический шаг был только «бегством» и больше ничем…

Со всех сторон неслось: — Измена эмигрантским знаменам!

— Куприн продался большевикам!

— Неслыханный скандал в эмиграции!

— Какая подлость, трусость, подхалимство, угодничество, предательство!..

Его бывшие сотоварищи по перу не отставали от других в этом хоре. Лишь некоторые из них с напускным добродушием робко заявляли: — Виновен, но заслуживает снисхождения.

Большинство считало его «виновным» без всякого снисхождения…

Известная до революции писательница Тэффи, юмористка большого размаха и таланта, разменявшая в зарубежье свой талант на мелочи и целиком перекинувшаяся в антисоветский лагерь, снисходительно бормотала: — Не выдержал, бедняга, нищеты!.. Поехал умирать в родную берлогу! Надеялся на лучшую жизнь! Мы все сами виноваты в этом бегстве: просмотрели, что человек умирает с голоду, и пальцем о палец не ударили, чтобы помочь ему… Теперь поздно лить слезы!..

В Париже долго жил и создавал новые повести и рассказы

Иван Шмелев, которого высоко ценил Максим Горький. Ранние произведения его, в частности «Человек из ресторана», охотно читаются и теперь в наших библиотеках советскими читателями.

Шмелев известен как неподражаемый бытописатель замоскворецких «низов» дореволюционной эпохи. Безукоризненное знание специфического говора этих «низов» составляет одну из основных особенностей его литературного языка. Прославился он за рубежом целым рядом повестей и рассказов и иного содержания. Многие из них переведены на иностранные языки. Наибольшей славой пользовалась его повесть «Солнце мертвых» (Крым, 1920–1921 годы), которой при всей неприемлемости для советского читателя идеологического содержания нельзя отказать в блеске литературной формы. Но сколь бы велико ни было обаяние писательского таланта Шмелева, имя это у всех не погрязших в эмигрантском политиканстве вызывало чувство горечи. Горечь эта в некоторые периоды его жизни закономерно переходила в негодование и отвращение. В эмиграции был широко известен факт, что Шмелев перенес сильный психический шок в личной жизни в первые годы революции, который отбросил его в крайне антисоветский сектор русского зарубежья. Этого сектора он не покидал в течение почти трех десятков лет.

Да избавит меня читатель от обязанности рассказывать о некоторых его выступлениях и высказываниях в годы Отечественной войны. Тяжело и больно вспоминать об этих высказываниях, исходивших из уст русского писателя. После Победы он заявил, что «пересматривает свои позиции», занятые им во время войны, и признает «кое-какие допущенные им ошибки». По этому поводу можно сказать: «Лучше поздно, чем никогда»…

Перед моими глазами за 21 год моего пребывания в Париже прошла целая галерея зарубежных русских писателей и поэтов дореволюционных и послереволюционных. Перечисление их всех едва ли представит какой-либо интерес для читателя. Упомяну только о некоторых.

О Д. С. Мережковском я уже говорил в одной из предыдущих глав. Он и Зинаида Гиппиус умерли во время второй мировой войны, ни на шаг не отступив от занятой ими в первые годы после революции антисоветской позиции. Как писатель, он зашел в зарубежье в такие дебри мистицизма, что его последние весьма крупные по размерам сочинения просто недоступны пониманию обычного читателя.

В состоянии большой бедности, граничившей с нищетой, долгие годы во Франции подвизался К. Д. Бальмонт, один из

крупнейших поэтов-символистов, в начале нашего века кумир русской читающей публики, а ныне почти совершенно забытый.

В число больших писателей метил и Михаил Осоргин, когда-то корреспондент газеты «Русские ведомости», а в эмиграции наряду с репортерством в милюковских «Последних новостях» уделявший внимание также и литературной деятельности. Им написано несколько романов, очень спорных по своей идеологии, но блестящих по форме. Он не без основания считался в эмиграции одним из самых крупных знатоков всех тонкостей и особенностей русского литературного языка. Издавал он свои романы и повести бесперебойно, пользуясь покровительством и поддержкой масонских организаций (он состоял членом одной из масонских лож).

Аркадий Аверченко, бывший некогда вместе с Тэффи одним из выдающихся русских писателей-юмористов, очутился в зарубежье, как и Шмелев, в крайне антисоветском лагере. Он умер в сравнительно молодом возрасте в середине 20-х годов, если не ошибаюсь, в Праге. Незадолго до смерти в результате тяжелой болезни глаз он почти совершенно ослеп. Духовная его слепота обозначилась гораздо раньше.

Непримиримым антисоветским деятелем был и некоронованный «король русского фельетона» киевский журналист Александр Яблоновский, занявший этот «трон» вскоре после смерти Дорошевича. До своей смерти, последовавшей в канун последней войны, он состоял постоянным сотрудником гукасовского «Возрождения». Я не запомню ни одного его фельетона, в котором не сквозила бы бешеная ненависть ко всему советскому и ко всем тем, кто не обнаруживал никакого желания причислять себя к ненавистникам нового строя.

В бытовом отношении почти все эмигрантские писатели, за редкими исключениями, имели одну общую черту: они не выходили из состояния бедности и нищеты.

Не проходило и месяца, чтобы в той или иной эмигрантской газете не появлялось патетическое обращение редакции к своим читателям с призывом пожертвовать кто сколько может на помощь «крупному русскому писателю», или «большому русскому поэту», или «великому мастеру русского слова» и т. д.

И тут же приводились основания для этого обращения к частной благотворительности: болезнь, старость, за неуплату закрыты газ, вода и электричество, хозяин гонит с квартиры, нечем платить за лекарства. Картина слишком хорошо известная подавляющему большинству эмигрантов по собственному опыту.

Не лучше было положение русских зарубежных художников, большинство которых проживало во Франции.

Надо сказать, что и положение художников — коренных уроженцев Франции было не из завидных.

Париж с давних пор считался центром мировой художественной жизни. В мою задачу не входит обсуждение вопроса, сколь обоснованным является такое мнение. Тем более я далек от мысли оценивать и подвергать разбору художественные течения, господствующие во Франции, кстати сказать очень далекие от того художественного реализма, который составляет со времен «передвижников» фундамент русской живописи. Я хочу лишь обрисовать материальную и бытовую сторону вопроса.

В 30-х годах мне пришлось прочитать в одной из французских газет, что число проживающих в Париже художников достигло 55 тысяч. Из этой армии лишь немногие, главным образом модные портретисты, сумевшие угодить своим искусством привилегированным слоям французского общества, жили безбедно или даже вполне зажиточно. Громадное же большинство перебивалось кое-как, терпело лишения и нужду, прерываемые время от времени передышкой от продажи за гроши какой-либо картины. Устраивать собственные выставки для популяризации своего имени и получения заказов они в подавляющем большинстве не могли: наем помещения, налоги, реклама и другие расходы, связанные с индивидуальной выставкой, поглощают средств больше, чем эта выставка может художнику дать. Выставляться на общих грандиозных парижских выставках, число участников которых превышает несколько тысяч, для большинства «средних» художников малопродуктивно с точки зрения добывания средств к существованию.

Страшная конкуренция, превышение предложения художественной продукции над спросом, периодически наступающие экономические кризисы с катастрофическим падением покупательной способности населения и чуть ли не с полным прекращением покупок картин — все это, вместе взятое, составляло и составляет фон безотрадной жизни среднего парижского художника.

Вот несколько набросков из жизни этой художественной богемы.

Бульвары Монпарнас и Распай. Здесь место встреч сотен и тысяч художников, обмен новостями и слухами о возможных заказах, мечты о лучшей жизни, сетования на жизнь настоящую. Стены грандиозных и знаменитых кафе «Ротонда», «Куполь» и других, более мелких пивных и кафе сплошь завешаны продукцией художественной богемы. Но под крышей места всем не хватает. Своеобразная выставка выносится прямо на улицу. Здесь вдоль тротуаров возводятся примитивные щиты, на которых

странствующий по Парижу табор художников развешивает свою продукцию.

По тротуарам проходят десятки и сотни тысяч парижан. Кое-кто остановится, посмотрит, обменяется с приятелем мнением по поводу того или иного пейзажа или натюрморта и… пойдет дальше.

Проходят долгие и мучительные часы. Под палящим солнцем летом или на холодном зимнем ветру стоят между щитами творцы этой продукции в потертых пиджаках или пальто, старых шляпах и стоптанных ботинках в ожидании того счастливого момента, когда прохожий оглянется вокруг и, подозвав автора понравившейся ему картины, спросит: — Сколько вы хотите за этот маленький пейзаж?

Чаще случается, что никто ничего не спросит.

Вечер. Ни одна картина не продана. Дома — десятки таких же непроданных пейзажей, цветов, натюрмортов, «ню». А на столе — счета за газ, электричество, воду, телефон и третье (последнее!) предупреждение о необходимости в ближайшие же дни погасить налоговую задолженность, иначе…

А вот другая картинка, хорошо знакомая каждому парижанину любого из двадцати городских округов.

Громадная цементированная дыра в тротуаре с решеткой и фонарным столбом. Это — вход в станцию парижского метро. Рядом на асфальте тротуара какие-то диковинные фигуры, нарисованные разноцветными мелками.

Подойдите поближе, и вы увидите мастерски исполненные рукою опытного художника-рисовальщика фигуры средневековых рыцарей, или узорчатый фасад собора в готическом стиле, или портрет юной парижанки.

Чуть поодаль сидит на складном стуле и сам рисовальщик, а рядом с ним — перевернутая старая шляпа с плакатом около нее: «Поощрите, пожалуйста, художника!» Каждый двадцатый, тридцатый или пятидесятый прохожий, с интересом разглядывающий эту тротуарную живопись, непременно бросит в шляпу маленькую монетку с дырочкой. К вечеру в шляпе кое-что соберется.

Можно поужинать в захудалой дешевой «обжорке» и купить пачку сигарет…

В эту тысячеликую, разношерстную армию парижских художников было вкраплено и несколько десятков их русских собратий.

Собратий ли? Ведь они прежде всего нежелательные конкуренты и притом иностранцы. Не пустить их в профессиональный союз художников, правда, нельзя, но, с другой

стороны, козла пускать в огород тоже нельзя.

Покупателей на картины мало. Можно ли давать при этих обстоятельствах какие-либо поблажки «метекам»?

Нет, тысячу раз нет! Своя рубашка ближе к телу!

Административный совет устраиваемой ежегодно в течение более 250 лет подряд грандиозной по размерам парижской художественной выставки (так называемый «Весенний салон») заявлял неоднократно русским художникам Лапшину и Вещилову, чаще других прибегавшим к услугам этого салона и выставлявшимся в нем: — У вас, русских живописцев, есть своя специфика: русские зимы, лучи солнца на снегу, тройки и прочее…

Ну и пишите их на здоровье! Нам ваши зимы и тройки не мешают. Но не смейте совать свой нос в наши жанры: пейзажи Парижа и Венеции, море Лазурного берега, натюрморты, цветы, «ню» и прочее. Мы и без вас задыхаемся от невозможности найти заказчиков на этот материал!

Так и пришлось Лапшину, Вещилову, Гермашеву, Бессонову, Шульце, Коровину и многим другим увязнуть в «зимах» и «тройках»… Остальные пути творчества для них были закрыты.

Один из старейших русских художников Парижа, Б. В. Бессонов, которого я близко и хорошо знал с моих детских лет, говорил мне: — Вы спрашиваете меня о моих творческих исканиях? Какие искания могут быть у русского художника за рубежом? Только одно — не умереть с голоду…

Старый «передвижник» Гермашев, чьи картины во время его молодости и зрелости обрели свое место в Третьяковской галерее, говорил окружающим: — Мне часто задают вопрос: куда я иду как художник, и что я делаю? Вот что я делаю — халтурю: 15 лет подряд пишу ежемесячно «Последние лучи» и отношу их господину Жерару. Какое еще движение вперед, кроме самой низкопробной халтуры, может быть у зарубежного русского художника, если он не хочет умереть голодной смертью?

Торговец картинами на улице Друо мсье Жерар и сотня других подобных ему коммерсантов, может быть, и спасали кого-нибудь от голодной смерти, но параллельно этому «спасению» рос их личный банковский счет в «Лионском кредите», приобретались особняки в Париже и Ницце, строились виллы в Приморских Альпах и на берегу океана.

Реалистические зимние пейзажи Бессонова и отблески на снегу последних лучей заходящего солнца на картинах Гермашева имели у публики успех и охотно покупались состоятельными иностранными туристами, наводнявшими Париж в описываемые годы. Сотни этих «зим» и «последних лучей» уплывали в Англию,

Аргентину, Австралию. Установить прямой контакт с покупателем художнику трудно. Не идти же ему, имея за спиной 70 лет, на бульвар Распай или на Монпарнас и часами, днями, неделями дежурить у своих выставленных под открытым небом картин в ожидании момента, когда «клюнет»!

Остается единственный вполне реальный путь: идти на поклон к одному из коммерческих тузов, владельцу магазина, торгующего картинами, связанному со всеми туристическими агентствами и посредниками по продаже предметов искусства. Он легко осуществляет в своей лавке личный контакт с сотнями и тысячами покупателей. Путь этот вполне реальный, но это — путь кабалы.

Вот маленькая иллюстрация сказанного: Б. В. Бессонов в течение многих лет был связан контрактом с вышеупомянутым торговцем картинами в самом центре торгового Парижа мсье Жераром. Контракт вполне обычный: художник обязан поставлять в магазин две «зимы» в месяц. Продавать свои картины на сторону он не имеет права под страхом расторжения контракта, судебного процесса и выплаты неустойки. Владелец магазина обязан уплачивать художнику по 1600 франков за каждую «зиму» независимо от того, есть покупатель на нее или нет.

Покупатели всегда были. Не мудрено поэтому, что бессоновские «зимы» никогда не исчезали из витрины жераровского магазина и что над каждой его картиной владелец магазина, потирая от удовольствия руки, приклеивал ярлык: «Цена 8000 франков».

В другой витрине красовались «Последние лучи» Гермашева, связанного с Жераром аналогичным контрактом и вынужденного ежемесячно поставлять свои пейзажи на таких же кабальных условиях.

В общем каждый зарубежный русский художник большого таланта и профессионального мастерства имел, образно выражаясь, «своего Жерара», составлявшего на этом таланте и мастерстве миллионное состояние и бросавшего ему кое-какие подачки.

Можно ли после этого удивляться, что эта своеобразная «барщина» представляет собою конец истинного художественного творчества и равносильна превращению художника в ремесленника, поступившего в услужение к совершенно безграмотному в живописи алчному дельцу-кулаку, выжимающему из него все соки и дающему ему указания, что писать и как писать.

В своих воспоминаниях о жизни зарубежных русских художников, прошедших в поле моего зрения, я не задавался

целью перечислить их всех и рассказать о судьбе каждого из них. Упомяну только о некоторых.

В Париже жил и умер в глубокой старости художник громадного размаха Константин Коровин, ближайший сподвижник Шаляпина, обессмертивший свое имя еще в дореволюционные годы бесчисленными блестящими эскизами декораций к оперным постановкам частного Мамонтовского, а затем Большого театра и тесно связанный с «Миром искусства». Его художественная продуктивность в зарубежный период жизни была изумительна.

Первоклассные пейзажи и сценки парижской уличной жизни выходили из-под его кисти часто в трехдневный срок.

Увы! Расходились они плохо…

Долгие годы в Париже прожил И. И. Билибин, создатель особого, ему одному присущего «билибинского» жанра — жанра русской сказочной миниатюры. Его имя я упоминаю не только как художника, но и как советского патриота. Как и Куприн, он осознал всю бессмысленность своего дальнейшего пребывания за рубежом, страдая от невозможности передать свое мастерство русской художественной молодежи.

Его яркий талант мог проявить себя в полной мере только на родине.

И. И. Билибин вернулся на родину после долгих лет заграничного прозябания и скитаний, полный сил и возможностей и в расцвете своего таланта. Родине своей он послужил, дав в Ленинграде великолепные образцы своего блестящего творчества. Он скончался в годы блокады любимого и дорогого его сердцу города.

После Победы возвратился на родину из Франции еще один художник — Н. М. Гущин. Четверть века он подвизался в Париже и Монте-Карло. И он, как и другие репатрианты, не мог примириться с мыслью о том, что его талант и художественное мастерство оставались за рубежом втуне. И он, как и Билибин, послужил родине блестящими образцами своего творчества. Он был неоднократно отмечен в советской прессе.

В Париже в течение двух десятков лет подвизались престарелый художник-акварелист Альберт Бенуа и искусствовед и художник Александр Бенуа. О последнем мне уже приходилось упоминать, говоря о Н. Н. Черепнине.

Александр Бенуа еще в дореволюционные годы слыл искусствоведом исключительно высокой эрудиции. В эмиграции он в течение долгих лет состоял художественным обозревателем милюковских «Последних новостей». Но этот вид его деятельности вызывал у большинства читателей, причастных к

русской художественной жизни, резко отрицательное отношение. Александр Бенуа, как известно, был одним из основоположников «Мира искусства». С течением времени его художественный кругозор все более и более сужался. Все явления отечественной художественной жизни он рассматривал только через призму этого направления русской живописи. Сдвинуться с этих позиций он никуда не мог. Его длинные разглагольствования на страницах милюковского печатного органа превратились в пережевывание одних и тех же покрытых плесенью догм и формул и сделались нестерпимо скучными и нудными.

В Париже много лет прожили и умерли в 30-х годах один за другим еще два художника, тесно связанные с тем же «Миром искусства»: Сомов и Яковлев. Судьба последнего небезынтересна с точки зрения бытовой.

Я едва ли ошибусь, сказав, что Яковлев решительно не выделялся ничем, что давало бы ему право на упоминание в истории русской живописи. Но судьба этого среднего русского художника сложилась за рубежом не вполне обычно. Он какими-то путями попал в поле зрения одного из представителей крупного французского капитала — миллиардера и магната автомобильной промышленности Андре Ситроэна. Было это в ту пору, когда автомашины с гусеничным ходом проложили себе дорогу в африканские, аравийские и азиатские пустыни.

Перед Ситроэном открылись новые возможности. В целях рекламы он бросил десятки миллионов франков на снаряжение автомобильной экспедиции в Центральную Азию. Его гусеничные машины проделали в общей сложности десятки тысяч километров и победоносно возвратились в Париж. В экспедиции приняли участие инженеры, ученые, антропологи, лингвисты, врачи и… художник Яковлев. О машинах Ситроэна заговорил весь мир — что и требовалось их владельцу.

В Париже была устроена выставка этих вернувшихся из далеких пустынь машин. Выставка привлекла сотни тысяч посетителей. Заказы посыпались со всех сторон.

Попутно была организована тем же Ситроэном и выставка работ Яковлева, привезшего с собой многие сотни зарисовок с мест, где экспедиция проезжала и останавливалась. И эта выставка имела все ту же цель — прославление самого организатора экспедиции. Но вместе с Ситроэном, опустившим в свои карманы сотни миллионов франков благодаря посыпавшимся на его фирму заказам, пошел в ход и никому до тех пор не известный русский художник.

В мире капитала жизненный успех и неуспех каждого индивидуума в конечном счете в какой-то степени определяет

этот капитал. И хотя значение яковлевской выставки было гораздо в большей степени географическое и этнографическое, чем чисто художественное, о Яковлеве заговорил «весь Париж». Купленная Ситроэном пресса, восхваляя «гениального» промышленника, не могла, конечно, обойти молчанием и художника, сопровождавшего машины этого «гения от промышленности».

Яковлев пошел в гору. Выставленные им картины и рисунки были распроданы в несколько дней. Их начали покупать даже французские и заграничные музеи.

Карьера русского художника сложилась из ряда вон выходящая. Яковлеву завидовали. Перед ним заискивали.

В далекой от Парижа Латвии долгие годы жил, творил и скончался старый «передвижник» И. И. Богданов-Вельский — певец крестьянской детворы дореволюционного прошлого, «Некрасов в живописи», как часто называли его в эмиграции. Как художник, он пользуется у нас большой любовью и популярностью: его полотна украшают стены музеев, а репродукции-открытки расходятся в сотнях тысяч экземпляров по всему Советскому Союзу.

Но и этот громадный талант — живая связь с русскими художниками-демократами 60-х годов прошлого столетия — не избежал общей участи подавляющего большинства русских зарубежных художников. За пределами его родины русская деревня и крестьянские дети оказались никому не нужными. Художнику волей-неволей пришлось перейти на другие жанры живописи, совершенно ему несвойственные. Талант его увял.

Вне родной земли, родных людей и родной природы увял талант еще одного большого русского художника, который в первые годы нынешнего века взбудоражил своим молодым задором и смелостью всю художественную Москву. Это — Малявин. Его «бабы» и «сарафаны» были предметом страстных дискуссий, а перед его «Вихрем», занявшим когда-то целиком одну из стен Третьяковской галереи, всегда стояли толпы посетителей.

После Октябрьской революции он некоторое время жил в Швеции. Его «русские бабы» изредка появлялись на парижских выставках и в витринах парижских художественных магазинов, но от прежнего Малявина в них не осталось почти ничего. Малявин зарубежный завял, как завяли и многие другие его собратья.

В беседе за кружкой пива с одним из своих театральных сотоварищей Шаляпин как-то обмолвился следующими крылатыми словечками о Малявине: — Малюет он и сейчас неплохо, да только все его сарафаны полиняли, а бабы сделались

какими-то тощими, с постными лицами… Видно, его сможет освежить только воздух родных полей и больше ничто…

Да, без воздуха родных полей и ежедневной и ежечасной связи с родным народом всякое искусство глохнет.

История русской послереволюционной эмиграции наглядно это показала.

В эмиграции часто говорилось, что история русского искусства будто бы мягко отнесется к русским композиторам, музыкантам, артистам, певцам, писателям и художникам, погубившим за рубежом свой талант или обезличившим его. Ведь все они будто бы в той или иной степени пробили брешь в стене, которая отделяла русскую музыку, театр, живопись и литературу от широких масс народов Запада, мало знавших русское искусство.

Короче говоря, порвав вольно или невольно связь с родиной, они будто бы с честью выполнили возложенную на них историческую миссию пропаганды русского национального искусства и литературы за границей, как некогда былинный Садко разнес по всему свету славу русской песни.

Но есть ли уверенность в том, что будущий историк, как былинный Старчище-пилигримище, не подойдет к зарубежному гусляру, не выбьет из его рук гусли и не скажет ему грозным голосом словами былины:

А тебе, гусляру,
Не велика честь
Тешить гуслями
Царство подводное!
Послужи теперь
Песней Новугороду!..

Такой уверенности у автора настоящих воспоминаний нет. Полагаю, что нет ее и у читателя.

XIV
«Странная война». Оккупация

В конце лета 1938 года политическая атмосфера в Европе сгустилась до предельной степени. В памятные мюнхенские дни западные «союзники» предали Чехословакию, отдав ее на растерзание Гитлеру. Через несколько месяцев после этого последовала оккупация Чехословакии.

Для «русского Парижа» стало ясно, что Европе не миновать военной грозы, но ни один человек в нем не предполагал, что самые страшные громовые удары раздадутся на Востоке.

3 сентября 1939 года Франция и Англия объявили Германии войну в ответ на ее нападение на Польшу.

У французов она получила название «странная война».

Шестимиллионная французская армия заняла оборонительные рубежи на бельгийской, германской и итальянской границах и, если не считать местных разведывательных операций микроскопического масштаба, не сделала в течение первых восьми месяцев ни одного выстрела.

Германия, разделавшись с Польшей, — тоже.

Париж погрузился во тьму и опустел. Ждали воздушных налетов. Их не было. Но все фонари на улицах были погашены, окна — затемнены. При входе в каждый дом был прилеплен бумажный плакат с надписью: Abri (убежище).

Тотальная мобилизация охватила всех мужчин до 48-летнего возраста. Все, кто не был мобилизован и имел материальную возможность, покинули Париж. Некоторые категории населения были эвакуированы в глубь страны за счет правительства. Легковые и грузовые машины реквизированы. Из иностранцев в городе остались только дипломаты и люди, которым ехать было некуда, в их числе, за редкими исключениями, все население «русского Парижа». Немногочисленное «второе поколение» русской эмиграции было насильственно включено во французские военные контингенты.

Старшие возрасты вплоть до 48-летнего на основании закона об «апатридах», о котором я говорил в одной из предыдущих глав, были предназначены для новых французских военных формирований, главным образом тылового профиля. Реализация этой меры была перенесена на весну 1940 года, но фактическое ее осуществление не состоялось вследствие неожиданного финала «странной войны».

Начиная с 10 мая 1940 года — даты вторжения германских

армий в Бельгию и Голландию — война перестала быть «странной».

В сорок четыре дня все было кончено.

Шестимиллионная французская армия, не оказав в основной своей массе сколько-нибудь серьезного сопротивления, сдалась на милость победителя. Занимавшие «неприступную» «линию Мажино» два миллиона французских солдат сложили оружие, остававшееся в течение всех предыдущих месяцев войны почти без употребления.

14 июня 1940 года немцы вступили в Париж. Через несколько дней после этого Франция капитулировала.

В последние два дня перед вступлением германских войск в столицу Франции население «русского Парижа» попряталось по своим норам. Выходить на улицу стало опасно: объятые ужасом жители французской столицы, устремившиеся в количестве нескольких миллионов человек к южным парижским заставам, были охвачены шпиономанией. Появление на улице иностранца было равносильно поднесению зажженной спички к бочке с порохом.

Французская буржуазия привыкла считать, что во всех несчастьях, постигающих ее самое и всю «прекрасную Францию» в целом, всегда виноваты «поганые иностранцы». А такого по своим размерам несчастья, как события лета 1940 года, Франция еще не знала за все свое тысячелетнее существование.

После этого станет понятным, как могли себя чувствовать иностранцы.

В эти дни французская буржуазия вспоминала то, о чем ей не следовало бы забывать все предыдущие 25 лет, а именно что в первую мировую войну Франция была спасена русскою кровью и что в будущем без помощи Советского Союза, дружественного Франции, ее существование всегда будет непрочным.

Двадцать пять лет подряд Советский Союз был для французской буржуазии ненавистным «русским медведем», лишившим ее дивидендов по русским облигациям и акциям. Она пренебрегла дружбой страны, спасшей ее и всю Францию от кайзеровского порабощения, ненавидела ее и осыпала проклятиями. Нужны были невероятные страдания и унижения всего французского народа, чтобы эта буржуазия опомнилась.

Из произведений художественной и мемуарной литературы, посвященной описанию Парижа и Франции тех дней, советский читатель уже знает, что в тот момент взоры всех 40 миллионов французов и француженок обратились на Восток.

В те дни весь «русский Париж» облетели переделанные каким-то досужим эмигрантским поэтом строфы лермонтовского

«Бородина». Они были на устах, кажется, у всех без исключения русских эмигрантов и с иронией и убийственной верностью передавали мысли и чувства нескольких десятков миллионов французов и француженок: Мы долго молча отступали.

Дошли до Марны. «Чуда» ждали.

Но бомбы сыпались с небес: России нет — и нет чудес…

Шумный, бурлящий и кипящий в мирное время Париж обезлюдел. В городе осталась, может быть, одна десятая часть его населения. Улицы опустели. В подворотнях робко жались и перешептывались консьержки. Небо было затянуто густыми черными облаками: горели хранилища нефти и бензина.

Утром 14 июня на улицах французской столицы появились зелено-голубые мундиры офицеров и солдат гитлеровского вермахта.

Я жил в то время на улице де ля Кавалери, в двух минутах ходьбы от Марсова поля, на одном конце которого был расположен выстроенный еще при Наполеоне военный городок и Французская военная академия, на другом — подпирающая небо знаменитая Эйфелева башня.

Около входа в академию медленно расхаживал германский часовой. Громадный сквер, занимающий все Марсово поле, был совершенно пуст. На шпиле Эйфелевой башни развевался флаг со свастикой.

К полудню началось вхождение в Париж главных сил наступающей гитлеровской армии. Оно продолжалось до вечера.

Население «русского Парижа» высыпало на улицы.

Оно не чувствовало себя в опасности и видело в гитлеровской армии, разгромившей Францию в 44 дня, свою «избавительницу».

Русские белоэмигранты никогда не любили Францию.

Она, как это читатель знает из предыдущих глав, была и осталась для них чужой страной, к ее судьбе они относились совершенно безразлично. Более того, большинство встретило молниеносный ее разгром с нескрываемым злорадством.

Эта на первый взгляд совершенно нелепая и непонятная для стороннего наблюдателя психология имела в действительности некоторые причины, заключавшиеся в том невыносимом положении подавляющего большинства русской эмиграции, о котором я говорил в предыдущих главах.

Причины, но не оправдание, тем более что внешние формы проявления этого злорадства порою переступали все пределы допустимого…

Оказавшись в бедственном положении, они винили во всех своих горестях и невзгодах прежде всего тот новый строй, установившийся у них на родине, который лишил их былых

богатств и привилегий. Но бедствия и невзгоды они испытывали уже не на родине, а в чужой для них Франции. Свое негодование по этому поводу они распространяли на всех французов, не умея, да и не желая различить трудовой народ от господствующих классов. Этим, разумеется, они никак не могли завоевать симпатии французов, тем более что во Францию они нахлынули незваные, непрошеные трудовым народом этой страны.

Покинув свою собственную родину, эти эмигранты не обрели новой и не хотели понимать, что отнюдь не заслуживают того уважения, на которое претендовали без всяких к тому оснований: ведь в любом обществе вполне закономерно сторонятся (чтобы не сказать хуже) тех людей, которые пренебрегли своей родиной — какая бы она ни была! — и не стесняются всячески ее поносить, как это делали белоэмигранты.

Появление во Франции войск германского вермахта возбудило в «русском Париже» не только злорадство, но и совершенно бредовые фантазии. Воспаленное воображение рисовало заманчивые картины: гитлеровцы без помощи русских эмигрантов, конечно, не обойдутся… Они раздадут им ответственные посты по управлению французскими делами…

Звериного оскала фашизма «русский Париж» не разглядел. Гитлеровского «Майн кампф» там не читали.

Будущего нападения фашистской Германии на их родину никто не предвидел…

Шли недели и месяцы, но никакой раздачи ответственных постов эмигрантам не последовало.

Правда, начался прием русских в германские вспомогательные организации, обслуживавшие вермахт, и в гражданские учреждения. Но это было предложение работы исключительно на самых низших ступенях служебной лестницы германской оккупационной машины. Тем не менее для нескольких тысяч человек из населения «русского Парижа» эта работа была действительно избавлением от вполне реальной угрозы голодной смерти, так как вместе с военным разгромом Франции всю хозяйственную, торговую и промышленную жизнь страны охватил паралич.

Десятки тысяч эмигрантов остались без всяких средств к существованию. Только безработных русских шоферов в Париже было больше тысячи. Ни у кого из них не было никаких запасов — ни денежных, ни продовольственных, ни вещевых. Продавать и разбазаривать было нечего.

Многие тысячи их бросились в «Arbeitsamt»[17], впервые же дни приступивший к найму чернорабочих для отправки в Германию. Громадные залы реквизированного оккупантами

дворца на набережной д'Орсэй со штофными обоями, узорчатыми дверями и позолоченными потолками наполнились толпами безработных иммигрантов — русских, марокканцев, алжирцев, индокитайцев. Французы туда не шли.

На улице Оливье де Серр, в самом центре 15-го, «русского» городского округа, новоявленный «фюрер» русской эмиграции во Франции «светлейший князь» Горчаков со своей стороны тоже открыл бюро по найму рабочих для отправки их на германские фабрики и заводы. В течение очень короткого срока в Париже не осталось ни одного русского безработного.

Шли месяцы. Гитлеровцы прилагали все усилия, чтобы наладить экономику Франции и поставить ее себе на службу. К Франции была применена политика «ухаживания». Никто во всем мире не понимал, что это означает.

Знали об этом только сам Гитлер и его ближайшее окружение. Гитлеровский план нападения на Советский Союз — «план Барбароссы» — был уже готов. Нужно было обеспечить тыл на Западе, чтобы ринуться весною на Восток.

К осени 1940 года парижская жизнь во многом изменилась по сравнению с июньскими днями. Несколько миллионов парижан вернулись в родной город. Перемирие было давным-давно заключено, французские вооруженные силы — распущены. Гражданское управление перешло в руки престарелого маршала Петена, с первых же дней взявшего на себя роль гитлеровского лакея. Столицей Франции стал город-курорт Виши. Юг и юго-запад страны остались неоккупированными. Из Лондона подавал по радио свой голос французский генерал де Голль, обещавший французам вернуть Францию такой, какой она была до 1 сентября 1939 года. Французские «деловые люди» слушали, перешептывались, надеялись, что кто-то их спасет, а тем временем потихоньку… торговали с оккупантами: les affaires sont les affaires (дела остаются делами).

Париж покрылся сетью комиссионных магазинов, в которые вконец разорившиеся обыватели и рантье относили картины Клода Моне и Коро, золотые табакерки, бронзу, фарфор, гобелены, старинное оружие и серебро, редкие книги, стильную мебель. Все это в большей своей части уплывало в Германию, в меньшей — попадало в руки новоявленных миллионеров, в несколько недель разбогатевших на поставках различных материалов для армии своего противника и векового врага.

Пусть гитлеровский сапог давит «прекрасную Францию», ведь «дела остаются делами»!

Представители крупной буржуазии шли еще дальше.

Мне пришлось услышать в годы оккупации из уст одного

крупнейшего французского промышленника следующее: — Пусть лучше Гитлер, чем эта дрянь (при этом он показал рукою на сновавший по улице рабочий люд).

Это высказывание не было единственным, и уста, его произнесшие, не были одинокими.

В те страшные годы я убедился в том, что международная солидарность представителей финансовой олигархии всех стран есть нечто вполне реальное и вопиющее по своему потрясающему цинизму. Патриотизм для этой немногочисленной группы человеческих существ есть понятие несуществующее.

Но, говоря об инертности французского мещанина в период гитлеровской оккупации, того самого мещанина, который безучастно сидел, сложа руки и ожидая избавления с Востока, я не могу умолчать о движении Сопротивления и о той героической подпольной борьбе, которую вели с захватчиками французские коммунисты. Борьба эта не будет забыта свободолюбивыми народами. Имена героев, павших в неравной борьбе, окружены ореолом бессмертия вместе с именами тех, кто в грозную годину развязанной Гитлером мировой бойни был их сотоварищами по оружию и кто решил исход войны.

О движении Сопротивления и о подпольной борьбе французских коммунистов написано много и в исторических исследованиях, и в мемуарах, и в художественной литературе. Возвращаться мне к этой теме излишне. Отмечу только, что на всем протяжении войны в «русском Париже» о движении Сопротивления говорили мало. Все целиком были захвачены грандиозными событиями на Востоке и именно оттуда, и только оттуда, ждали исхода войны.

Среди парижских нуворишей, в несколько месяцев составивших на поставках вермахту миллионные состояния, было вкраплено и несколько эмигрантских имен, ранее никому не известных.

Допустим, что вермахту срочно нужно несколько миллионов карманных зеркалец для бритья, зубных щеток и карандашей для раздачи офицерам и солдатам; германскому Красному Кресту понадобились сотни тысяч тарелок, вилок и ножей для открываемых в Париже солдатских клубов и столовых; интендантству требуются парусина, кожа для подметок, мыло, фанера и многое другое.

Случайно какой-нибудь студент богословского института, шофер, официант или белошвейка знают, где все это припрятано и какие пути ведут к владельцам этого имущества или к промышленникам, производящим его на своих заводах. Они предлагают оккупантам свои услуги по поставке этих зеркалец,

тарелок, парусины, подметок в нужном количестве и в кратчайший срок. Сделка заключена.

Студент, шофер или официант получают аванс в несколько миллионов франков. Всем промежуточным инстанциям они раздают десятки и сотни тысяч комиссионных. Владельцы и промышленники получают свою долю.

Но больше всех наживается предприимчивый организатор всей этой поставки. Через несколько дней вермахт, Красный Крест и гитлеровское интендантство получают необходимые им щетки, вилки, кожу, фанеру, а новоявленный делец опускает в свой карман миллионы франков.

Бумажные франки эпохи оккупации — вещь ненадежная. Золотого обеспечения у них нет. Нувориши сейчас же обращают их в недвижимое и движимое имущество постоянной ценности: золото, бриллианты, меха, серебро, предметы искусства.

Постепенно в «русском Париже» наряду с ними появляются комиссионеры и посредники, которые поставляют им всевозможное добро, в свою очередь наживая на каждой продаже 100 процентов прибыли. Спекуляция пускает свои корни все глубже и глубже. Моральное разложение значительной части «русского Парижа» начинает течь по новому руслу. В беседах появляются новые темы. На улице, в общественных местах, за чайным столом и по телефону только и слышны разговоры о том, кто, где, на чем и сколько заработал.

Фантазия спекулянта не знает границ. Каждый второй или третий белый эмигрант внезапно открывает у себя коммерческий талант и с головой уходит в омут ажиотажа, спекулятивного азарта и рвачества. У большинства дело не идет дальше покупки и продажи какого-нибудь серебряного портсигара или пары бронзовых подсвечников. Но некоторым бешеная спекуляция приносит весьма существенные плоды. У безработного шофера появляется в галстуке жемчужная булавка, на пальце — золотой перстень с рубином, в кармане — золотой портсигар, на груди — золотые часы с массивной цепочкой; у швеи, влачившей полуголодное существование, — бриллиантовые серьги, кольца, колье, меха, столовое серебро, бархатные платья, фарфор, гобелены.

В то время как парижское население сидит на голодном пайке и питается брюквой и ячменным хлебом, со стола «рыцарей» спекуляции не сходят жареные индейки, гуси и утки, паштеты, лангусты, колбасы, сыры, всевозможные изысканные яства…

К концу войны некоторые из новоявленных крупных спекулятивных акул имели собственные особняки в 20 и 30

комнат, обслуживаемые десятками лакеев, камеристок, истопников, швейцаров, и текущий счет в банке, измеряемый десятками миллионов франков. Когда дело стало приближаться к развязке и начал обрисовываться час расплаты, эти рвачи-миллионеры, превратив в золото все свое имущество и раздав миллионные взятки чиновникам гестапо за право выезда из Франции, направились в Швейцарию, Испанию, Швецию, Аргентину и другие нейтральные страны. Многие из них, вероятно, и по сей день пожинают там плоды своей деятельности в те годы, когда на русских просторах лилась русская кровь, а они опускали в свои карманы миллион за миллионом и не выходили из приемных и кабинетов гитлеровских магнатов.

Но конечно, не белоэмигрантские акулы составляли главную массу предателей, торговавших с врагом, топтавшим одновременно и русскую, и французскую землю.

Число французских коллаборационистов, наживших десятки и сотни миллионов франков на торговле с гитлеровской Германией, было неизмеримо выше, а их удельный вес в прогитлеровских кругах — во много раз больше, чем вес белоэмигрантских нуворишей, спекулировавших на несчастьях французского народа.

С приходом в Париж германских оккупационных войск возник вопрос о дальнейшем юридическом статусе русских эмигрантов во Франции. Единого управляющего этой эмиграцией центра никогда не существовало.

Теперь настали иные времена.

«Тотальная психология» охватила большой круг белоэмигрантов. То там, то сям раздавались голоса, что для их собственного блага необходима «твердая власть», что пора заняться чисткой и выкинуть прочь всех «слюнявых интеллигентов», милюковцев, колеблющихся и весь вообще «неблагонадежный» элемент, косо смотрящий на идеологию фашизма. Эти идеи нашли полную поддержку в гестапо. Возможно, что они и шли оттуда.

Первым «фюрером», вставшим во главе вновь созданного комитета по белоэмигрантским делам, сделался, как уже говорилось, «светлейший князь» Горчаков. Фигура эта была весьма заметной на довоенном горизонте «русского Парижа». Был ли «светлейший» назначен органами гестапо или занял пост белоэмигрантского «фюрера» самовольно — сказать трудно. Сам он ежедневно повторял, что самостоятельно организовал свой комитет с единственной целью «помочь бедным эмигрантикам в беде» и вывести их из состояния безработицы.

В деньгах «светлейший», по-видимому, не нуждался.

Он был одним из тех немногих представителей аристократического мира царских времен, которые к моменту революции имели за границей недвижимое имущество или крупный банковский текущий счет. Жил он в предместье Парижа Нейи в собственном доме и никаким производительным трудом не занимался.

Личность эту в довоенные годы можно было считать скорее комической, чем какой-либо другой. Занимал он крайне правый фланг на белоэмигрантской политической кухне, громогласно проповедовал дома, в гостях, на собраниях и даже на улицах, что причина всех несчастий в мире заключается в том, что развелось очень много республик, а количество монархий, наоборот, катастрофически уменьшается. Слыл он за чудака, сумасброда и за человека, у которого «не все дома». Но окружающих он больше забавлял, чем им вредил.

С первых же дней оккупации Горчаков стал устраивать «бедных эмигрантиков» на работы в Германии.

Одновременно связался с парижской префектурой полиции и, как он сам говорил, чуть ли не ежедневно выручал их там из беды. Окружающим он заявлял: — Уж такая моя доля — валяться в ногах то у немцев, то у французов и вымаливать у них прощение для наших накуролесивших соотечественников.

Сегодня он отправлялся в гестапо, чтобы выручить какого-нибудь «бедного эмигрантика», арестованного за не особенно учтивое отношение к солдату или офицеру оккупационных подразделений вермахта. Завтра — к префекту полиции ходатайствовать за другого, который на радостях по случаю занятия Парижа немцами напился пьян и ударил по физиономии первого попавшегося ему на дороге французского полицейского. Оттуда он шел в «Arbeitsamt» узнавать, какое количество рабочих требуется на сегодня, какие специальности нужны, куда им придется ехать, сколько им будут платить и когда состоится отправка.

Все свободное от хождения время Горчаков проводил в своем комитете. Не в пример другим «фюрерам», пришедшим ему на смену, он поместился в очень убогом помещении в центре «русского Парижа» — на улице Оливье де Серр. Окружающим он говорил, что на наем помещения и содержание технического персонала он тратит исключительно свои собственные деньги. Поверить этому было трудно. Можно думать, что в первые дни и недели оккупации гестапо еще не разработало плана управления делами белой эмиграции и что его «фюрерство» действительно было самочинным. Но едва ли может быть какое-либо сомнение в том, что вербовка нужной до зарезу Гитлеру рабочей силы

производилась им не только с благословения, но и при материальной поддержке пресловутого «Arbeitsamt».

Не знаю, имел ли «светлейший» какой-либо вес в глазах оккупантов. Похоже, что нет. Уж очень скоро они отстранили его от всяких политических дел и дали белоэмиграции «настоящего», ими оплачиваемого «фюрера» — некоего полковника Модраха.

Зато во французских административных кругах с Горчаковым считались. Происходил он из рода, оказавшего Франции в очень отдаленные времена большие дипломатические услуги. Ради этого ему легко сходили с рук все его чудачества и сумасбродные выходки в общественных местах и на улицах, связанные с проповедью спасительности монархического строя для всех народов.

«Фюрерство» «светлейшего» продолжалось несколько месяцев. За эти месяцы через его комитет прошло несколько тысяч русских.

С первых дней войны я вел в порядке совместительства амбулаторный прием в бесплатной русской амбулатории на улице Оливье де Серр. Во дворе этого дома в помещении консьержа «светлейший» и открыл сейчас же после вступления в Париж гитлеровских дивизий свой комитет. Поэтому я имел возможность несколько раз в неделю наблюдать за жизнью этого учреждения.

На маленькой асфальтированной площадке двора всегда была такая толчея, что мне иной раз трудно было пробраться в свою амбулаторию.

Через открытые летом и осенью окна занимаемого комитетом помещения было слышно непрерывное щелканье пишущих машинок. В первой комнате сидели секретари «светлейшего» и машинистки. Здесь оформлялись документы для отправки завербованных рабочих. Работники умственного труда Гитлеру не требовались. Среди посетителей комитета их не было.

Во второй комнате за столом, крытым зеленым сукном, восседал сам «светлейший». Он подписывал приносимые ему бумаги, а в перерыве громогласно проповедовал всегда одно и то же: какой мир на земле и в человецех благоволение воцарится, когда всеми государствами будут управлять императоры, цари и короли…

Позади этого апостола монархизма на стене висели два портрета — царя Николая и Гитлера, украшенные двумя флагами — старым трехцветным царским и фашистским со свастикой.

Ранней весною 1941 года по «русскому Парижу» распространился слух, что на смену полулегальному «фюреру»

пришел официально назначенный оккупационными властями «настоящий фюрер» — полковник Владимир Карлович Модрах. «Светлейший», узнав об этом, кинулся в гестапо и пытался там доказать свои права на «фюрерский» трон. С ним не стали разговаривать. Он ушел из гестапо подавленный и униженный. По дороге он с жаром объяснял каждому встретившемуся ему на улице русскому, что при наличии монархического строя во Франции и Германии ничего подобного с ним не случилось бы.

Комитет на улице Оливье де Серр прекратил свое существование.

Новый «фюрер» поставил дело управления белоэмигрантским миром на широкую ногу. Он обосновался в ранее занимавшемся им и его женою особняке на улице Бломе, узкой улочке все того же «русского» 15-го округа.

Еще до войны семья Модрахов привлекала к себе внимание военных кругов «русского Парижа» своим образом жизни, далеко не обычным. У Модрахов были деньги. На эти деньги задолго до войны они открыли в своем особняке ателье художественных абажуров. Как шли дела абажурного предприятия, никто в точности не знал. Может быть, совсем не шли. Безбедная же жизнь в особняке, возможно, объяснялась тем, что туда текли какие-то доходы совсем другого происхождения, а абажуры предназначались не столько для того, чтобы защищать ими глаза клиентов от слишком яркого света, сколько с целью скрыть от этих глаз истинную деятельность супружеской пары.

В первые месяцы 1939 года, тотчас после начала «странной войны», мадам Модрах явилась в управление РОВСа и заявила, что, движимая чувством гуманности, решила организовать общедоступную столовую для чинов РОВСа, причем устанавливает для них все из тех же чувств невиданную и неслыханную цену: за обед из трех блюд — 3 франка. За такую цену пообедать в Париже даже и в довоенные времена было невозможно.

Все в этой столовой было странным, как и сама «странная война», которая в то время велась. Посетители прямо с лестницы попадали в одну из бывших зал ателье с моделями абажуров по углам. Официантов не было, каждый обслуживал себя сам. Клиент за 3 франка получал такую обильную еду, которая во всяком другом месте обошлась бы по тем временам в 20 франков. Мадам Модрах, позабыв на время об абажурах, поочередно подсаживалась то к одному, то к другому столику и с очаровательной улыбкой заводила беседу: сначала — о качестве борща, котлет и киселя, потом — о войне, о Франции, о гитлеризме, об их, клиентов, чаяниях и прогнозах. К вечеру у нее

накапливался богатый материал о том, чем живет и что думает парижская белая эмиграция…

Столовая просуществовала несколько месяцев и закрылась столь же внезапно, сколь незадолго перед этим открылась.

Управление по делам эмигрантов разместилось в модраховском особняке по улице Бломе очень широко. Оно заняло все залы и комнаты, где до того помещались ателье и столовая. На дверях появились дощечки с обычными для каждого «солидного» учреждения надписями: «Кабинет начальника управления», «Заместитель начальника», «Генеральный секретарь», «Без доклада не входить» и т. п.

В особо важных случаях посетители допускались в кабинет самого «фюрера». Он держался с ними очень холодно и сухо и всячески старался подчеркнуть свое превосходство над всем белоэмигрантским миром. Ему в те годы было около 50 лет. По специальности он был раньше, кажется, инженером.

22 июня 1941 года застало его на этом «высоком» посту. Всем белоэмигрантам, являвшимся за получением различных справок, было предложено сообщать о себе паспортные сведения и попутно дать в обязательном порядке подпись в том, что он «добровольно» включается в начатую Гитлером «священную борьбу против мирового зла — коммунизма». Если же кто-либо откажется подписать требуемое, то разговор будет короткий…

Эмигранты очень хорошо знали, что именно в этом случае последует, робко жались под перекрестным огнем нескольких пар глаз модраховских сотрудников, дрожащей рукой подписывали то, что от них требовалось, и поспешно удалялись из этого филиала гестапо. Но желающих на деле включиться в «священную борьбу» среди них, к счастью, оказалось немного.

Первое известие о сброшенных на родные города и села гитлеровских авиационных бомбах совершенно переродило белоэмигрантскую психологию. Подавляющее большинство вчерашних противников Советской власти порвало с прошлым. Об этом — в следующей главе.

Не успел Модрах зарегистрировать и половину парижских белоэмигрантов, как эта процедура была неожиданно отменена по приказу того же гестапо. По-видимому, уже в те дни гестапо решило переделать всю систему надзора и перейти к другим формам управления «русским Парижем». Через несколько дней после этого появился приказ о смещений Модраха и назначении на должность «фюрера» русской белой эмиграции Жеребкова.

Для белой эмиграции настали особенно трудные времена. Гестапо с первых же дней после гитлеровского нападения на СССР убедилось в существовании в среде большинства русской

эмиграции мощной волны вспыхнувшего патриотизма и отхода от прежних антисоветских позиций.

В городах Южной Франции лакействовавшее перед Гитлером правительство Петена дало распоряжение об аресте всех без исключения русских эмигрантов. Все они в целом были взяты органами гестапо под подозрение. Явно «неблагонадежных» хватали и отправляли в гитлеровские лагеря смерти.

Жеребковские сатрапы рыскали по эмигрантским квартирам и проверяли, нет ли в них каких-либо признаков «крамолы», нет ли антигитлеровской литературы; интересовались, чьи портреты и фотографии висят на стенах, и т. д.

Права всех довоенных учреждений выдавать эмигрантам какие-либо справки были у них отняты и сосредоточены в руках Жеребкова. Была официально объявлена регистрация всех без исключения русских, находившихся на территории Франции. Управление по делам русской эмиграции перешло в помещение, занимавшееся ранее представителем Лиги наций по тем же делам американцем, неким господином Паном. Оно превратилось в большое учреждение, занимавшее два этажа дома в аристократическом квартале 16-го округа на улице Галлиера (впоследствии, после Победы, там поместился Союз советских патриотов).

Жеребков был типичным представителем категории политических пройдох и авантюристов, внезапно появлявшихся на белоэмигрантском горизонте. В описываемые годы ему было не более 25–30 лет. За границу он попал с родителями, будучи ребенком. К моменту совершеннолетия он находился в Германии и получил там германское подданство. Во Франции его хорошо знали в балетных кругах: он подвизался в качестве танцовщика преимущественно в дансингах и частично в оперных предприятиях.

При своем «вступлении на престол» новоявленный «фюрер» русской белой эмиграции во Франции обратился к ней с «манифестом», в котором, не скрывая того, что он с гордостью носит звание германского гражданина и служащего гестапо, объявил, что каждому эмигранту надлежит в той или иной мере помогать гитлеровской Германии в начатой ею «священной борьбе» и что всех, кто с этим не согласен, он, Жеребков, проучит так, что они долго будут об этом помнить.

В те же самые дни другой белоэмигрантский «фюрер», Войцеховский, назначенный в Бельгии тем же гестапо для надзора за осевшими там эмигрантами, приступил к настоящему и подлинному террору против всех подозреваемых в сочувствии Советской власти. Бельгийские тюрьмы и концлагеря быстро

наполнились сотнями неугодных Войцеховскому людей. Единицы дожили до дня Победы. Все остальные погибли в этих застенках.

В первые же дни после Победы Войцеховский был убит выстрелом из револьвера, направленного на него карающей рукой мстителя — одной из его уцелевших жертв.

По всей Франции началась поголовная регистрация эмигрантов. Осуществляли ее жеребковское управление и его филиалы.

Внутренние помещения управления Жеребков украсил флагами со свастикой и портретами Гитлера, Геринга, Геббельса и других «апостолов» фашизма. Заместителями его были пресловутый гвардейский полковник Богданович и казачий офицер Краснов, родной племянник матерого антисоветского деятеля атамана Краснова. О первом из них мне уже приходилось упоминать. В дни оккупации он показывался в управлении и других общественных местах не иначе как в фашистской коричневой рубашке. Он в свою очередь обратился с «манифестом» к «молодому поколению» эмиграции. Кончался этот манифест возгласами: «Хайль Гитлер! Виво Муссолини! Банзай микадо!» В последние дни оккупации, когда к Парижу подходили американские дивизии, Жеребкову удалось бежать.

Незадолго до моего отъезда из Франции в «русском Париже» появилось сообщение о том, что он был очень ласково встречен американцами и в полном ничегонеделании отлично проводит время в американской зоне оккупации Западной Германии. Читатель не будет удивлен, если в один прекрасный день узнает, что Жеребков под крылышком дядюшки Сэма делает или уже сделал столь же головокружительную карьеру, как это случилось с ним в Париже в 1941–1944 годах.

Среди прочих вопросов, которые жизнь поставила перед «русским Парижем» в дни французской катастрофы, снова возник во всей своей остроте вопрос о юридическом положении русских врачей. Мобилизация затронула только молодые возрасты эмиграции; до старших возрастов военные власти не успели дойти, так как Францию постиг крах.

Нужда во врачебной помощи среди коренного парижского населения с момента мобилизации была громадная.

И тем не менее все осталось по-старому: за оказание врачебной помощи французу врачам, не имевшим французского диплома, угрожали прежние кары — штраф, тюрьма и высылка.

Когда настали последние дни и Франция была ввергнута в пучину бедствий, это ненормальное положение превратилось в совершенный абсурд. Почти все парижские врачи из числа коренного населения покинули город. Больницы, амбулатории и

диспансеры были брошены ими на произвол судьбы. Положение сделалось настолько отчаянным, что мэрия города расклеила на стенах домов списки оставшихся в городе немногих французских врачей с указанием их адресов и номеров телефона для вызова в экстренных случаях. Неизбежные спутники каждой войны — дизентерия и тифы пожинали обильную жатву. И в это же самое время около сотни русских врачей, стремившихся вложить свою лепту в дело медицинской помощи коренному парижскому населению, было совершенно устранено от нее все теми же нелепыми бюрократическими рогатками, которые существовали и до войны и которые уже известны читателю.

В первые дни после вступления в Париж гитлеровской армии среди врачей-эмигрантов возникла мысль так или иначе покончить с этим положением. Ситуация была неясной. Никто не знал, каков будет оккупационный режим и где теперь кончаются полномочия французских гражданских властей и начинаются полномочия немецких оккупационных органов.

Решено было начать с французов. В солнечное июльское утро 1940 года я пошел в парижскую префектуру, чтобы от имени группы русских врачей заявить о том, что они предоставляют себя в распоряжение французских гражданских властей и что все свое свободное время они отдают им для оказания врачебной помощи населению в тех формах, которые префектура признает наиболее жизненными и целесообразными.

Черное мрачное здание парижской префектуры, внушавшее каждому эмигранту в предыдущие десятилетия ужас, имело сейчас необыкновенный вид. Оно, раскинувшееся на целый квартал, казалось брошенным на произвол судьбы. На его грандиозном внутреннем дворе вместо сновавших в довоенные годы взад и вперед сотен полицейских не было ни души. В кулуарах Service des etrangers (отдел для иностранцев), где в те же годы сидела и стояла толпа притихших и дрожащих за свою судьбу рабочих-иностранцев, царила та же пустота. Я заглянул в несколько зал: повсюду тишина и одна или две фигуры мрачных и подавленных чиновников. Раньше их было в каждой зале с полсотни. Бродя по бесконечной веренице полутемных коридоров, я с трудом разыскал нужную мне комнату. Это был отдел регистрации парижских врачей. В громадной комнате сидел один чиновник. Вид у него был подавленный и растерянный. Он ничего не делал и только время от времени поглядывал в открытое окно.

Я назвал себя и объяснил цель своего визита.

Ничего не говоря, он встал, подошел к одному из шкафов и вынул из него большую папку с написанным на ней крупными

буквами моим именем и фамилией. Оказывается, на каждого врача-иностранца существует целое досье, где отмечаются все подробности его жизни и деятельности.

Взглянув в содержимое папки, он, не глядя на меня, сказал: — Видите ли, мсье, вы — иностранец и все ваши коллеги тоже, поэтому…

— Знаю. Но считаете ли вы нормальным такое положение, когда миллионы французов бедствуют без врачебной помощи? Когда десятки тысяч их умирают в то самое время, когда помощь эта у них и у вас под рукой?

— Все это так, — уныло продолжал чиновник, по-прежнему глядя куда-то в сторону, — но ведь закон есть закон…

— Значит, если завтра ваш ребенок заболеет дифтерией, жена — аппендицитом, а сами вы — рожей или дизентерией и если вам не удастся найти ни одного французского врача, который спас бы жизнь всем вам, то вы, имея рядом с вами русского терапевта, хирурга и инфекциониста, дадите со спокойной совестью умереть дорогим вам существам? И это только оттого, что по букве закона иностранному врачу запрещается спасать жизнь окружающих его людей?

— Что поделаешь, мсье, — продолжал чиновник. — Мы — рабы закона… И потом — это ужасное время, которое переживает Франция!.. Мы не знаем, что будет дальше… Быть может, все эти вопросы отныне будут решать они…

Он показал при этом рукой на видневшиеся вдали зелено-голубые мундиры проходивших по набережной двух или трех германских офицеров.

Я понял, что дальнейший разговор делается беспредметным, и ушел из префектуры. В тот день я сообщил своим сотоварищам о результатах этого посещения.

В течение последующих недель положение ухудшилось. В Париже появились случаи сыпного тифа. Дизентерия продолжала свирепствовать и разрослась в колоссальную эпидемию.

Как я упоминал, с первого дня войны я взял на себя по совместительству амбулаторный терапевтический прием в бесплатной русской амбулатории на улице Оливье де Серр, находящейся в 15-м округе. Мы, русские врачи, не могли примириться с только что описанным чудовищным положением. Работавшие со мною в амбулатории соотечественники уполномочили меня пойти в мэрию 15-го округа, объяснить мэру всю нелепость существующего положения и указать на логичный выход из него. Нам казалось, что ржавчина бюрократизма еще не съела целиком выборное общественное учреждение, как это случилось с префектурой.

По пустынным парижским улицам прямо из амбулатории я быстро дошел до мэрии. Такая же пустота на ее дворе и в ее залах. В одном из кабинетов я застал заместителя бежавшего из города мэра, человека лет 50 с ленточкой ордена Почетного легиона в петлице. Он сидел за грандиозным «министерским» столом, крытым зеленым сукном, с низко опущенной головой, подперев ее руками.

Я объяснил ему цель моего визита и сказал, что врачи амбулатории готовы принять на себя функции учреждения, оказывающего бесплатную врачебную помощь всем, кто в ней нуждается. Вместе с тем я просил его от имени врачей амбулатории оповестить об этом население подопечного ему округа.

Заместитель мэра приподнял голову и каким-то неопределенным тоном процедил сквозь зубы: — Это интересно, очень интересно… Мы вас, конечно, очень, очень благодарим за ваше благородное предложение и за…

— Никакого благородства тут нет, а есть простое выполнение врачебного долга в минуту общественного бедствия, целесообразность и логика, — перебил его я.

— Гм! Чрезвычайно интересно… — продолжал цедить сквозь зубы заместитель. — Но извините, если я не ошибаюсь, вы — иностранец и ваши коллеги по амбулатории — тоже?

— Совершенно верно, но какое это может иметь значение в изложенном мною деле?

— Гм!.. Тут, дорогой доктор, маленькое затруднение…

— Вы хотите сказать, — перебил его я, — бюрократические рогатки, ведущие к тому, что жители округа будут у вас на глазах умирать, а вы будете спокойно смотреть на это и запретите им обращаться к врачам иностранного происхождения?

— Ну зачем же такие ужасы! Мы, право, очень, очень вам благодарны, но…

— Нам нужна не ваша благодарность, а разумное решение вопроса и быстрое проведение его в жизнь, — продолжал я.

— Что мы можем сделать, дорогой доктор? Ведь мы теперь не хозяева… Мы не знаем, как на это взглянут они…

Голос его оборвался, а голова бессильно опустилась на грудь.

Я понял, что больше мне в мэрии делать нечего.

В конце лета 1940 года в германский Красный Крест был подан за подписью нескольких десятков русских врачей меморандум об их юридическом положении во Франции и необходимости в интересах здравоохранения оккупированной зоны, и в частности Парижа, изменить это положение, приравняв врачей с русскими дипломами к основной массе французских

врачей, то есть дать всем врачам право легальной работы среди коренного населения страны.

Меморандум был встречен парижскими представителями германского Красного Креста очень холодно. При посредстве германского консула русским врачам, подписавшим его, было заявлено, что поднятый ими вопрос относится исключительно к компетенции французских гражданских властей и что германские власти целиком от него отмежевываются.

Истинную причину этого отказа врачи поняли год спустя. Органы гестапо еще за год до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз отнесли основную их массу к категории «неблагонадежных».

В этом они не ошиблись. Лишь только грянул гром войны на Востоке и на русские города и села были сброшены первые германские бомбы, подавляющее большинство врачей-эмигрантов примкнуло к тому стихийно возникшему течению, которое окончательно порвало с прошлыми шатаниями, колебаниями, сомнениями и безоговорочно перешло в советский лагерь раз и навсегда.

«Неблагонадежных» вызывали в жеребковский филиал гестапо, допрашивали, заставляли подписывать десятки всяких бумажек с выражением «покорности», сманивали на высокооплачиваемую работу во вспомогательных организациях, обслуживавших вермахт, сулили им в будущем золотые горы — все понапрасну: в основной своей части врачи держались стойко и на службу к агрессору не шли.

Лишь не более десятка из них согласились надеть форму организации Тодта и Шпеера[18] и, провожаемые молчаливым презрением всей патриотически настроенной массы русских, выехали из Парижа по местам назначения — преимущественно в зону возводившегося в то время так называемого «атлантического вала», начиная от Ламанша и кончая испанской границей.

Остальные наряду со своей обычной повседневной работой все свободное время отдавали парижскому русскому «подполью» — скрывавшимся от гестапо патриотам, активистам, бежавшим из гитлеровских застенков советским военнопленным и участникам Сопротивления.

Среди ближайшего жеребковского окружения особенное неистовство по отношению к «неблагонадежным» русским врачам проявлял некто Г. А. Лукашевич, бывший начальник санитарной части врангелевской армии, целиком перекинувшийся к гитлеровцам и надевший черную форму шпееровской организации в первый же год оккупации. Об этой характерной сумбурной и аморальной фигуре «русского Парижа» довоенных и

военных лет следует рассказать подробнее.

Лукашевич кончил курс Петербургской военно-медицинской академии в 1910 году. Его однокашники еще задолго до войны рассказывали, что среди студентов он пользовался очень плохой репутацией как доносчик и весьма темная личность. За ним утвердилась среди его однокурсников кличка «великий пакостник».

По окончании академии он был назначен младшим ординатором Николаевского военного госпиталя, но вскоре после назначения был вынужден его покинуть ввиду полной неспособности к госпитальной работе. Он перешел на службу в гвардейский конный полк. Это обстоятельство сыграло решающую роль во всей его последующей карьере. В том полку в те же годы служил штаб-ротмистр барон Врангель, будущий глава белой армии.

После демобилизации Лукашевич очутился в Киеве.

Здесь он занял должность ординатора клиники кожных и венерических болезней Киевского университета, возглавляемой профессором В. И. Теребинским. Этот последний рассказывал мне впоследствии в Париже, что был вынужден освободить Лукашевича от должности вследствие полной его неспособности вести какую-либо клиническую работу. Это было в 1918 году, когда Украина была оккупирована кайзеровскими войсками.

«Великий пакостник» не пал духом. Он быстро перекинулся к оккупантам. Какого рода деятельностью он занимался у них, сказать трудно. Но только по окончании оккупации у него в кармане оказалась грамота германского верховного командования на Украине, удостоверяющая, что «русский врач Лукашевич оказал германской оккупационной армии неоценимые услуги», без дальнейшего уточнения, в чем именно они состояли.

После изгнания германских войск с Украины Лукашевич попал в «добровольческую армию» Деникина, где занимал должность врача одного из конных корпусов.

С приходом Врангеля к верховной власти в Крыму он поднялся еще выше: Врангель назначил своего бывшего однополчанина и собутыльника главным военно-санитарным инспектором так называемой «русской армии». На этом посту Лукашевич приобрел широкую и печальную известность среди всего медицинского персонала занятой врангелевцами территории юга России. Сумасброд и крепостник, он смотрел на этот персонал как на свою челядь.

Площадная брань, издевательства, угрозы расстрела, аресты сыпались на голову каждого его подчиненного, Жаловаться было некуда. Законности в белых армиях не существовало. Скоро у

него начались столкновения и со строевыми офицерами. Скандалы шли за скандалами. В конце августа 1920 года Врангель был вынужден уволить его в отставку «с мундиром и пенсией».

После разгрома белой армии Лукашевич оказался в Югославии, где прожил три года. Но и тут с его именем были связаны разные темные дела. Ему пришлось податься во Францию.

По прибытии в Париж в 1924 году он сразу оценил окружающую обстановку и перешел на путь врачебного шарлатанства и мошенничества. Будучи совершенно невежественным во всех отраслях медицины, он именовал себя «специалистом по венерическим и мочеполовым болезням», широко рекламировал себя в белоэмигрантской прессе, чуть ли не ежедневно показывался в ночных притонах, платил швейцарам этих «злачных мест» крупные комиссионные за каждого доставленного ему пациента, обирал этих несчастных людей до ниточки, назначал ненужные им процедуры, передавал их шарлатанам других специальностей, получал в свою очередь с последних проценты за каждую направленную им «голову» и т. д.

Среди врачей-эмигрантов он пользовался репутацией афериста, мошенника и спекулянта от медицины. Большинство их не подавало ему руки. Не в пример им он, идя вышеописанным путем, стяжал немалые материальные блага: имел хорошо меблированную квартиру в пять комнат, собственную автомашину, прислугу, устраивал грандиозные попойки для своих бывших однополчан.

Применить свои специфические способности по отношению к эмигрантским врачам в довоенный период «великий пакостник», конечно, не мог. Зато он полностью проявил их, лишь только в Париж вступили гитлеровские войска. Он обивал пороги всех оккупационных учреждений, ездил в Берлин, подавал докладные записки о необходимости мобилизации «в планетарном масштабе» всех находящихся за рубежом русских врачей, доказывал, что только он один может произвести эту мобилизацию и что всех мобилизованных нужно отдать ему в полное и безоговорочное подчинение.

В черном мундире организации Шпеера, он шантажировал русских врачей своими якобы особыми связями с гитлеровской верхушкой и угрожал им, размахивая упомянутой выше грамотой германского верховного командования на Украине. С Жеребковым он был в дружеских отношениях.

Официально Лукашевич занимал должность врача одного из подразделений организации Шпеера, дислоцированных в

Ангиене, городке-курорте под Парижем. Но по своей неспособности вести какую-либо врачебную работу вне путей мошенничества он все свои служебные обязанности возложил на подчиненных ему фельдшеров, показывался на службе один или два раза в неделю, а остальное время проводил у себя на парижской квартире, находившейся в богатых кварталах 16-го округа на улице де ля Тур, окруженный кипами настряпанных им самим доносов, докладных записок, проектов и т. д. Он сумел убедить немецкое начальство в том, что на него как на «последнего главного военно-санитарного инспектора русской армии» историей возложена какая-то особая миссия.

Оккупанты не стали разбираться, в чем, собственно, эта миссия заключалась, но охотно отпустили ему печатавшиеся без всякого обеспечения так называемые «оккупационные марки» на оплату трех машинисток, покупку пишущих машинок, столов и канцелярских принадлежностей. Из раскрытых окон его квартиры раздавался непрерывный стук машинок, у подъезда стояли военные автомобили, в двери поминутно входили и выходили вермахтовцы, шпееровцы и гестаповцы. Вскоре молва о его темной деятельности разнеслась по всему 16-му округу.

Общественное мнение квартала считало его виновником периодически проводимых гестапо арестов среди населения.

Когда пришел час расплаты, «великий пакостник» бежал из Парижа вместе с гитлеровской армией. После разгрома фашистской Германии он перекинулся к американцам и снова начал без конца строчить свои челобитные — на этот раз американскому командованию — о «тотальной мобилизации зарубежных русских врачей» и необходимости создать для него пост главного военно-санитарного инспектора и начальника всех этих врачей.

Когда американские лагеря для «перемещенных лиц» растаяли, он остался не у дел и начал писать в Париж отчаянные письма своим однополчанам с мольбою о помощи. Кому-то из них удалось добиться для него разрешения на возвращение в Париж.

Лукашевич вернулся в Париж, но показываться на глаза жителям своего квартала и в местах эмигрантского скопления, конечно, не мог из-за вполне реальной угрозы расправы со стороны жертв его пакостничества. Он скитался с места на место на самых отдаленных окраинах Парижа, пока в один прекрасный день не был опознан на улице кем-то из жителей 16-го округа. Тут же на месте он был арестован и препровожден в тюрьму Фрэн.

Темная личность «великого пакостника» была хорошо известна большинству населения «русского Парижа».

Весть о его аресте быстро распространилась, все ждали

громкого судебного процесса — было это в первый год после Победы, когда Франция беспощадно расправлялась со всеми, кто в годы войны и оккупации перешел в лагерь оккупантов. Каково же было изумление русских парижан, когда они через несколько недель узнали, что Лукашевич выпущен на свободу, а следствие по его делу прекращено. Тем не менее оставаться в Париже ему после всего вышесказанного было нельзя. Он выхлопотал разрешение на въезд в Аргентину и в 1946 году скрылся с парижского горизонта.

Но своего «пакостничества» Лукашевич не оставил.

В 1947 году, незадолго до моего отъезда из Парижа, мне попался на глаза номер новой парижской реакционной газетки (название ее выпало у меня из памяти), издававшейся на русском языке на средства Ватикана.

В ней был напечатан «призыв к совести всего мира» какой-то образовавшейся в Буэнос-Айресе организации с очень длинным и замысловатым названием, что-то вроде «лиги защиты от советского террора перемещенных лиц, насильственно отправляемых в Советский Союз». Под этим призывом стояли подписи трех лиц, возглавлявших «лигу». Среди них — подпись доктора Григория Александровича Лукашевича.

Послевоенная международная политическая атмосфера создала исключительно благоприятные условия для проявления специфических «талантов» всякого рода «великих пакостников». Не мудрено, что Лукашевич быстро всплыл на поверхность международного политического болота и нашел применение своим пакостническим способностям.

XV
Трансформация эмиграции. «Перемещенные лица». «Невозвращенцы»

В предыдущих главах мне неоднократно приходилось упоминать, что дата 22 июня 1941 года была тем поворотным моментом, когда произошло крушение старой белоэмигрантской антисоветской идеологии и родились новые настроения, приведшие эмигрантов к долгожданному возвращению на родину. Говоря это, я должен еще раз подчеркнуть, что просоветские настроения существовали среди проживавших за рубежом русских и раньше, но они охватывали сравнительно небольшой круг лиц и носили неоформленный характер. Эти люди числились эмигрантами формально и никакого участия во всех политических неистовствах и беснованиях не принимали.

Когда же грянул гром войны на родной земле, то в самой гуще «настоящей» эмиграции вспыхнуло пламя патриотизма. Прежние антисоветские настроения были отброшены в сторону. Для подавляющего большинства стало ясным, что русский народ и Советская власть неотделимы друг от друга, что они вместе защищают родные рубежи и охраняют честь, достоинство и независимость родной земли. И не только защищают сейчас, но и будут защищать в веках.

Страдая за свою родину, это в один миг перерожденное большинство одновременно глубоко страдало и от сознания своего бессилия чем-либо помочь родине в годину выпавших на ее долю испытаний. За каждым шагом этого большинства неустанно следило гестапо в лице жеребковских молодчиков. Тайная их агентура проникла во все эмигрантские сообщества, объединения и группы.

Париж был нафарширован провокаторами всех мастей, говорившими на всех языках Европы.

И все же какие-то пути для посильной борьбы с агрессором, нахлынувшим на родную землю, у этой части эмиграции нашлись.

Одни вступили в ряды французского Сопротивления.

Многие из них геройски пали под пулями оккупантов.

Другие помогали образовавшемуся с первых же дней гитлеровского нападения на Советский Союз парижскому русскому подполью кто чем мог: продовольствием, одеждой, лекарствами, врачебной помощью.

Третьи с риском для собственной жизни прятали в своих

убогих жилищах бежавших из гитлеровских лагерей смерти или с принудительных работ советских узников и депортированных из Советского Союза подростков и девушек.

По вечерам, собираясь группами у уцелевших радиоприемников, они затаив дыхание слушали сводки, передаваемые тайными радиостанциями всех стран антигитлеровской коалиции, а иногда если выпадало счастье, то и сообщения из Москвы. Они испытывали глубокое горе при отступлении Красной Армии и величайшее ликование при ее победах.

В те грозные годы советски настроенные люди «русского Парижа» как-то научились быстро угадывать единомышленников в окружающей их среде. Заводя сначала робко разговор на волновавшую всех тему о положении на фронте и озираясь по сторонам, они по тону, мимике, жестикуляции своего случайного собеседника безошибочно определяли образ его мыслей. В этих беседах у них взаимно крепла вера в конечную победу, сколь бы печально ни было в данный момент положение на фронте.

Невеселую картину являл собою в те годы Париж.

Квартиры не отапливались, не подавалось электричество; питание состояло из ячменного хлеба, брюквы и скудного количества макарон; обуви, белья, одежды нельзя было достать.

Оккупанты систематически грабили французское народное добро. Они вывозили в Германию предметы искусства, мебель, целые библиотеки, склады вин, вывинчивали из дверей медные ручки, снесли и переплавили бронзовые памятники. Обыски и аресты людей, заподозренных во враждебных чувствах к гитлеризму, шли ежедневно. Периодически устраивались уличные облавы.

Но патриотически настроенный «русский Париж» не унывал. Он твердо верил, что русский народ рано или поздно выбросит с родной земли гитлеровских захватчиков, как он выбросил в свое время татарских ханов, польскую шляхту, наполеоновские полчища.

Геббельсовская пропаганда шумела и гремела. Реляции о взятых городах и миллионах советских пленных, прерываемые бравурными маршами, наполняли эфир. Однако «русский Париж» как-то интуитивно определял, где кончается истина и где начинается беспардонная ложь и хвастовство. Прошло несколько месяцев, и все выверты этой пропаганды сделались общим посмешищем. Геббельсу больше не верил ни один человек.

Когда настал финал сталинградской эпопеи, германская оперативная сводка глухо сообщила, что «под давлением превосходных сил противника и во избежание ненужных жертв

сталинградская группа вермахта была вынуждена прекратить сопротивление». Больше — ни слова.

Но «русский Париж» уже научился читать между строк.

Он ликовал, как ликовал и весь Советский Союз.

Эта трансформация охватила большую часть «русского Парижа» и превратила его в крупный массив будущих советских граждан. Однако было бы большой ошибкой думать, что в его недрах не осталось никого и ничего, что напоминало бы о двух предыдущих десятилетиях.

В одной из глав я уже упоминал о позиции, которую заняла верхушка РОВСа в момент нападения Гитлера на Советский Союз и в последующие годы. Эта верхушка благословила белое воинство на вступление в ряды вермахта. В Югославии и Болгарии ровсовские начальники в свою очередь кликнули клич к белоэмигрантской массе, призывая ее вступать в ряды «охранного корпуса», созданного по указанию Гитлера для борьбы с югославскими партизанами.

Сотни бывших белых офицеров надели германскую военную форму и с повязкой на левой руке «Переводчик» отправились на Восточный фронт. Другие вступили в организации Тодта и Шпеера. Третьи пристроились к гестапо и заняли щедро оплачиваемые должности в жеребковском филиале этого учреждения. Четвертые сотрудничали в издаваемой на средства гестапо газетке на русском языке «Парижский вестник» и уверяли читателей, что приближается день окончательной победы гитлеризма.

Всех не перечтешь.

«Русский Париж», делившийся в довоенные годы на многие десятки политических группировок самых разнообразных оттенков, с момента нападения Германии на Советский Союз забыл о прежних разногласиях и раскололся по новому принципу на две основные части: просоветскую и антисоветскую. Между ними уместилась расплывчатая и аморфная масса колеблющихся людей с половинчатым и «частичным» патриотизмом или лжепатриотизмом. Эти последние, признавая, что на данном этапе Советская власть и русский народ составляют монолитное целое, считали все же, что с окончанием войны это единство будет нарушено само собой и «все потечет по старому руслу». Отсюда вывод: «Пока поддерживать Советскую власть в ее борьбе с нахлынувшим агрессором, а дальше будет видно…» Таковы были идеологические перемены в «русском Париже» после 22 июня 1941 года. Мне остается сказать еще об изменениях его внешнего лика.

Самой характерной чертой военного периода жизни русского

зарубежья во Франции было появление в его среде десятков тысяч угнанных гитлеровцами на принудительные работы в Германию подростков и девушек из оккупированных областей России, Украины и Белоруссии. Многие из них бежали с этих работ, пробрались во Францию и жили там на нелегальном положении.

К концу войны в Париже появилась еще одна категория «свежих» эмигрантов из Советского Союза: лица, бежавшие за границу вместе с разбитыми частями гитлеровского вермахта, — изменники родины, сотрудничавшие с врагом в период его пребывания на советской территории. Это так называемые «невозвращенцы».

Наконец, в Париже замелькали начиная с 1942 года бывшие советские военнопленные, вступившие, большей частью под угрозой смерти, в созданные немцами воинские формирования, во главе которых они поставили известного предателя Власова (вскоре после капитуляции Германии он был захвачен под Прагой одним из советских подразделений и повешен по суду за измену).

По отношению ко всем этим категориям «русский Париж», включая и некоторые просоветские его элементы, проявил большую неразборчивость: он кидался на шею каждому русскому и русской, попавшим в зарубежье с родных полей и из родных лесов. В политической окраске этих пришельцев он не мог и не хотел разобраться. Психологически эта неразборчивость объяснялась следующим образом: большинство эмигрантов сознавало, что, прожив свыше 20 лет в отрыве от родины, они утратили всякое право считать себя представителями русского народа. Многим было ясно, что сами они — тени прошлого, и больше никто. Друг другу они надоели до предельной степени. Но их главным жизненным интересом по-прежнему оставалась родная земля. Все остальное плыло мимо них и не интересовало их. О жизни в Советском Союзе они знали частью из советских газет, журналов и художественной литературы, главным же образом — из эмигрантских газет, давным-давно превратившихся в кривое зеркало при изображении советской действительности. Эти знания изредка пополнялись письмами от родных, живших на родине, и рассказами единичных «невозвращенцев», время от времени появлявшихся на эмигрантском горизонте.

Поэтому они с жадностью набрасывались на каждого «свежего» человека «оттуда», считая, что именно он-то и является частичкой подлинного и вполне реального русского народа, а не той загробной его частью, к которой принадлежали они сами.

Такими первыми «свежими» людьми были упомянутые мною девушки и подростки, депортированные Гитлером в Германию в 1941–1944 годах и бежавшие оттуда во Францию.

Я не помню ни одной парижской эмигрантской семьи, которая в годы оккупации не прятала бы у себя или не приняла бы на свое полное иждивение одного или одну из этих советских юношей и девушек. Помимо указанной мною причины тут играло роль еще одно обстоятельство: эмиграция старилась и дряхлела. Она была лишена одной из главных радостей жизни — видеть около себя молодые побеги родного народа. Читатель уже знает, что эмигрантская молодежь в подавляющем своем большинстве не могла быть названа русской.

Стихийная «тоска по молодежи» и тяга к молодежи — явление, общее для всех слоев эмиграции. Вот почему, когда в Париже появились тысячи юношей и девушек из всех градов и весей далекой и любимой родины, они были встречены с распростертыми объятиями медленно умиравшей старой эмиграцией. Ведь самые молодые из эмигрантов перешагнули уже далеко за 40 лет. В каждой эмигрантской семье появился «приемный сын» или «приемная дочь». Чем беднее была семья, тем больше любви, ласки, теплоты и забот отдавала она этому молодняку, оторванному бурей войны от своей земли и занесенному в далекий и чуждый Париж.

Я ежедневно видел пожилых и старых женщин, которые просиживали целые ночи при тусклом свете коптилки за перекройкой старых простынь и наволочек, из которых они шили белье своим молодым любимцам и любимицам.

Многие эмигрантские семьи отказывали себе во всем и питались впроголодь только для того, чтобы на последние сэкономленные гроши купить на черном рынке краюху хлеба или фунт масла для своих питомцев.

Сколько слез было пролито ими в момент расставания с родной молодежью, когда после Победы настал момент ее репатриации!

В последние годы войны и первый год после Победы внешний вид улиц, переулков и закоулков в кварталах и округах, сделавшихся традиционными местами расселения русских, сильно изменился. В них появились новые молодые лица, послышался громкий говор и задорный смех, которого раньше не было слышно. На смену эмигрантскому нытью, забитости и приниженности пришла льющаяся через край жизнерадостность и бодрость молодых побегов великого народа.

Когда схлынула эта репатриированная в родные края многотысячная масса, на смену ей в Париж пришли иные, новые лица, в большинстве своем — великовозрастные.

Эмиграция вновь бросилась им на шею, не разобравшись в том, кто они такие и что заставило их в момент массовой

репатриации двигаться не на восток, а в обратном направлении. С ее точки зрения, важно было лишь то, что они были «настоящие советские» и что они «оттуда».

А между тем в этом стоило разобраться. И если бы она разобралась, то поняла бы, что, хотя они и «оттуда», тем не менее настоящего и советского в них нет ни одного миллиграмма.

В описываемые годы никто из старых эмигрантов этого не знал. Все эти люди проникли во Францию из Германии вскоре после Победы вместе с миллионами репатриированных французских военнопленных. В первые один-два года после Победы вместе с миллионами военнопленных и депортированных Гитлером французских, бельгийских, голландских, русских рабочих во Францию легко проскальзывали под маской «жертв гитлеризма» все, кто хотел. Никаких паспортов и других документов на границе не требовалось, и никто идентификацией переходящих эту границу не интересовался. Французы строили для своих соотечественников, возвращавшихся из плена, триумфальные арки с лозунгами «Привет нашим героям» и встречали их музыкой, цветами и речами. Русские изумлялись такому странному понятию о героизме, переправлялись через границу незаметно и почти все без исключения устремлялись в Париж, не имея ни денег, ни багажа, ни знакомств. О существовании «русского Парижа» они были осведомлены, еще будучи в Германии.

Вот несколько зарисовок с натуры.

Ученый-лесовод, сравнительно молодой человек. Жил и работал в Москве, потом в Крыму. Там он и остался при отходе Красной Армии. Дальше — очень непонятная и путаная история проникновения в Германию, потом во Францию. На вопрос о том, что он собирается делать и на какие средства существовать, отвечал: «Как-нибудь устроюсь… Ведь это совсем нетрудно…» Подобный ответ давали все без исключения «невозвращенцы», как обычно называли в «русском Париже» этих людей. Напрасно старые эмигранты доказывали им, что за целую четверть века как следует «устроиться» за рубежом не удалось почти никому и что новую эмиграцию ждет такая же печальная участь, как и старую.

После нескольких встреч я потерял лесовода из виду.

Стороною узнал, что он, проев последние деньги и продав последний пиджак, пошел по Франции с котомкой в руках искать счастья, работы и заработка. Счастья он не нашел, а работу нашел в поместье одного крупного французского фабриканта в качестве… чернорабочего в плодовом саду.

Через несколько месяцев я снова встретил его в Париже, оборванного, обтрепанного, небритого, долго немывшегося, с

потухшим взором, потерянными надеждами и надломленным духом. Для старого эмигранта это была хорошо знакомая картина, всегда одна и та же на протяжении четверти века. Для нового — первая встреча с реальной зарубежной жизнью. На вопрос, почему он, убедившись в правоте староэмигрантских прогнозов, не возвращается в свой родной Крым или Москву, он отвернулся, а на глазах его появились слезы…

Молодой человек лет 22 без определенной профессии.

Этот оказался словоохотливее других. Его отец, бывший крупный торговец в Казани, был «раскулачен» в первые же годы после революции. Заметая следы, перебрался под чужой фамилией в Ленинградскую область и осел там на постоянное жительство в одном из небольших городов. Семья эта к моменту гитлеровского нашествия состояла из И человек. Все они не пожелали эвакуироваться из города при оставлении его Красной Армией.

Вскоре после этого вся семья в полном составе была перевезена в Германию. По-видимому, с точки зрения оккупантов, за ней числились кое-какие заслуги: не в пример прочим разнорабочим, депортированным оккупантами из занятых местностей Советского Союза, семье бывшего казанского купца был предоставлен для жилья отдельный меблированный дом и целый ряд льгот, а мой собеседник надел форму надсмотрщика над своими соотечественниками, угнанными в гитлеровскую неволю, и сделался агентом гестапо. Младшие члены семьи поступили в немецкую школу.

Две родных сестры лет 45–50. Обе — из Симферополя, обе — врачи: одна гинеколог, другая терапевт. Меня и нескольких моих друзей знакомят с терапевтом. Терапевт служит прислугой в доме французского ученого-физика, гинеколог — уборщицей в частной хирургической лечебнице. Хозяева платят и той другой одну четвертую часть того, что составляет минимальную заработную плату французских уборщиц и прислуги. Они ведь идут на некоторый риск, нанимая себе в услужение лиц, не только не имеющих по французским законам права на труд, но и беспаспортных, не прописанных в Париже.

Терапевт охотно рассказывает свою биографию, но, когда рассказ подходит к моменту оставления Крыма Красной Армией, гитлеровской оккупации и отступлению оккупантов, начинается невообразимая путаница и явный вздор. Мы, ее собеседники, не проявляем излишнего любопытства в этом деликатном вопросе и обходим его молчанием. Дальше — хорошо известная история: бегство в Германию с разгромленной гитлеровской армией, безработица, бегство во Францию и в качестве финала —

подметание полов и мытье ночных горшков у сердобольных французских интеллигентов, экономящих немалые суммы на труде двух беспаспортных и не прописанных в городе русских женщин-врачей.

Можно привести еще много подобных зарисовок, но я думаю, что читатель уже составил себе некоторое представление о том, кем были эти люди. В их число входят в первую очередь все те, кто в годину испытаний, выпавших на долю нашей родины, перешел в стан оккупантов и активно сотрудничал с ними. Они запятнали себя на вечные времена участием в кровавых злодеяниях, творившихся гитлеровцами, в качестве карателей, полицаев и т. д. Опасаясь справедливого и законного возмездия за свои чудовищные преступления, они бежали вместе с разгромленными гитлеровскими полчищами и в качестве «перемещенных лиц» рассеялись по многим странам Европы и Америки.

В моей памяти остались бесконечные и бесплодные споры, которые вели между собою старые эмигранты и «невозвращенцы» в последние месяцы перед репатриацией старой эмиграции на родную землю. Они неизбежно кончались одними и теми же возгласами: — Лучше броситься в Сену, чем возвращаться в Советский Союз, — говорили бывшие каратели и провокаторы.

— Лучше броситься в Сену, чем далее оставаться во Франции, — отвечали старые эмигранты.

Бросаться в Сену не пришлось ни тем ни другим. Никакой принудительной репатриации в послевоенные годы не было. Всем лицам, принадлежавшим к первой из названных категорий, не нужно получать никаких разрешений для возвращения на родину. Вторым же, как читатель уже знает, такое разрешение было дано тотчас после того, как они вновь получили утраченное ими в свое время советское гражданство.

Те же немногие из обеих этих категорий, которые отвергли протянутую им всепрощающую руку родины, продолжали влачить жалкое существование в условиях эмиграции, обрекли себя на медленное умирание на чужбине.

XVI
Конец оккупации. «Читайте, завидуйте!»

Летом 1944 года для всех стало ясно, что дни гитлеровского владычества во Франции сочтены.

На Востоке германские армии неудержимо катились назад к своим исходным рубежам. На Западе они безуспешно старались задержаться у «атлантического вала» и отразить напор высадившихся во Франции механизированных американских и английских дивизий.

Германские тыловые учреждения, расположенные в Париже, спешно укладывали имущество и одно за другим отправлялись в центральные области Германии.

«Русский Париж» воспрянул духом. Ежедневно тайные радиостанции оповещали об очищенных от оккупантов русских городах, районах, областях. Гитлеровские радиостанции коротко и сухо сообщали об «отходе частей вермахта в полном порядке на заранее приготовленные позиции» и о том, что «по стратегическим соображениям и в целях выпрямления линии фронта» германские корпуса оставили такой-то город или такой-то район. Но геббельсовской пропаганде уже давно никто не верил, включая и самих немцев. Офицеры вермахта ходили по Парижу с низко опущенными головами.

В последних числах августа 1944 года американские дивизии подошли вплотную к Парижу и окружили его плотным кольцом. Положение оккупантов сделалось безнадежным.

Фактически Париж сбросил власть оккупантов своими силами. Отважные патриоты Франции — бойцы движения Сопротивления, руководимые Коммунистической партией, не ожидая помощи извне, подняли восстание и освободили Париж от гитлеровской нечисти. Союзные войска, вступив в город, лишь довершили ликвидацию частей германского гарнизона, сложившего оружие и выкинувшего белый флаг.

На следующий день на стенах парижских домов было расклеено обращение парижского общественного управления ко всем парижанам и парижанкам. В нем городские власти поздравляли всех сограждан с «великолепным освобождением города Парижа».

На Эйфелевой башне был поднят французский флаг, а рядом с ним — американский, английский и советский.

Бумажные флажки всех четырех государств украсили окна и балконы парижских домов. Но чем ближе вы подходили к местам

расселения средней и крупной парижской буржуазии, тем реже и реже вы могли увидеть советские флажки. В богатых аристократических кварталах 8-го и 16-го городских округов их вовсе не было.

Восторги парижского населения вскоре улеглись. Начались будни новой оккупации Парижа, на этот раз — американской.

Американское воинство днем разбазаривало на рынках казенное имущество, а ночью предавалось кутежам, бесчинствам и грабежам. Парижская уголовная хроника обогатилась тысячами свежих преступлений: драки, изнасилование, грабежи и убийства сделались повседневностью.

Слово Victoire (победа), написанное краской, углем или мелом на всех углах и стенах парижских домов, постепенно стало исчезать и заменяться тремя новыми словами: «Ianky, go home!» («Янки, убирайтесь домой!») Настали исторические майские дни 1945 года. Советский Союз вырос в глазах мирового общественного мнения в гигантскую силу. Его авторитет как освободителя народов Европы от порабощения «высшей расой» признавали все — и многомиллионная масса его друзей, и значительно менее многочисленные его враги, которым рост этого авторитета не давал покоя. Вместе с победами военными он одерживал одну за другой победы дипломатические.

Все советское пользовалось во Франции в тот первый после Победы год колоссальной популярностью. Общее внимание привлекали советские офицеры, прибывшие в Париж в составе Советской военной миссии.

С падением прогитлеровского режима маршала Петена и образованием нового французского правительства в Париж возвратилось советское посольство во главе с А. Е. Богомоловым.

С первых же дней после его возвращения на улицу Гренель потянулась вереница эмигрантов, окончательно и бесповоротно порвавших с прошлым и поставивших целью своей жизни работу на родной земле, среди родного народа. Первые шаги были робкими. Их воображению рисовался тот все еще не засыпанный глубокий психологический ров, который отделял в течение 28 лет мир советский от мира эмигрантского. Но после первых же посещений советского посольства «русский Париж», а следом за ним и весь эмигрантский мир убедился, что никакого рва больше не существует и что Советское государство и русский народ протягивают руку прощения всем своим зарубежным сынам, вольно и невольно порвавшим связь с родиной четверть века назад.

Целый год, прошедший после Победы, вплоть до появления Указа Президиума Верховного Совета СССР, определившего

дальнейшие судьбы эмиграции, тема о возвращении на родину сделалась в «русском Париже» и во всех углах русского зарубежного рассеяния доминирующей. Для десятков тысяч людей, проведших в отрыве от родины более четверти века, все остальное, не имеющее к этой теме отношения, потеряло всякий интерес.

В течение 13 месяцев «русский Париж» питался только слухами о том, когда, как и в какой форме последует официальный акт, определяющий это возвращение. За обеденным столом, на улице, на собраниях и в других местах все без исключения русские зарубежники говорили, гадали, думали, передавали друг другу слухи и предположения.

С первых дней после освобождения в Париже организовался Союз советских патриотов, переименованный год спустя в Союз советских граждан. Разместился он в том самом помещении на улице Галлиера, в котором в довоенные годы заседал представитель Лиги наций по делам беженцев Пан, а в годы войны — Жеребков.

Ежедневно сотни посетителей заполняли все его залы, кабинеты, лестницы в надежде получить какие-нибудь новости, касающиеся грядущего возвращения. Но руководители Союза советских патриотов знали столь же мало, как и простые смертные.

Советское посольство, консульство и военная миссия охотно принимали всех эмигрантов, обращавшихся к ним с теми же вопросами. Однако никаких уточнений дать не могли. Но грядущее возвращение на родину уже чувствовалось в воздухе «русского Парижа». Каждый представлял его себе как мог и как умел. Русские зарубежники зачитывались начавшей выходить при посольстве СССР еженедельной газетой «Вести с родины». Они надеялись прочитать там какие-либо известия о форме и сроках возвращения.

И то и другое пока оставалось невыясненным. Было лишь известно, что в данное время идет репатриация белорусов, уроженцев Западной Украины и рассеянных по всему свету армян и что, после того как она окончится, будет официально объявлено о долгожданном возвращении в родные края бывших эмигрантов.

Дата 14 июня 1946 года останется в памяти у русских зарубежников как историческая.

В этот день был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении в советском гражданстве всех находящихся за рубежом уроженцев Советского, Союза, утерявших это гражданство в минувшие годы и пожелавших восстановить себя в нем. Тем же Указом предоставлялось право

возвращения на родину всем восстановленным советским гражданам, если они этого пожелают.

Исторический для всего русского зарубежья Указ был получен в Париже 20 июня 1946 года. Посольство СССР во Франции немедленно дало знать о нем Союзу советских патриотов. Это известие распространилось по «русскому Парижу» с быстротой молнии. Затрещали телефонные звонки. К тем, у кого не было телефонов, опрометью бросились друзья и близкие люди. В провинцию полетели телеграммы. Все поздравляли друг друга. Ликование сделалось общим. «Русский Париж» гудел как растревоженный улей с пчелами.

На утро следующего дня перед зданием советского консульства, расположенного на одной из малолюдных площадей 17-го городского округа, собралась многотысячная толпа. Жители окрестных домов высовывались из окон и с изумлением смотрели на необычную для этих мест панораму.

Помещение консульства не смогло вместить и десятой доли собравшихся. Небо было затянуто тучами, накрапывал мелкий дождь. Но толпа не расходилась. Каждый хотел стать советским гражданином сегодня и ни при каких обстоятельствах не соглашался откладывать этого превращения до завтра.

Консул выходил к каждой из сменявшихся в помещении групп и давал деловые указания и пояснения, касающиеся процедуры восстановления. Процедура эта была самой простой из всех, которые когда-либо приходилось проделывать эмигранту.

Через какие-нибудь полчаса бывшие эмигранты выходили из консульства советскими гражданами, имея в кармане эту заветную маленькую «книжицу», глядя на которую Маяковский воскликнул:

> Читайте!
> Завидуйте!
> Я — гражданин Советского Союза!

Стихи эти знакомы каждому советскому читателю, но не каждый сможет понять, какие чувства испытывал русский эмигрант, сбросивший с себя после долгих лет ожидания кличку «апатрида» и «refugie russe» (русского беженца), ставший в официальном порядке полноправным советским гражданином. Жизненный вихрь и собственные ошибки швыряли его из стороны в сторону на протяжении долгих лет, заносили то во Францию, то в Парагвай, то в Турцию, то в Тунис, Шанхай, Индию, Персию, на остров Яву, на все континенты земного шара и в гущу всех народов, населяющих оба полушария.

Позади — скитания, унижения, оскорбления, бесправие, безработица, нищета, одиночество, тоска.

Впереди — объятия всепрощающей матери-родины.

Сейчас — гордое сознание того, что гражданское и человеческое достоинство бывшего эмигранта отныне прочно защищены маленькой «книжицей» с печатью самого мощного в мире государства, перед которым почтительно снимают шапки и Европа, и Америка.

Это было чувство какого-то радостного опьянения.

Все разговоры, письма, телеграммы, телефонные звонки «русского Парижа» были полны ликованием и поздравлениями. В затхлую атмосферу впервые за четверть века влилась струя свежего воздуха, пришедшая с родной земли.

Из консульства новые советские граждане бросились в префектуру. Никому не хотелось откладывать до завтрашнего дня замену слов refugie russe (русский беженец) в рубрике nationalite (национальность), имеющейся в удостоверении личности, новым гордо звучащим словом sovietique (советский).

Скорее уничтожить эту опостылевшую кличку — русский беженец!

Все парижские улицы, все здания и весь Париж виделись им теперь в другом свете. Вмиг исчезла собственная забитость, приниженность, сознание своей никчемности.

Совсем другим показалось в тот день новым советским гражданам и здание парижской префектуры. Сколько раз на протяжении четверти века они входили под его мрачные своды, поеживаясь от страха, зная, какие мытарства ждут их здесь!

Сколько раз, смешавшись с разноплеменной толпой рабочих-иностранцев, они слышали здесь окрики французских ажанов: — Тихо! Эй, вы, там, дикари! Вам говорят!..

Потом часы ожиданий, грубость и хамство чинуш, отказ в выдаче «рабочей карты», то есть запрещение трудиться, потеря последней надежды, впереди — мрак, отчаяние, голодная смерть.

Вот он, Service bes etrangers (Отдел для иностранцев).

Как будто все по-старому…

Нет, не по-старому!

Проверяющий при входе паспорта ажан, увидев советскую «книжицу», вдруг вытягивается в струнку, подносит руку к козырьку и почтительно указывает на лестницу, ведущую в зал, предназначенный для особо почетных посетителей отдела. На его дверях надпись: Sujets americains, britanniques et souietiques (американские, британские и советские подданные).

Каждого нового советского гражданина встречают там почтительным поклоном. Вместо хорошо ему известного хамства

нижнего этажа — предупредительность, любезность. Вместо деревянных скамеек, которых не хватает для всех «дикарей», и вынужденного стояния — мягкое кресло для каждого посетителя. Подходить ему никуда ни к кому не нужно — чиновник сам подходит к нему.

Через 20 минут он выносит ему новое удостоверение личности — carte d'identite — с пометкой в рубрике «национальность» — souietique. Посетитель платит установленную таксу — 400 франков. Кассир галантно говорит merci (спасибо). Чиновник провожает до двери и на прощанье отвешивает поклон.

Когда новый советский гражданин спускается по лестнице и видит сквозь стеклянную перегородку хорошо известную ему картину «хождения по мукам», ему вновь хочется крикнуть на весь зал, на всю префектуру, на весь Париж, на весь мир:

Читайте!
Завидуйте!
Я — гражданин Советского Союза!

Когда он входит в подворотню дома, в котором прожил 20 с лишним лет, его встречает, как и всегда, подметающая двор консьержка. Но сегодня и консьержка не такая, как раньше! Она не брюзжит, как брюзжала ежедневно в течение 20 лет подряд, что мсье вчера при входе скрипнул дверью, что он не вытер ботинок и оставил след на двух нижних ступеньках, что позавчера громко разговаривал с посетителями в четверть одиннадцатого вечера, когда все жители дома спят, что вытряхивать простыни и одеяла разрешается только с десяти до двенадцати утра и т. д.

Сегодня он не услышит вполголоса брошенных за его спиной слов: «Когда мы наконец избавимся от этих…» Консьержка уже прослышала, что в «русском Париже» происходит что-то необычайное и что русские собираются покинуть «прекрасную Францию» (вот чудаки!). Когда же квартирант как бы невзначай вынимает из кармана новенький только что им полученный паспорт и небрежно помахивает им перед ее носом, она сразу догадывается, что именно произошло, правильно оценивает обстановку, немедля прекращает обычное брюзжание и начинает уверять, что она всегда глубоко уважала мсье и всех вообще русских и ей, право, очень жаль, что мсье собирается уехать (может быть, он еще передумает?) и что если ему не все нравится в доме, то ведь это очень легко урегулировать…

Все последующие дни, недели и месяцы он ходит как в тумане. Он, ранее никому не нужный, бесправный, поминутно

всеми оскорбляемый, беззащитный refugie russe, сразу вырастает и в своих глазах, и в глазах всех окружающих. Лавочники, молочницы, хозяева прачечных, соседние консьержки, не удостоившие его за все 20 лет ни одним ласковым словом, вдруг начинают уделять ему такое внимание, какого они не оказывают и своим соотечественникам.

Они хором осведомляются, правда ли, что мсье собирается уехать и что все вообще русские куда-то уезжают?

И как же это так — жили, жили и вдруг ни с того ни с сего взяли да куда-то и поехали? И не лучше ли будет для мсье, если он никуда не поедет, а останется и дальше жить в этом земном раю?

Насчет «земного рая» у «мсье» всегда было особое мнение. Он не переменил его и сейчас.

А ответить можно коротко, не расточая лишних слов, все теми же заветными словами Маяковского.

И жить этот «мсье» отныне будет у себя дома, а не у чужих людей в качестве незваного гостя, как это было в предыдущие годы.

Поздней осенью 1946 года «советский Париж» проводил уезжавшую на родину первую маленькую группу своих соотечественников — около 200 человек. Отъезд основных его кадров был намечен на весну и лето следующего года.

В течение всего этого года единственным интересом жизни теперь уже не «русского», а «советского» Парижа был вопрос о сроках отъезда. Все переменилось в этом Париже сверху донизу. Старый «русский Париж» распаял сам собою и отошел в область истории. На смену ему пришел новый, «советский Париж».

Ежедневно в каждом городском округе в специально снятых залах собирались новые советские граждане. Советский паспорт объединил и скрепил самые разнородные элементы, составлявшие когда-то «русский Париж» и жившие ранее в отчуждении друг от друга. На этих собраниях, беседах и вечерах частыми гостями были советский посол А. Б. Богомолов, вновь назначенный консул А. Г. Абрамов и советники посольства. В течение целого года вплоть до отъезда основной массы репатриантов каждый новый советский гражданин постоянно чувствовал себя именинником и объектом общего повышенного внимания и интереса.

Не будучи избалован этим вниманием, он с чувством гордости увидел теперь, что отъезд в Советский Союз многотысячной массы бывших эмигрантов — русских, украинцев, белорусов, армян — превратился в событие, привлекшее внимание всей так называемой «общественности» как во

Франции, так и далеко за ее пределами, включая и заокеанские страны. И не только общественности.

Массовый переход в советское гражданство и стихийное устремление на родину десятков тысяч людей, еще вчера считавшихся как les russes blancs (русские белые), вызвал переполох во всех разведках Европы и Америки.

Такого «реприманда неожиданного» и «беспримерной конфузии» там не чаяли и скрыть это не смогли.

Тайная полиция дала распоряжение сотням своих агентов обойти все без исключения местожительства новых советских граждан и негласно выяснить с помощью консьержек и соседей образ мыслей этих бывших «русских белых», в один миг выбросивших на свалку весь свой политический багаж прежних лет. Об этом новые советские граждане узнали в тот же день от своих консьержек, сделавшихся сразу необыкновенно откровенными и любезными.

Являвшихся в последующие недели в префектуру за внеочередной сменой carte d'identite новоявленных советских граждан в самой любезной форме спрашивали, не возьмет ли мсье (или мадам) назад свое решение о «перемене национальности». После этого он сможет остаться здесь уже на положении полноправного французского гражданина.

Напрасное старание! Желающих променять родину на «земной рай» среди новых советских граждан не оказалось.

XVII
На Большую землю!

Из предыдущей главы читатель знает, что «русский Париж» как своеобразное бытовое явление и центр политической жизни русского зарубежья довоенных и военных лет перестал существовать в 1946 году, после Указа Президиума Верховного Совета СССР о предоставлении советского гражданства всем желающим русским эмигрантам, автоматически утерявшим его в предшествующие годы. Значит ли это, что антисоветские настроения среди лиц, не пожелавших воспользоваться этим правом, окончательно исчезли и что за рубежом не осталось непримиримых врагов Советского Союза?

Нет, не значит.

Я оставляю в стороне «невозвращенцев» из числа активных фашистских пособников. Но и среди старых эмигрантов, которые условно назывались «второй эмиграцией», некоторое число, трудно поддающееся учету, не пожелало стать советскими гражданами и не захотело окончательно порвать с прошлым.

В эту категорию входили все колеблющиеся и половинчатые элементы эмиграции. Они, восхищаясь величием и мощью Советского Союза и гордясь его успехами, представляли собою патриотов весьма условных и частичных. Это были патриоты типа «постольку поскольку…».

На вопрос, почему они медлят с принятием советского гражданства, они отвечали уклончиво: — Торопиться с этим делом не следует. Надо сначала посмотреть, что из всего этого получится…

Под этим они подразумевали отъезд на родину бывших эмигрантов, бесповоротно порвавших с прошлым.

Но в жизни «советского Парижа» они все же принимали деятельное участие, совершенно искренне считая, что правда жизни — там, на Востоке, на родных просторах, а не здесь — в Париже.

Если вычесть и этот элемент из общей суммы слагаемых, составлявших русское зарубежье после того, как от него откололась многотысячная масса репатриантов, то останется некоторое количество людей, которые ничему не научились даже после грозных событий 1941–1945 годов и которые составили в зарубежье умирающую кучку неисправимых поборников потонувшего мира. Они твердили, что победу одержал в войне не Советский Союз, а русский народ, который в основной своей

массе якобы враждебно настроен к политической и государственной системе, существующей в Советском Союзе, и что с окончанием войны эта существовавшая в их эмигрантском воображении враждебность будет расти и шириться.

Тем не менее в первый год после Победы все открытые противосоветские выступления людей этого толка прекратились. Жизнь «советского Парижа» катилась теперь совсем по другим рельсам. Но продолжалось это недолго.

В 1946 году подготовлявшаяся в тайниках государств капиталистического лагеря «холодная война» всплыла на поверхность международной политической жизни. Она увлекла с собою среди прочих элементов и всех тех русских зарубежников, у которых не хватило силы воли порвать с прежней идеологией. Случилось это внезапно, точно по команде или по взмаху палочки невидимого дирижера.

Из гроба встали давным-давно похороненные реальной жизнью мертвецы. Они заговорили сразу и все вместе. Они подали друг другу руки и выкинули покрывшийся плесенью флаг с начертанным на нем лозунгом: «Борьба с Советской властью до победного конца!» Из-за океана подали голос Деникин и Керенский.

Там же завозилась с объединением всех противосоветских элементов графиня Толстая. В Нью-Йорке и Буэнос-Айресе появились союзы и лиги антисоветских активистов. Из Лондона в Париж вернулся Орехов, кликнувший призывный клич к вымирающей кучке «рыцарей белой мечты». «Братья вольные каменщики» по указанию своих «досточтимых» прекратили пение дифирамбов Советскому Союзу и перестали кланяться при встрече с репатриантами. Духовенство и миряне, руководившие парижским богословским институтом, поспешили порвать связь с Московской патриархией. Руководители церковной жизни парижского кафедрального собора на улице Дарю предали анафеме «отступников», связавшихся с Москвой.

Вчерашние лжепатриоты в один миг отмежевались от своих бывших друзей, приятелей, знакомых, у которых в кармане был советский паспорт. На улице Ампер открылось какое-то «общество помощи беженцам интеллигентных профессий русского происхождения», взявшее на учет сотни «невозвращенцев» и выдававшее ежемесячно каждому из них по 4 тысячи франков безвозвратного пособия. Те из старых эмигрантов, которые решили навсегда остаться в антисоветском лагере, вдруг стали получать из-за океана продовольственные и вещевые посылки. Организации шовинистически настроенных украинцев-«самостийников» и грузин подняли головы. Вновь

созданная в Париже на средства Ватикана реакционная газетка на русском языке приступила к систематической антисоветской пропаганде и травле репатриантов. Вслед за нею устремились на это поприще все колеблющиеся элементы бывшего «русского Парижа». Кругом слышалось более ничем не сдерживаемое злобное шипение, а сквозь него слух улавливал мягкое шуршание долларовых кредиток.

Иностранные разведки принялись за работу. Всеми средствами они старались помешать начавшейся после Победы репатриации старых и новых советских граждан.

Вскоре эти последние ясно увидели, что в префектурах Парижа и провинции им начали чинить всевозможные препятствия к выдаче необходимых для выезда из Франции документов.

Надо думать, что не без благословения одной из иностранных разведок подготовлялся диверсионный акт против советского теплохода с сотнями репатриантов во время стоянки его в порту Александрии по пути из Марселя в Одессу.

В Черном море сгорел другой теплоход, перевозивший 2 тысячи новых советских граждан — бывших так называемых «армянских беженцев». Расследование установило также наличие преднамеренного диверсионного акта.

К счастью, пожар, вызванный зажигательным аппаратом замедленного действия, произошел на этом теплоходе шесть часов спустя после высадки в Батуми почти всех его пассажиров, уже на пути Батуми — Одесса. Об этом в свое время писалось в советских газетах.

Не нужно было иметь какой-то особо проницательный глаз, чтобы видеть, что возвращение всех вышеперечисленных категорий советских граждан, составлявших людскую массу в общей сложности в несколько сот тысяч человек, стало поперек горла той верхушке, которая управляла и управляет всеми государствами капиталистического мира. Одним из козырей своей пропаганды, направленной против стран социалистического лагеря с Советским Союзом во главе, она сделала легенду, будто бы из этих стран бегут все, кто только может, и что все многочисленные уроженцы Советского Союза, находящиеся за границей, якобы раз и навсегда отказались от возвращения на родину, пока у власти стоят коммунисты.

Но эта антисоветская пропаганда при всем желании не могла утаить массовый добровольный отъезд сотен тысяч людей. Широкие народные массы во всех странах были хорошо о нем осведомлены. Поэтому ей нужно было сделать все возможное, чтобы его сорвать. Одновременно нужно было спешно сколотить

зарубежный фантом «русского народа».

Отсюда — задабривание одних, запугивание других, насильственное задержание третьих, подкуп четвертых…

Большое участие в этой кампании приняла масонская организация. Послушные рабы, исполнители воли верховного органа масонства через промежуточные инстанции первичных лож, русские зарубежные масоны первыми выдали эту тайну.

Еще вчера они в индивидуальном порядке восхваляли Советский Союз, восхищались его силой, величием и мощью. И вдруг они все сразу повернули «фронт» на 180 градусов. По всем масонским ложам дана была команда, смысл которой в общих чертах сводился к следующему: «Считать врагом каждого, кто активно или пассивно, вольно или невольно, словом, делом или помышлением поддерживает Советский Союз».

В годы войны мне чуть ли не ежедневно приходилось бывать в семье второразрядного эмигрантского писателя Г-ра. Будучи однажды взят под подозрение парижским филиалом гестапо, он поминутно ждал ареста. Тем не менее он написал за это время несколько поэм и рассказов, посвященных героизму советских людей, грядущей победе и жертвам, павшим в борьбе. Печататься он, конечно, не мог, но в рукописном виде несколько экземпляров его сочинений ходило по рукам эмигрантов. Они пользовались большим успехом.

Мне было известно от третьих лиц, что он состоит секретарем масонской ложи «Юпитер», хотя с ним самим я никогда на эту тему не говорил.

В день получения советского паспорта супруги Г-р горячо меня поздравляли. Они восхваляли до небес Советский Союз и советский народ-победитель. В те дни, как и в последующие месяцы, все новые советские граждане, как я уже упоминал, были «именинниками» и находились, в центре внимания не только бывшего «русского Парижа», но и самых широких кругов коренного населения французской столицы.

Осенью 1946 года ситуация резко изменилась. Однажды, придя в эту семью, я встретил холодные и вытянутые лица обоих супругов, а в их речах услышал новые, поразившие меня мысли и слова: возвращение на родину — это «предательство и измена эмигрантским знаменам».

Я остолбенел и спросил, что все это значит? Куда девался вчерашний патриотизм обоих супругов? Как согласовать все сказанное с тем, что Г-р написал во время войны, в частности с поэмой о партизанке Оксане — лучшее, что вообще он написал за всю свою жизнь?

Он сухо ответил: — Патриотизма не было. Было минутное

увлечение и заблуждение. Теперь я прозрел. Поэма выброшена вот сюда (он показал на камин с тлевшими угольями).

Я стыжусь своих писаний военной эпохи…

Мне ничего другого не оставалось делать, как сказать обоим супругам, что наши пути совершенно разошлись и что наше знакомство начиная с этой минуты я считаю прекращенным.

В тот же день я узнал от своих многочисленных друзей лично и по телефону, что сцены, подобные вышеописанной, разыгрывались и в других семьях, члены которых состояли в масонских ложах, и что все масоны при встрече на улице и в общественных местах со своими знакомыми-репатриантами отворачиваются от них и не отвечают на их приветствия.

Все последующие месяцы вплоть до отъезда из Франции основной массы репатриантов прошли в радостном волнении одних обитателей бывшего «русского Парижа» и в бешенстве, проклятиях и брани — других. «Холодная война» была в разгаре. Она расколола русское зарубежье на две части, переставшие понимать друг друга…

В конце лета 1947 года в посольстве СССР во Франции было получено постановление Совета Министров СССР об очередной отправке репатриантов, выразивших желание вернуться на родину.

Последние дни пребывания на чужбине были наполнены трудно передаваемой словами радостью и мыслями о предстоящей встрече с Большой землей и родным народом.

Это не была так называемая «лихорадка путешественников». Полностью понять это волнение и радость могут только те, кто когда-либо и по какому-либо поводу был оторван от родины хотя бы на небольшой срок. Дыхание родной земли наполнило в те дни атмосферу «советского Парижа».

Впереди теперь было то, что захватило целиком мысли и чувства репатриантов, — Большая земля.

Наконец настал долгожданный и вожделенный день отъезда. Среди полуторатысячной массы людей, которые в тот день покинули Францию, не было ни одного, кто на протяжении долгих лет не мечтал бы об этом моменте.

Но едва ли хоть один из них представлял себе этот момент таким, каким он был в действительности.

Отправка репатриантов в своей организационной и технической части осуществлялась советской военной миссией во Франции. Погрузка в три отдельных эшелона производилась одновременно в трех местах: Париже, Центральном районе и на юге Франции. С ними уезжали вторая и третья очередные группы репатриантов.

Затянутое облаками небо в тот день прояснилось.

С утра из всех мест расселения «советского Парижа» потянулись в направлении Восточного вокзала грузовики, наполненные несложным домашним скарбом репатриантов. Для погрузки был отведен целиком специальный перрон с непосредственным выходом на улицу. Погрузка шла весь день.

К 4 часам дня на вокзал стали понемногу собираться друзья, приятели, знакомые, бывшие сослуживцы отъезжающих. Запоздавшие подъезжали и подходили к вокзалу до позднего вечера.

Волнение среди и отъезжающих, и провожающих нарастало. На проводы пришли и многие недруги Советского Союза. За 30 лет, проведенных в эмиграции, и репатрианты, и не пожелавшие вернуться домой люди видали всякие виды, пережили разного рода эвакуации, отъезды и переезды. Но массового возвращения на родину никто из них не видел никогда.

За два часа до отъезда на Восточный вокзал прибыли все сотрудники советского посольства, консульства и военной миссии. Громадный перрон еле вместил трехтысячную толпу провожающих. Среди них — множество фотографов, кинооператоров, репортеров. Балконы окружающих домов чернели от заполнивших их зрителей-парижан.

Цветы, подарки, крепкие дружеские рукопожатия и объятия, последние поцелуи, напутствия, пожелания…

Общее волнение достигает апогея.

Раздается сигнал к отправке. Громкое «ура!» оглашает воздух. Поезд медленно трогается. Перед окнами вагонов плывет людская масса провожающих. У многих на глазах слезы. Величие момента переживают все — и уезжающие, и остающиеся…

Мелькают фонари, стрелки, железнодорожные будки.

Постепенно отдаляется темный массив домов.

Прощай, Париж, великолепный город, надолго приютивший нас, но оставшийся чужим и нелюбимым!

Утро следующего дня застает репатриантов на вокзале пограничного городка в Эльзас-Лотарингии. Все три эшелона, из разных мест погрузки, собираются вместе.

Здесь пересадка в вагоны из Советской зоны оккупации Германии.

Наступают последние минуты пребывания на французской земле. Возле узкого прохода между проволочными заграждениями — группа жандармов, проверяющих выездные документы., В стоящие рядом два громадных ящика летят одна за другой carte d'identite. Более четверти века подряд эти удостоверения определяли юридическое лицо их носителей.

Сейчас они потеряли свое значение.

В течение того же срока один вид французских жандармов наводил ужас на приниженных и бесправных эмигрантов. Сейчас они в глазах репатриантов не более как марионетки чиновничьей машины.

Рядом стоит советский консул, а за ним — 200-миллионный народ и гигантская мощь раскинувшегося на одну шестую часть земной поверхности государства.

Поезд трогается. Перед взором репатриантов — Германия. В окна вагонов видны руины городов, разрушенные вокзалы, сожженные склады, изрытые воронками поля. Пересекаем американскую зону оккупации. За ней — земля будущей Германской Демократической Республики.

Остановка на несколько дней в Деббельне.

Снова в путь!

Поля и леса Польши. Встречные эшелоны с советскими военнослужащими, возвращающимися из отпуска.

В ясный солнечный день поздней осени поезд убавляет ход, медленно движется по мосту. На одном берегу — польский пограничник, на другом — советский. На советской стороне — арка, украшенная алыми стягами.

Поезд останавливается. Вот он — заветный рубеж!

Кругом — знакомая с детства, родная и дорогая сердцу картина: луга, пригорки, перелески, вьющаяся серебряной лентой речушка, деревенские избы; на горизонте — синева лесов.

Все до одного высыпают из вагонов. Головы обнажаются. Слезы туманят взор. Слов не слышно. И не нужны они: никакими словами не передашь и тысячной доли того, что переживают люди, стоящие у достигнутой наконец заветной цели жизни…

Человеку дано много радостей. На своем жизненном пути он много раз достигает поставленных им себе целей: беззаветно служить обществу; занять высокое положение в этом обществе; достичь вершин героизма в труде и успехов в творчестве; совершить научные открытия; добиться личного счастья и взаимности в любви к дорогому существу; иметь славу, полную материальную обеспеченность и многое другое.

Каждая из этих целей влечет человека к себе как магнит, заставляет преодолевать поставленные судьбою преграды и приводит его к минутам величайшего торжества, когда эта цель достигнута.

Но есть один совершенно особенный магнит, сильнее всех остальных, существующих на свете. Без него жизнь перестает быть жизнью, превращаясь в жалкое прозябание и духовную смерть.

Никакие силы мира не могут и никогда не смогут преодолеть

силы притяжения этого магнита.

Имя ему — Родная Земля.

Саратов 1957–1960.

Александровский Б. Н. Из пережитого в чужих краях. Воспоминания и думы бывшего эмигранта. М., «Мысль», 1969.

374 с.

Редактор Л. Д. Петров

Мл. редактор О. П. Мельникова

Оформление художника С. Н. Томилина

Художественный редактор Г. М. Чеховский

Технические редакторы Э. Н. Виленская, О. А. Барабанова

Корректор Л. М. Чигина

Сдано в набор 28/VI 1968 г. Подписано в печать 2/XII 1968 г.

Формат бумаги 84x108 1/32. № 3. Усл. — печатных листов 19,74.

Учетно-издательских листов 20,008. Тираж 50 000 экз.

А-00935. Цена 68 коп. Заказ № 1948.

Издательство «Мысль» — Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26.

notes

Примечания

Впоследствии часть этих кораблей была возвращена Францией Советскому Союзу.

2

Презрительная кличка всех невоенных, которая была в ходу среди офицеров царской армии.

3

Лев — болгарская денежная единица, в то время равнялся 1/133 американского доллара.

4

Мать

5

«Балканский попугай» — сатирическое лубочное издание, пользовавшееся по всей Болгарии большой популярностью.

6

Эй, кончай поскорее, батюшка, ведь нас ждет самогон!

7

Дом матери — центральное акушерское учреждение страны.

8

«Совет послов» в послереволюционные годы объединял бывших дипломатических представителей Временного правительства за границей, на банковском счету которых имелись значительные суммы.

9

Должность, соответствующая губернатору царских времен.

10

Метеками в Древней Греции назывались чужеземцы, не обладавшие политическими и иными правами гражданства.

11

Часть церковного богослужения.

12

Трудно переводимый на русский язык термин — нечто вроде помощника санитарного врача.

13

«Могучая кучка» — М. А. Балакирев, А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, Ц. А. Кюи.

14

Громадный парк, примыкающий к парижскому пригороду Булонь.

15

ИРМО — Императорское русское музыкальное общество.

16

В 1964 году А. С. Ляпунова, дочь композитора, в течение более полувека постоянная жительница Ленинграда, сообщила мне, что пролежавшие четыре десятка лет в демидовском погребе драгоценные нотные рукописи ее покойного отца были наконец извлечены из ящиков и переданы ей приезжавшей в СССР из Парижа в качестве туристки Л. А. Раппопорт. Увы! По словам А. С. Ляпуновой, они представляли собою полуистлевшие разрозненные листки, восстановить которые даже при современной высокой технологии реставрации манускриптов едва ли будет возможно.

17

Гитлеровская «биржа труда», вербовавшая рабочих для использования на германских предприятиях.

18

Германские вспомогательные военизированные организации, обслуживавшие вермахт: первая — по ведению фортификационных работ, вторая — по автотранспорту.